



МОЯ СЕМЬЯ

В эту книжку вошли три мои повести-воспоминания. В них рассказано о трех совершенно различных временах моей жизни, но вместе составляющих некое целое.

"Московский звонарь" — рассказ о моей дружбе с удивительным музыкантом, обладателем уникального слуха, рассказ о его судьбе.

Далее идут воспоминания о тех годах, когда я жила в Сибири, а третья часть повествования относится к моему краткому пребыванию в маленьком городке Казахстана, куда меня забросило случайно, но память о котором осталась во мне навсегда.

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

АНАСТАСИЯ
ЦВЕТАЕВА

МОЯ
СИБИРЬ

ББК 84 Р7
Ц 27

Художник Вл. МЕДВЕДЕВ

Ц $\frac{4702010201-451}{083(02) - 88}$ Без объявл.

ISBN 5-265-01017-3

© Издательство «Советский писатель», 1988

**МОСКОВСКИЙ
ЗВОНАРЬ**

ПРОЛОГ

В тихий вечер зимний в маленьком доме у Пречистенских ворот мы сидели за чаем в семье профессора Алексея Ивановича Алексеева в уютной столовой окнами на храм Христа Спасителя¹.

Алексея Ивановича я знала с детства. Ученик моего отца, тогда доцент, он бывал в нашем доме в Трехпрудном, помнил меня ребенком, и теперь, когда я, овдовев, с сыном-подростком билась за жизнь, он помогал мне с приработком. Служа в библиотеке Музея изобразительных искусств (при отце моем, его основателе, — изящных искусств), я брала у Алексеева пачки библиотечных каталожных карточек, копировала их (чаще ночами). Алексей Иванович где-то заведовал библиотечным отделом.

Принеся работу, я засиделась за чаем — сын в школе в вечернюю смену, могу не спешить домой, — слушая рассказ Юлии Алексеевны, Юлечки, о знакомом их, обещавшем прийти.

— Вы не слышали известного дирижера Сараджева? Константин Соломонович — Котик — его сын от первого брака. Звонарь. Музыканты считают его гением. Котик Сараджев! Анастасия Ивановна, он может сейчас прийти, чтобы вы знали. А то вы не поймете. Ведь он особенный!

Взгляд томных больших глаз Юлечки полыхнул в спешку рассказа.

— Он с двух сторон из необыкновенных семей: по отцу — я сказала: талант по наследству. Он же с 7 лет — композитор! А мать — дочь Нила Федоровича Филатова, по детским болезням профессор, его имени — московская детская клиника. Мать давно умерла, он еще маленький был. Она, больная брюшным тифом, услышала крик сына. Встала — и пошла. За стенки держалась, в жару. Но не дошла, упала. Потеряла сознание. Вскоре

¹ Теперь место бассейна у Кропоткинских ворот.

она умерла. Он похож на нее, хотя и на отца похож, тоже что-то восточное. Вы сами увидите! Он заикается. Иногда — почти чисто говорит, а иногда — трудно! Но самое главное в нем — это гиперестезия слуха, — спешила рассказчица. — Он слышит в октаве совершенно отчетливо — 1701 звук. Он нам рисовал схему. Я ее найду, покажу вам! О своих «гармонизациях» рояльных (он их так зовет) он небрежно говорит. Он только колокола признает, Котик! Мы на днях собираемся его слушать — пойдете с нами?

— А он как: аккомпанирует при церковной службе?

— Ну да, и он сердится, что в другие часы — нельзя... Он ведь чудной, Котик... Не понимает! В субботу пойдём, хорошо? А когда в каком-нибудь колоколе ему слышится, как он говорит, звук слишком прекрасный, он выпускает из рук все веревки колокольные, и... (слово «падает» пропало в звонке из передней — длинном, настойчивом; нет, не спешном, не нервном — настоящем, как бы праздничном).

ВСТРЕЧА

Радостно, как-то торжественно — зная ли, что ждут? — выходил из передней высокий, темноволосый, в аккуратной, темной, плотной рубашке, подпоясанной ремнем: одергивая полы (как это делают мальчики от застенчивости, тут — не так: не застенчиво, а — в некой веселой готовности — предстать). Карие огромные, повосточному длинного разреза глаза сияли блеском темным и детским по силе открытости. Голос запинаясь:

— Я оп-поздал н-нем-м... — радостно прорвавшись, — много! Ппп-рости-те... — Кланялся, пожимая руки, смеялся.

(Пожалуй, красив! Волосы волнистые, длиннее положенного. Царь Федор Иоаннович, театральный какой-то!)

— Мой источник меня задержал, — медленно, но словоохотливо пояснял нам вошедший, с веселой улыбкой сопровождая слова, — ему мои сказали — где-то я там «болтаюсь», поздно домой прихожу. Да! — Он вдруг оживился, очень.

— Я вч-ч... — слово не удавалось ему, — вчера у Глиэра был! — Он обвел всех нас глазами, сияющи-

ми.— И мне выд-дадут разрешение от Наркомпроса,— он развел руками широко и радостно,— ск-колькo н-на-до мне к-к-колоколов, в каких н-надо тональностях! Дооборудуют мне мою звонницу! Пожалуйста,— он провел рукой по воздуху, как бы перечисляя нас,— п-приходите вы тоже!

Юлечка усаживала гостя за стол, наливала чай, при-двигала хлеб, печенье, варенье.

— Кушайте, Котик!

Котик ел с большим аппетитом, продолжая рассказывать свои победы и приключения домашние.

Он ел весело, увлеченно, по-детски. Было удивительно наблюдать эту смесь горечи о непонятности и радости о победах, создававшую вокруг этого человека непривычную атмосферу,— ей трудно было подобрать эпитет.

Я рассматривала Котика со сложным чувством восхищения и жалости, смесью впечатлений, им даваемых. Как бы в зеркальном отражении той двойственности, в которой шагнул откуда-то в эту комнату к нам пришедший.

Но он вдруг остановил свой рассказ. Порывисто привстав, он трогал пальцем сахарницу.

— Удивительно! — вскричал он пораженно, как будто увидев друга.— Тип-ичная сахарница в стиле «До 112 бемолей!».— И он погладил ее, как гладят кота.

— Да! — спохватился он, извиняясь за то, что отвлекся,— так я уж-же от-тобрал один маленький колокол — один пуд и четыре фунта. Это на весах, старых,— вроде бы застеснялся он,— а другой — ну, этот побольше будет! — Он рассмеялся.— Еще не вешал его н-на весах, ну, думаю, пудов пять будет... Вы не представляете себе, какой звук! Эт-то, как говорится, божественный! В груди — холодок даже! Я — даже боюсь... такой звук! Ну, а еще — уже неподъемный! Только несколько человек его смогут поднять! Ре-ди-ез!

Он отрезал себе серого хлеба и, намазывая на него слой варенья:

— Какой хлеб вкусный! Он свежий, да? Свежий! Я, впрочем, не обедал сегодня, не было времени! Когда человек не ел долго — так все ему вкусно кажется, да? Я — заметил...

Мать что-то сказала Юлечке, и та вышла. Но уже забыл Котик, что не обедал, плывя по волнам рассказа о наркомпросовских колоколах, потому что удивился,

обрадовался вдруг, увидев глубокую тарелку супа в руках Юлечки. Она ставила ее на стол, придвигая ее, несла еще хлеба.

Котик возликовал, как дитя.

— Эт-то очень хороший суп, я вижу! — объявил он (должно быть стыдась, что он один из присутствующих будет есть такое!). И, глубоко погрузив ложку в подправленное растительным маслом и луком кушанье, стал молча наслаждаться едой. Взгляд его был опущен на тарелку — длинные, трепетно вздрагивающие веки; как бы выросший в наклоне нос и безусый рот — все это сейчас было жалобно. За минуту, при полыхавшем огне глаз, величавое, победное, красивое сменилось другим — незащищенностью...

Но мне было пора идти. Я встала. Он не заметил меня, ел. Юлечка вышла за мною в переднюю.

— Необыкновенный, да? — спросила она, прикрыв дверь. — Уникальный! Вы знаете, — она остановилась перед предстоящей темой, но, преодолевая себя, как девушка современная, — он же другой, чем все: у него есть дассия. — Она легко употребила уже отжившее слово, видно в семье употребляемое. — Она — балерина. Но это все — платонически! «Ми-бемоль» (сколько бемолей — забыла!). Он ей пишет письма, бывает у них. Понимает ли она в его колоколах — не знаю, но он ей посвящает свои «гармонизации» колокольные. Вы услышите, это как целый концерт! Музыка — удивительная!

Серьезное, мужественное, привлекательное лицо Юлечки поражало волевым началом. Филологию выбравшая, путь отца, она обещала многое в будущем.

— Довольно потрясающее впечатление, — говорила я, одеваясь, не найдя иного слова. — Мне он знаете кого напомнил? Не знаете? Князя Мышкина!

— Правда? Ну, это вы... нет! Вы не думайте, он очень насмешливый: про сестер — «преподобные»; он — нелегкий дома, я думаю, самозащита! Озорство иногда даже! В Мышкине — не было! Отца, правда, очень любит!

— Сколько лет ему, Котику?

— Двадцать семь! Жаль, что уходите!

Обледенелые ступеньки, мороз, ветер. Я иду, спрятав нос в воротник. Сын, наверное, из школы вернулся, надо

идти скорее. Позади меня — целый мир, волшебный и непонятный, непостижимый, но до жалобности — реальный. До какого-то стеснения в груди.

ЗНАКОМСТВО

Котик оказался — ручным. Он легко отозвался на приглашение в следующую же нашу встречу у Алексеевых. Он придет за мной в субботу перед всенощной.

Сегодня его не будет в их доме, и мне грустно. Вошел в душу. Но, сдав пачку карточек, я задержалась в беседе с Юлечкой. Я ее очень люблю. И сейчас я впервые увидела того, о ком только знала: дальнего родственника Алексея Ивановича, и я в волнении слежу за размахом маятника жизни. Иван Алексеевич! Кто не знает его на его родине! Зачинатель письменности одной из поволжских народностей, подобный герою народному, проложивший след — на века. Но десятилетия прошли — он пережил себя, он здесь живет на покое, потеряв память, забыв величье свое и свой труд. Он прошел, ведомый старушкой женой, через комнату в ванную, молчаливый, седой остов прошлого, грузный, отсутствующий... и я гляжу ему вслед.

О это чувство, которым содрогается молодость, глядя на зрелище старости, не оно ли незримым серебряным холодком трепещет по волосам юных, подготавливая, будя прислушивание к тому, что должно прийти? Словно над бездной наклонясь, глядела я ему вслед.

«Но,— скажут мне,— передержка! Разве все доживают до недолжного возраста старости, до второго младенчества?»

«Да, да,— радостно впадаю я в возражение,— разве не было у создателя письменности поволжской седых лет творчества? Когда несогбенные еще плечи были могучи и широки? (Когда старость еще кралась к ним...) А наш Павлов, для моциона, весело, в 80, в городки игравший? Толстой, Лев, за год до смерти скакавший верхом? Да и я, наконец, тоже в 80 пишущая эти строки? Мечтающая на беговых, на норвежских коньках выйти на лед? Бегающая — не для одного моциона — из задора! На глазах молодежи, дробным бегом, не отставая от них, по эскалаторам? (Да, но — с чуть захолонувшем сердцем... И уже увлекающаяся лечебной гимнастикой, сыроедением (длит силы!). Про-

веряющая уже, изредка, цифры сахара и протромбина в крови, чтобы не оступиться нечаянно в притаившуюся за спиной смерть...»

— Значит, в субботу за вами заходит Котик? — сказала, выйдя за мной в переднюю, Юлечка. — Только будьте готовы, к вечернему звону нельзя опаздывать, да и он будет уже вне себя от страха, что опоздаем! Ему знаете что труднее всего? Вот именно эта точность, — он бы засел на колокольню за сколько хотите часов, он уже пробовал, на него там сердились: обещает только приготовить веревки, развести их все по порядку, чтобы качать, как надо ему, все звуки, — и вдруг тронет их, и еще до начала службы раздастся звон, легкий... Не терпится!

Мы улыбались обе. От умиления, от предвкушения? От близости к таинственному для нас (над чем тоже наклонялись — в непознаваемое...).

— Вот Глиэр и хочет проверить его композиторство, — сказала она, — Котик ведь спорит с теми, кто уже после детства пытался его учить! Чему, мол, могут они научить меня, если они не слышат всех звуков? Один бемоль? Один диез? Они же глухие... Я бы мог их учить, но глухого не выучишь. И смеется, и потирает руки, — чешутся у него — звонить!

Часа за полтора до назначенного времени меня вызвали к телефону.

— В-вы гот-товы? — спросил голос Котика. — Я к в-вам иду!

Я кончила укутывать в «пастерначий» (как звался подарок Б. Л. Пастернака) сундучок, обитый изнутри мягким, кастрюлю с супом и — поменьше — с только что закипевшей кашей — доварится! — для сына Андрея — из школы придет без меня. И вот уже звонок, и гость входит в мою, заставленную старой мебелью, комнату.

— Я пришел з-з-заранее! — весело сообщил Котик. — Чтобы б-была уверенность, что н-не опоз-здаем!

Облистав взглядом стены, увешанные картинами и портретами, он пошел ходить вдоль них, сколько позволяла теснота.

— У в-вас интересно, — сказал он радостно. — Я люблю — так... Я н-не люблю голые комнаты. Т-тогда мне кажется, я — в тюрьме! Или — в больнице!

Он остановился перед большой фотографией моей сестры Марины.

— Оч-чень четкое из-изображение ми семнадцать бемолей! — воскликнул он поглощенно. — А эт-то — си двадцать три диеза, немного стерто!

Это была старая карточка Андрюшиного отца.

— И снова ми семнадцать бемолей, — перешел он взглядом к детской фотографии Марины и, далее, к мелкой группе, где на фоне итальянского сада в центре группы детей стояла 10-летняя сестра, моя Маруся в матроске, похожая на мальчика, — тут-т у вас везде от-чего-то ми семнадцать бемолей минор. — Его, видно, не интересовало, что он видит того же человека в различных возрастах, это — не доходило. — И — оп-пять! — уже совсем восхищенно вскричал он, взглянув на стоящую на письменном секретере рамку, где сестра моя, уже лет 30, была снята рядом с мужем и дочкой. — Это уд-дивительно! Основное звучание к-комнаты!

— А какая моя тональность? — спросила я улыбаясь.

— Ми шестнадцать диезов. Мажор! — тотчас (чуть изумленно, что спрашивают об очевидности) отозвался Котик. — И даже немного обиженно: — Это же — ясно...

— Это не только вам ясно, Котик? — пошутила я педагогически.

Он согласился сейчас же и, став серьезным:

— Ну да, ну да! От-того — не понимают! Разумеется... И в-вот я не понимаю, как можно жить и не слышать тон-нальности окружающих... В таком — м-молчанье! Наверное, эт-то — трудно для человека! Не слышать! Уд-дивительно! Я бы — не мог! Н-но — который час? Скажите, пожалуйста? Наверное, пора!

Мы выходили в голубоватые сумерки. Мерзляковский переулок был тих. Вдруг Котик остановился, прислушиваясь.

— Слыш-шите? — спросил он потрясенным голосом, и лицо его стало торжественно. — Это колокол Вишняк-ковский звонит! — проговорил он счастливо, самозабвенно. — Эт-то хорошо, что далеко! Я од-дин раз н-не смог его вынести — упал! Эт-то было — давно.

Воздух был совершенно тих, никакого звона не слы-

шалось, без слов, одним согласным с ним волнением, я ощутила: не «ему кажется», а — «мы не слышим...»

Существование огромного мира звуков, нам недоступного, прошло по нас трепетом о себе заявившей реальности. Вдруг открывшейся.

Большой двор церковный в одном из замоскворецких переулков медленно наполнялся народом. Если бы взглянуть на него сверху — обозначилось бы две струи идущих: одна направлялась в храм, другая растекалась по дальнему углу двора, над которым возвышалась колокольня. И в то время как первая струя входила в двери — безмолвно, вторая наполняла двор — жужжанием разговоров. Переговаривались, то и дело взглядывая вверх, где виднелся, по временам исчезая, силуэт человека в темном и в шапке. Он что-то делал там, наклоняясь и выпрямляясь.

— Готовится! — сказала мне Юлечка.

Среди толпы, собиравшейся, я заметила группу людей, чем-то от других отличавшихся: они держались вместе, оживленно разговаривая, было даже похоже на спор. В их внешности было что-то особенное — некая холеность, стать; меховые их шапки казались из лучшего меха. У двоих волосы выдавались из-под меха — длинные, почти до плеч. И красота или оригинальность черт.

— Музыканты! — шепнула мне Юлечка. — Завсегдатаи, когда он играет!

— Может быть, и Глиэр тут?

— Может быть...

Низкая под высоким очертаньем церкви дверь, впуская народ, то и дело открывала свою освещенность, согретую теплым цветом, желтоватым. Мороз пощипывал. Люди похлопывали нога о ногу. Ожиданье становилось томительным. И все-таки неожиданно оно ворвалось, непохожее на тишину... Словно небо рухнуло! Грозовой удар! Гул — и второй удар. Мерно, один за другим рушится музыкальный гром, и гул идет от него... И вдруг — заголосило, залилось птичьим щебетом, залихватым пением неведомо больших птиц, праздником колокольного ликования! Перекликанье звуков светлых, сияющих на фоне гуда и гула! Перемежающиеся мелодии, спорящие, уступающие голоса... Оглушительно не-

жданые сочетания, невысказанные в руках одного человека! Колокольный оркестр!..

Это было половодье, хлынувшее, сломав ледоход, потоками заливающее окрестность...

Подняв головы, смотрели стоявшие на того, кто играл вверху, запрокинувшись, — он летел бы, если б не держали его привязи языков колокольных, которые он держал в самозабвенном движении, как бы обняв распростертыми руками всю колокольную, увешанную множеством колоколов. Они, гигантские птицы, выпускали медные, гулкие звоны, золотистые, серебряные крики, бившиеся о синее серебро ласточкиных голосов, наполнивших ночь небывалым костром мелодий. Вырываясь из гущ звуков, они загорались отдельными созвучиями, взлетающими птичьими стаями, звуки — все выше и выше, наполняли небо, переполняли его — но уже бежал по лесенке псаломщик, что «хватит! Больше не надо звонить!». А звонарь, должно быть, «зашелся», не слушает! Заканчивает свою «гармонизацию»...

— Д-да! — потерянно сказал высокий длинноротый старик. — Много я звонарей на веку моем слышал, но этот...

И не хватило слов! Люди — жужжали.

— У него совершенно органый звук! — говорил кто-то. — Я ничего подобного...

— Да нет, не орган, понимаете — это оркестр какой-то!

— Гений, конечно!

— Так ему же Наркомпрос колоколов навывдал! — пробовал «объяснить» какой-то голос попроще.

— Ну и что же? Наркомпрос, что ли, играет? Нам с тобой хоть со всего Союза колокола привези...

— Много звонарей на веку моем слышал, но этот...

Темные — уж не глаза, а очи Юлечкины из-под пухового платка сверкали, — похоже, что материнской гордостью.

— Не напрасно я вас сюда привела?

Слова ее были будто обыкновенны, но горенье лица напоминало картины Нестерова, Сурикова.

— Знаете, кого вы сейчас напоминаете в этом платке, во дворе этом? — сказала я ей. — Женщин из Мельникова-Печерского «В лесах», «На горах» — читали?

Читала ли? Ужель не читала? Вся душа ее русская

одержимо светилась в ее восхищенном лице. Народ расходился. Мы ждали виновника торжества.

Он вышел к нам радостный.

Взгляд, которым одарила его Юлечка, был от земли оторван. Но, увидев его красные уши, она вернулась к реальности.

— Пойдемте к нам,— сказала она просто,— мама сейчас нас чаем напоит! И лекарство вам даст, вы же еще простужены.

На другой день Котик сказал мне:

— Я был у Глиэра. Вчера. Он папин друг. Да! — вдруг он заволновался.— Он хо-хочет учить меня по всем правилам к-к-композиции! Это же совсем мне не нужно! На фортепиано! Что можно в-выразить на этой несчастной темперированной д-дуре с ее несчастными линейками? М-мои к-колок-кольные гармонизации — разве он их не слышал? К-когда ум-мерла моя бабушка, я упал в припадке, но когда я потом встал, я сразу сыграл новую гармонизацию до 119 диезов, и я тут же ее записал, но запись... всегда н-не то получается, он-ни эт-то не понимают!

Он сказал эти слова с такой трудно выразимой горечью, что лицо его помогло себе — гримасой, вмиг состарившей его.

— Я это все знал, когда сочинял мои детские сочинения, я вам их покажу, когда в-вы ко мне придете,— но ведь я тогда еще не встретился с к-колоколами! Препо-добные! Они же не понимают, что такое к-колокола! Н-но я обещал вам показать рисунок! Мои 1701 звук! — оживился он. И он попросил лист бумаги.

Пока я в кухне готовила нам ужин, разогревала чечевичную кашу и клюквенный кисель, всегда напоминавший мне детство, Котик, сев на диване в моей комнате, что-то чертил и надписывал. Но я настояла, чтобы он сначала поел. Он согласился охотно. От еды лицо его порозовело, он сидел такой красивый, привлекательный, нарядный, здоровый, что мне в голову не приходило вспоминать его небесную музыку...

И вот этот таинственный мир! Он нарисовал четко чертеж правильными линиями и надписал круглым детским почерком.

— Это же совсем просто! — сказал Котик, передавая мне лист.— 243 звучания в каждой ноте (центральная и в обе стороны от нее по 121 бемоль и 121 диез), если помножить на 7 нот октавы — получается 1701. Эт-то же ребенок поймет! Почему же он-ни не понимают? Он-ни думают, я ф-фанта-зирую! Потому, что он-ни — не слышат! Вы понимаете? Они не слышат, а получается, что я вин-новат!

Ему стало смешно. Он рассмеялся заливчато, и можно бы назвать его смех ребячьим — если бы на дне его не звучало горечи и даже, в пределе, отчаяния. Он как-то поперхнулся им и, переставая смеяться:

— В-вот и вся моя история! Это совсем просто! Но на рояле я же не могу сыграть эти 243 звука, когда н-на этих несчастных ч-черных — всего один диез и один несчастный бемоль... Я слышу все звуки, которых они не слышат!.. Нет, нет, не так! — вдруг вскричал он просветленным зажегшимся голосом.— Они т-тоже слышат! То есть нет, они звучания не слышат,— закричал он,— но т-то впечатление, которое получается от колокольных гармонизаций, они его отличают, потому они и ходят слушать м-мою игру в церкви святого Мáрона...— Он вдруг увял. Чего-то ему не удалось договорить, ему понятного.— Эт-тот Глиэр, он...— Он встал.— М-мне пора идти...

— Котик! — сказала я очень просительно,— но вы все-таки можете сыграть — на рояле? Ту рояльную гармонизацию ми-бемоль минор. Вашей «Ми-бемоль минор» посвященную. Вы же играли где-то, и люди же восхищались... Мы с вами пойдем к моим друзьям — там бабушка замечательная, писательница, а дочка красавица, концертмейстер. Нет, это не важно! — поспешила я, видя, как черты Котика исказились.— Я к тому, что рояль у нее, отличный звук! И еще там — маленький мальчик, трех лет, такой ребенок... Даже если вы детей не любите, то этого вы...

— Я д-детей — люблю,— сказал Котик,— дети л-лучше все понимают, они просто — понимают! Хорошо, я пойду с вами и поиграю, но вот если бы у них были к-колокола...

У ДРУЗЕЙ

Собираясь в тот вечер с Котиком к Ольге Павловне Руновой-Мещерской, автору романа о 1905 году «У корня» и других книг, я взяла с собой черновик моего до того незадолго написанного письма Горькому. Пока Нэй, подруга моя, концертмейстер, знакомилась с Котиком, я в соседней комнате прочла ее матери мой черновик. Правильные черты до старости красивого лица ее вспыхнули улыбкой, и было в карих глазах — веселье.

— Вы мне, Ася, принесли ваше письмо к Алексею Максимовичу,— сказала она с ласковой горделивостью,— а я вам прочту его письмо ко мне!

В жар моего нетерпения мне протянут большой лист, мелко исписанный прямым кудреватым почерком:

«Дорогая Ольга Павловна!

Сердечное спасибо за сказку и письмо, письмо у Вас тоже вроде сказки. Весьма обрадовался также мимо-летным, но глубоко верным замечаниям Вашим о том, как творятся в России легенды; очень думаю над этим прекрасным и необходимым для нас — для всех нас процессом. Писал об этом А. Бельскому... Прислал он мне книжку свою, а я, прочитав и многое в ней подчеркнув, возвратил ему. Ответа не имею, рассердился на меня человек. Напрасно. Никогда никого не учил я, на свой лад не перестраивал, судьей себя не считаю, а только свидетелем».

— Хорошо пишет! — сказал я.— Если он мне ответит...

— Ответит! — убежденно ответила Ольга Павловна.— Непременно ответит! Идемте в столовую, нас уже заждались!

Нас ждали Котик и Нэй в высокой просторной комнате большого дома окнами на Сретенский бульвар, за длинным столом, богато — по тем временам — накрытым. Уже вкусно и обильно накормлен странствующий звонарь, и словоохотливо он рассказывает:

— В одном доме встретился я с... с... с... (не даются ему эти встречные!) с-словом, они — актеры! И он-ни уговорили м-меня играть. Нет, не думайте, не по моей части, хотя и на к-колоколах там тоже... по их части, играть в театре Федора Иоанновича (любезно поясняя нам), был такой ц-царь. Он т-там у н-них на колоколах звонит, так я понял! И я буду этот царь в царской

одежде — и должен буду звонить на к-колоколах! Что-то выдумывают? К-какие там у них к-колокола? Эт-то в Камергерском п-переулке, называется театр МХАТ.

Серые, темные под тяжелыми веками глаза Нэй смотрят на гостя с улыбкой ласкающего внимания. От сильной близорукости она еле различает лицо гостя, но она ощущает присутствие необычного.

Большеглазый — глаза, как у матери, серые — мальчик трехлетний не сводит с гостя взгляда.

— И там была т-так-кая неприятная дама! Он-на вообразила, что хорошо играет... А я возьми и спроси ее: «А можно мне вас понюхать? Прости-те, я ошибся! Я хотел сказать «послушать!»» Она на м-меня оч-чень обиделась!

Он залился смехом.

Мне стало неприятно. Ведь они видят его в первый раз — и после моих рассказов о нем... Поймут ли, что он и озорник немного? Могут ведь подумать — нахал. Но Котик уже бродит по комнате — знакомится с новым местом. Остановился у рояля, поднял крышку. Сейчас начнет? Но он настойчиво ударял одну и ту же ноту.

В комнату входила пожилая худенькая женщина — жена художника Альтмана. Нота все длилась нетерпеливо. Нашел изъян? Что-то странное. Я подошла. Он держал палец на ля.

— Почему же она н-не слышит? Я же з-зову ее,— недоуменно спросил Котик,— она же — ля, чистая центральная нота!

Поняв, я уже объясняла вошедшей:

— Фаина Юрьевна, ваша тональность — «а»! И Константин Константинович...

Но мальчику Туле пора спать, а он хочет слушать! Нельзя, игра возбудит его, не успеет. Уговаривают. Но маленький тиран не сдается: хорошо, он согласен «завестись» к соседке напротив по коридору, там лечь, но чтобы ему дали острого винегрету! Дадут? Тогда он пойдет к соседке. Следивший за этой сценой Котик раздражается веселым смехом.

Круглые, как у кота, огромные серые глаза под детской каштановой челкой смотрят победно.

— Маринаду дадут! А есье — да, да — шоколаду!

Обещан и шоколад. Бабушка, старая революционерка, когда-то красавица, покрасивее Екатерины Второй (некогда с ней сравнивали...), уводит внука.

Котик садится к роялю.

Но первые звуки рояльные кладут было разбушевавшемуся счастью предел: бабушка, погрозив пальцем, обещав шоколадку, уходит.

Медленно, упоенно, как-то все снизу вверх идут звуки коленопреклонно перед недосыгаемой высотой Мибемоль? И все флейтное существо рояля, все скрипичное, все органное его звучание сплетается в новую оркестровку, вызывая колокольные голоса. Они мечутся о пределы рояльные, рождая небывалое в слухе.

Я смотрела на друзей моих: Ольга Павловна, Нэй, ее пожилая гостья — Фаина Юрьевна, «а» — жена художника Альтмана, — на лицах всех их, столь разных, было одно выражение: поглощенность неожиданным, неповторимым! Мы присутствовали при Чуде. Теперь, почти полвека спустя, когда никто уже, может быть, не помнит ни колоколов Котика, ни игры звонаря на рояле, — когда я, может быть, последняя, кто об этом расскажет, — какая на мне ответственность — найти слова! Но я, в смятении воспоминания, не нахожу их. Перечла описание его звона. Как слабо! Не воссоздала совершенно... То был вечер колокольного рояля! Не «подражанье на рояле колоколам», этого, может быть, и немало — в записях музыкальных, это совсем другое: с помощью этих презираемых звонарем белых и черных клавиш, служащих одному диезу, одному бемолю, — он нашел способ (не мог не найти он, тосковавший по звучанию колокольному с утра до ночи) создать колокольность в клавишах!

Сонного, как ветка, утонувшая в пруду сна, несла Нэй на руках великолепно спящего сына, раскидавшего, несмотря на малую величину свою, богатырски ноги и руки; спящая голова со спутанной каштановой челкой с рук матери свешивалась, как волшебный плод. И в трогательном покое черт невинность ночи растопила и залила ребяческое лукавство дня. А смолкшие колокола звучали в ночной комнате.

ДОМА У ЗВОНАРЯ

Ни на что не похоже — иметь квартиру в здании консерватории — что-то вроде полузабытого сна. Полутемные переходы, высота недомашняя, печальность ис-

точников света, тени; лестницы и гулкость органная — вот тут жил звонарь. Правда, тут жили и арфистки-сестры и арфы сестер, от звуков которых он уходил из дому, как от всех темперированных инструментов. И жил тут отец всего этого, их Источник. Я пишу это слово с большой буквы — не от себя, а невольно передавая тональность этого слова в устах сына, — в тональности звучало уважение, заглавность. Котик не рассказывал мне об отце, но позднее я узнала, что он нежно любил отца с самых дней детства, когда тот еще не был назван источником, а был просто папа, с дней, когда жива была мать, когда сын был кудряв и младенчествен, а отец молод и весел... Вот этими вещами невещественными — Прошлым, в вечность ушедшей матерью, незримым еще будущим, как в новогодних зеркалах отраженных друг в друге, веяло на лестницах консерватории, которыми мы шли. Слышалось все то, как стихший звон арфы, как неслышный звук Вишняковского колокола, и вещественна была тут эта невещественность семейной трагедии... И, как в старых домах, мышами пахло в тот вечер в пути нашем, и шли мы будто не Москвой... Петербургом гоголевских времен.

И вот наконец комната. Дана отцу его, как профессору консерватории, для занятий. (Квартира их, сказал Котик, в ГИТИСе, на Кисловке.) Я не помню тут мебели, хоть она, конечно, была. Явственней были двери, и потолок, и окна в неведомость, и был час вечерний, час отсутствий, где-то проводимого отдыха, а может быть, чьих-то концертов... Вынув откуда-то из-под спуда ему одному ведомых тайников, Котик протягивает мне альбом. Я раскрываю — и пораженность до дна души: лет десяти сидит у рояля мальчик; темные волнистые волосы завладели лбом и щеками, заглядывают в глаза мальчиковы и мои, а из-под них глаза свободно смотрят в душу мою. В глазах — отрешенность, мечтательность. Несмотря на нарядный костюм, матросский, в позе, в существе ребенка — печаль. С дней, когда, заслыша крик сына малюточного, кралась в жару мать — рука по стене — и, не дойдя, упала, и вскоре похитила ее смерть.

— Это я, — эт-ту фотографию очень моя бабушка любила — тут, она говорила, я на м-маму похож.

Он перевернул страницу. Дальше шли листы нот.

— Тут мои детские сочинения, я тогда учился на

рояле. Но мне оч-чень м-мешал мой учитель, мне сочинять хотелось, а он хотел, чтобы я играл гаммы... Но после уроков я любил его, хороший!

Но вот я гляжу в уже немного выцветшую, чуть золотистую, фотографию. Писчим почерком золотом вытиснена внизу подпись фотографа — и, если повернуть, будут оттиски золотых медалей, «поставщик двора Его Императорского Вели...». (Так на фотографиях конца XIX века.)

В очень длинном стоит молодая женщина, в муаровом платье, и бесконечно заботливы заглаженные мелкие складочки у оборчатого низа платья, затейливо обходящего подол узором рюшей. В сочетании черного и белизны предстает этот легкий стан, облик — женственный в трогательной красоте черт, чистых. Родниковое, ландышевое протекшей весны, счастливой; смотрит, не улыбается. Но, может быть, вот-вот улыбнется — так добры у края застенчивости большие, в вопросительной задушевности, светлые, под ресницами темными и бровями, глаза. Правилен нос, легко очерчены ноздри. Дыханьем неуловимо приоткрыт рот, одновременно легкий и пышный, — так с лепестками бывает. Лоб открыт, грациозно обведенный светлыми, подобранными вверх волосами, прической простой и изысканной.

— Моя мама! — говорит Котик тихо.

ДНИ КОТИКА САРАДЖЕВА

Мы ехали на трамвае, где-то на Пятницкой или Ордынке, мимо старых особняков. Внезапно Котик рванулся вбок и, сияя, как от неожиданной радости, закричал так, что на нас обернулись:

— ...Смотрите! Типичный дом в стиле до 112 бемолей!

Он перевешивался через заднюю, наглухо закрытую загородку трамвайной площади, провожая взглядом родной его слуху дом. И когда тот исчез, он, потирая руки, смеялся, наслаждаясь ему одному понятной гармонией. На нас смотрели с недоумением. Сознаюсь, мне было неловко. Как-то надо было объяснить окружающим этот случай, который благодаря своей громкости делал их участниками, зрителями. И я не могла найти слова. Но и тени смущения не было заметно в Котике.

Или он не замечал нацело людей? Нет, он не был оторван от среды. Отвлеченности в нем не чувствовалось ни капли. Он был вполне воплощен, умел и радоваться и сердиться. Мог и — как уже я говорила — насмешничать. Что же давало ему броню, мне недоступную? А он уже отвлекся в беседе.

— Я забыл вам рассказать, — говорил он, — что вчера меня проверяли! — Он закивал головой, торопясь, опережая себя. — То есть они хотели уз-знать, верно ли это, что я слышу все эти з-звуки! Он-ни м-мне сказали так: «Эт-то нужно для — для н-науки! И вот вы (то есть я) дол-лж-ж-ж... — Он запнулся, завяз в жужжанье этого «ж» и, как жук, попавший в патоку, шевелит ногами — выбраться, так он боролся с неспособностью одолеть слово. Но ни тогда, ни позже я ни разу не заметила у него ни раздражения на мешавшее ему заиканье, ни нервозности, мною встреченной у других заик. Он скорее отдавался юмору этой схватки, иногда выходя из нее — смехом, и никогда не отступал, может быть наученный логопедом упорствовать в достижении нужного звука. Нет, упорство это жило в нем самом. Может быть, крылось в каком-то веселом единоборстве? Или в осознании юмора, что ему не дается звук — ему, сколькими звуками владеющему, ему, их богатством одаренному превыше возможностей окружающих! И ему не дается какой-то один звук?! Жук вылез из патоки! — Вы долж-жны нам помочь!» Их было несколько, а я — один. Двое были в белых халатах, эт-то б-была как-кая-то л-л-лаборатория. Я очень смеялся! Что же тут проверять, что я — слышу! П-по-моему, их интереснее проверять, почему они ничего не слышат! Один какой-то бемоль, один диез, только! И н-на эт-том они с-с-строят свою муз-зыку, тем-перированную!

— Котик, вы совершенно правы, конечно! — отвечала я. — Ну и как же они вас проверяли?

— По-моему, они эт-то и не меня проверяли, а эт-ти свои приборы? Потому что... — Он очень оживился, но, как всегда не успевая догнать свою мысль речью, он заспешил, мешая себе: — Он-ни п-привели м-меня в т-так-кую выс-сокую к-комнату, там было много стеклянных вещей, и м-металлических тоже м-много, и посадили меня у т-такого стола, и что-то н-на м-меня н-надели, потом снимали, п-потом оп-пять н-надевали. И потом-м они оч-чень крич-чали, с-спорили. Я н-не знаю,

про ч-что, я оч-чень смеялся. Я заб-был, что потом б-было, я эт-то уж-же рассказывал Юлии Алексеевне, а ее папа з-заинтересовался и меня все расспрашивал.

— Ну все-таки что же они, Котик, проверяли?

— Он-ни т-так сказали: что ск-колько эт-ти приборы м-могли за мною поспеть, з-за моим слухом — какие-то т-там «кол-лебания» (там еще что-то иг-грало, как-кая-то ч-чепуха...), он-ни зап-писали эт-то — все, что п-правильно слышу, и п-приборы с эт-тими «колебаниями» т-тоже! А пот-том это все ос-становилось — и я слышал, и он-ни уж-же не м-могли, пот-тому что он-ни — кончились! — Котик засмеялся с детской ликующей непосредственностью. — А я н-не к-кончился, и т-тогда все закончилось, п-потому что он-ни уже н-не могли пров-верить. Их «колебания» к-кончились, а м-мои — а м-мои ведь т-только начались!

Он больше уже не рассказывал, он смеялся, он так смеялся, что я, в испуге за его нервную систему, старалась прервать его, отвлечь, и это мне наконец удалось.

Мы шли проходными дворами: вел — он.

— А мы верно идем? — сказала я, будто бы озабоченно. — Мы не заблудились? Ведь Юлечка нас ждет! И мы не опоздаем в ту церковь, где сегодня вы обещали звонить?

Среди музыкантов Москвы все ширился разговор о звонаре Сараджеве. Заинтересованные и восхищенные его сочинениями на колоколах (а многие — и его игрой на рояле) говорили о том, что он еще молод, что еще можно ему учиться! Наличие его гиперстезированного слуха позволяет ему такие волшебные сочетания звуков! Этому нельзя дать заглухнуть, надо ему объяснить, что ему нужно учиться! Ну, пусть не в консерватории (он может без привычки к учебе уже не одолеть трудностей, сопутствующих предметам, — да!). Он же может учиться у какого-нибудь из выдающихся музыкантов-композиторов — композиторскому искусству! Пусть он частным образом учится, заиканье этому не помешает! Это же долг всей музыкальной общественности — заняться его судьбой, вмешаться, наконец, в его остановившееся на колокольной игре музыкальное развитие... В нем же гениальные способности!

На это отвечали: «Ну так как же проверить такой слух? Принимать просто на веру? Это, знаете ли...»

«А его не так давно проверяли,— возражал кто-то,— именно проверяли тонкость его музыкального слуха. У него же бредовая теория есть, что в мире, то есть в октаве,— 1700 с чем-то звуков, и он их д и ф ф е р е н ц и р у е т, вот в чем интерес!» — «Так это же опять с его слов, это же не доказано!» «Частично — доказано! — отвечали иные.— Приборы частоты звуков, их, как бы сказать, расщепленности. Я, может быть, не совсем точно понял? Они шли в паре с его утверждениями — докуда эти приборы могли давать показания. И все совпадало. А дальше приборы перестали показывать, а он продолжал утверждать, и с такой вдохновенной точностью, которую нельзя сыграть. Да и зачем играть? В этом же ему нет ни малейшего смысла! Вы понимаете, он естествен как естественно животное, как естествен в своей неестественности любой феномен! И думается, не столько здесь стоит вопрос о том, чтобы ему учиться, как о том, чтобы от него научиться чему-то, заглянуть, так сказать, за его плечо в то, что он видит (слышит то есть). Ведь это же чрезвычайно интересно с научной точки зрения...»

Так вспыхивали споры везде, где бывал Котик или где слышали его игру, дивясь ей, не имея возможности сравнивать ее с чем бы то ни было.

А Котик смеялся. Не зло, д ó б р о, его все эти рассуждения о нем забавляли. Чему они будут учить его — о звуках, которые для них не существуют, в существовании которых они сомневаются?

— М-мне,— говорил он,— надо пе-перестать слышать, и т-тогда я бы мог стать их уч-чеником, пот-тому что они очень много уч-чились, а я — только в моем д-детстве, когда мне надо было выучить ноты, и все эти нотные линейки, и белые кружочки, и черные, и эти паузы и ключи, скрипичный и басовый. Чтобы записать м-мои детские сочинения! Но для колоков-колоков все это не имеет значения, эти звуки нич-чему не помогают, и это все неверно, потому что я на этих линейках могу нарисовать только один диес и один бемоль, а бемолей 121, и диесов т-тоже 121...

— Да, и это наша трагедия, что тут присутствует недогоняемость,— сказала я кому-то о Котике,— а вовсе не его трагедия, раз он слышит больше, чем мы!

— Нет, в этом тоже есть трагедия,— отвечали мне.— Слышанье немислимых обертонов, сверхизучен-

ных, есть катастрофа. Но привести это звуковое цунами в состояние гармонии вряд ли возможно... Может быть, наука будущего...

Другой настаивал:

— Нет, он действительно мог бы создать неслыханные звучания, если бы он научился управлять ими по всем законам гармонии!

— Вот так логика! — отвечал кто-то. — Неслыханные звучания — мы же слышали их! И им не нужна наша гармония...

Не слушая, тот продолжал:

— Тогда бы он владел теми сферами звуков, которые ему слышатся! А пока — он только вырывается в непознаваемое и что-то оттуда нам сбрасывает. Какие-то...

— Жар-птичьи перья! — сказала я. — И перья павлина, которые мы слышим и восторгаемся ими. Хоть и отрицаем, бредом считаем эти десятки бемолей и диезов, причину необыкновенных его композиций. Тут какой-то заколдованный круг!

Но мне отвечали, что это все, что я сказал, — литературщина, дело вовсе не в этом, а в том, что для того, чтобы сочинять музыку, надо изучить контрапункт.

А Котик Сараджев уходил от нас по ночным улицам, окруженный домами в стиле несуществующих для нас десятков бемолей и диезов, и в тишине ночи ему издали шли звоны подмосковных колоколов, которые трогал ветер.

Вскоре Котик пришел ко мне. Он бережно нес завязанную тесемкой коробочку, кондитерскую.

— Я вам печенье принес! — сказал он празднично и поклонился не без гордости. Он аккуратно развязал тесемку и поставил на стол коробочку, раскрыл крышку и положил ее рядом. — Вы, пожалуйста, кушайте! — сказал он чинно. — Если его с чаем с молоком — оно очень питательно. И сыну его давайте!

Я благодарила, смущенно смеясь. Это было так неожиданно! Мы сидели за чаем, вечером, у моей старшей подруги, той самой, что работала концертмейстером. Котик уже играл нам на рояле свои ранние гармонизации, которым не придавал цены. Он равнодушно выслушал наши похвалы и на вопросы хозяйки дома, пианистки, ответил вразумительно и терпеливо! Но он казался усталым.

— Оп-пять б-был царем! Эт-тим с-самым, Федором Иоаннычем, что ли... Неин-нтересно! И зач-чем им это пон-надобилось? Как-кой я ц-царь? Он-ни говорят мне: ты типаж (это что такое?). Да! Великолепный, ты же р-родился б-быть Иоан-нычем этим, и наружность твоя, даже и грима не надо! Н-но ведь у них совсем никуда не годные колокола, я на них совсем не могу играть, три-четыре колокольчика — и все! Если б один большой был — хотя бы благовест можно, а то... А они говорят: нам трезвон надо! Мы, говорят, тоже попросим у Наркомпроса колокола, только играй! Вся Москва, говорят, на спектакль придет, понимаешь? Но я им сказал: нет, хватит! А колокола пусть мне даст на мою колокольню Наркомпрос! И я ушел.

Лицо его подернулось тенью — и он заговорил вдруг быстро-быстро, но не по-русски, а на языке вполне непонятном, раздражение слышалось в интонациях. Пораженно глядели мы друг на друга, ничего не понимая. «По-армянски,— мелькнуло в моем мозгу,— отец — армянин, и бабушка, может быть, в его детстве...»

Заливчатый детский хохот вывел нас из смятения. Это хохотал в восторге от неожиданности Туля. Он восхищенно уставился на чудного гостя, не слушая увещаний матери. Легким румянцем подернулось ее лицо, глаза, мягкие под тяжелыми веками, смотрели на Котика, силясь понять происшедшее. Но он, уже придя в себя, тоже смеялся, кивая ребенку, и, покраснев тоже,— извинялся.

— П-п-простите! Я заб-былся, п-простите! Эт-то со мной б-бывает, я иногда волнуюсь, нач-чинаю гов-ворить слова — обратно, не как в книгах печатают, а наоборот... Эт-то все из-за эт-тих актеров,— сказал он с нескрываемым недовольством,— я в-вас п-перепугал, простите...

Но Туля не унимался.

— А как вы это делаете? Я тозе хоцю так! — кричал он в необычайном возбуждении.— Как? Как?

То, что не удалось матери, удалось бабушке: она успокоила мальчика, маленького своего внука, отвлекла, увела в соседнюю комнату, прикрыв дверь.

Конец вечера прошел мирно, обыкновенно. Котик держал себя как самый простой гость, если не считать того, что звал нас вместо имен и отчеств — нашими тональностями, но к этому мы уже привыкли.

АВТОБИОГРАФИЯ

На другой день, к острому интересу моего сына Андриюши, большого мальчика, Котик сидел на диване обложенный со всех сторон фотографиями и, перебрасывая их, ничего не спрашивая, нисколько не интересуясь, кто это, называл тональность на них изображенных людей. «Что же это за слух? Что за мозг? — думала я, поражаясь все больше и больше. — И какая уверенность!»

Я следила за быстрыми его движениями, влево от него на диване уже лежала груда просмотренных фотографий. Сейчас он перекладывал картонные странички маленького выцветшего бархатного альбома, и каждый раз, как встречался — в любом возрасте — Андриюшин отец (ребенком ли, в гимназической форме, взрослым ли, где только с трудом можно было поверить, что это тот же человек), Котик называл его «Си 12 дизев». Как было любопытно, что младенческие любительские снимки сына Андриюши (о котором цвело убеждение, что он на меня похож) Котик неизменно именовал близкой отцу тональностью: «Си 21 бемоль»... И отец мой, Иван Владимирович, каждый раз оживал под пальцами Котика — стариком ли, студентом, пожилым, в разных костюмах, с лысиной, с русыми волосами, даже очки не всегда присутствовали на фотографиях, и это среди множества других лиц, — все в том же «До 121 дизев»...

Но к концу вечера в Котике проглянула усталость. Он ушел, пожав нам руки, сказав, что пойдет спать, а завтра явится к нам в гости со своим новым детищем, первым из переданных ему Наркомпросом колоколов.

И каким веселым, ожившим он пришел к нам, легко, как игрушку, неся свой «соль-дизезик»!

— Од-дин пуд и семь фунтов всего, — сказал он, ставя его на сиденье Андриюшиной парты, — я уверен, что в нем, в его сплаве, есть серебро! Да, да, иначе не было бы в нем так-кого з-звучания, вы только послушайте!

Он поискал, чем бы, — и, схватив Андриюшин напильник, с которым тот мастерил что-то, небольшим размахом отведя руку, ударил гостя-колокол.

— Слышите? — вскричал он в восхищенном волнении, отскочив в сторону, чтобы лучше слышать. На лице его было блаженство. Серые глаза моего сына были устремлены на Сараджева с неменьшим возбуждением,

чем накануне глаза Тули. А по комнате несся, утихая, но еще вибрируя и становясь все нежней и неуловимей, легкий, радостный, о себе заявляющий звук серебра!..

— Котик,— сказала я,— можно вам задать вопрос о том, что, по-моему, даже важнее, чем рассказ о любимых колоколах ваших,— это так трудно определять, тут вас мало кто поймет, может быть, какие-нибудь мастера, которые знают тайны сплавов, пропорции, они — да. Но вот могли бы вы определить слух ваш? Знаю, сколько вы слышите в октаве звуков, и знаю, что это пытались проверить, и недостаточно удачно. Но, может быть, когда-нибудь в будущем, когда будут более совершенные приборы...

Он поднял на меня сверкающий взгляд. Темные его огромные глаза вдруг показались мне почти светлыми.

— Д-да, д-да,— с усилием крикнул он,— но н-не прибор-ы!.. А л-люди будут совершеннее! Может быть, через сто лет, через тысячу у людей будет, у всех, абсолютный слух, а у м-многих такой, как мой, и эти люди услышат все то, что слышу теперь я — один...

— Это — о будущем, вера в него держит вас, как держит меня — в моем восприятии вас как новатора-музыканта. Но вот что мне хочется знать — о настоящем. Почему вы пристрастились именно к Мароновской церкви?

— Мароновские колокола меня поразили! Их подбор представляет собой законченную гармонию!

Все это Котик произнес, совсем не заикаясь. Я вспомнила, что об этом говорила мне Юлечка,— когда радуется чему-нибудь, заикается мало.

— Колокола с ярко выраженной индивидуальностью и в отдельности и в массе (при трезвоне) вызывают у меня музыкальные мысли, образы, как и в детстве. Тогда я любил воплощать их игрой на рояле. Слушая эти импровизации, отец или бабушка (мама к тому времени уже скончалась) записывали их на ноты, и получалось, как они говорили, недурно. С четырнадцати лет начал я бывать на колокольных во время звона. Впервые попал я во время звона на колокольню Ивана Великого. И странное дело: из всего огромного подбора его колоколов ни один не затронул меня так, как трогали колокола других колоколен. Звон Ивана Великого ничего, совершенно ничего не представляет собой, только темный, оглушительный, совсем бессмысленный гром,

но колокола сами по себе там — превосходные; всего их 36, и в смысле их подбора дело обстоит великолепно... Находясь на колокольне Ивана Великого, я услышал однажды колокол, который потом постоянно звучал в моих ушах, но узнать, где он, с какой он колокольни звучит, мне долго не удавалось. Тогда же, то есть четырнадцати лет, я начал звонить сам; было это на даче, близ Москвы, по Павелецкой дороге, в 22 верстах от Растргуева. Дом, где я жил, находился на холме, и было очень хорошо слышно три разных колокола. Я пошел на их звук. Всю дорогу был слышен Большой колокол. Придя наконец к самой колокольне, я влез наверх и попросил у звонаря дать мне продолжить звон. Тот дал. Звонил я минут пять, а затем звонарь начал звонить в остальные колокола. Тут же пришел другой человек; он, по-видимому, был удивлен, почему я пришел, недолго поглядел на меня, как я звоню, видит — ничего, и сошел вниз. Все колокола, как я нашел, очень хорошие, но здешний звонарь звонить не умел! Чтобы не слышать его, я спрятался под «свой» Большой колокол и вот там испытал громадное наслаждение! Он имел прекрасную индивидуальность...

Я взглянула на часы... Мне надо было идти на занятия английским, но я не могла прервать Котика: он просто сиял, рассказывая.

— С пятнадцати лет я перешел к трезвону, то есть к звону во все колокола. Вот тут, находясь в самой середине колоколов, в центре всего звона, я чисто интуитивно распоряжался индивидуальностью каждого колокола во время всего звона. Не могу никакими выразить словами, какое наслаждение я при этом испытывал! Я не говорю о красоте многочисленных ритмических фигур, узоров, которые я сам, создавая, выполнял и которые бесконечно увеличивали мой музыкальный вос-
торг...

Я больше не могла, я должна была идти! Я встала.

— Впервые я стал трезвонить на колокольне церкви Благовещенья на Бережках,— продолжал Котик, покорно встав тоже,— и сразу же стал бранить себя за то, что так долго лишал себя неиспытанного наслаждения, каким явился для меня трезвон... Мы ид-дем? — сказал он, сразу вновь заикаясь.— Д-да, и мне н-надо идти...

Расставаясь со мной, Котик Сараджев чинно кланялся, как пай-мальчик.

— А... еще есть у вас печенье? — спросил он вдруг меня хозяйственно и немного стесняясь. — Или уже всё съели?

— Есть еще, есть, Котик!! — смеялась я в умилении, ошеломленная нежданностью вопроса, до дна озадаченная невинной житейской простотой этого непонятного человека.

ГОРЬКИЙ. ИТАЛИЯ

В почти родной квартире у Пречистенских ворот — так связана она с нашим с Мариной детством — мы снова собрались у Яковлевых.

Я говорила о моем письме, отосланном Горькому, о восхищении его книгами, к сожалению поздно пришедшими в мою жизнь. Мой взгляд замер на висевшем над нами портрете широкоплечего мужчины в расцвете сил (прежде я не замечала его). Темные волосы рассыпной волной поднимаются надо лбом, высоким и чистым, спускаясь затем темным ободком к бороде. Мужественный взгляд глаз, умных и несколько повелительных. Печать воли и мысли лежит на всем существе. «Иван Яковлев! — поняла я. — Так вот он какой был...»

— ...«Воспоминания» Горького, — рассказывала я, — в одном томе, тоненьком — знаете, темно-синий, с белым корешком? Совершенно удивительная книга! Он пишет о всех странных людях, которых встречал на своем пути, — такое разнообразие! И каждый из них до того живой, осязаемый, колдовство какое-то! Бугров, хозяин булочной, обожавший свиней. Сумасшедший монархист — учитель чистописания, потом этот сложный Савва Морозов — такая необычная коллекция!..

И вдруг я остановилась: на меня глядел Котик Са-
раджев, и взгляд его был — удивительным: он будто — из темы — отсутствовал. Было вполне очевидно, что Горький его не занимает нисколько. Но что-то в моем тоне привлекло его чрезвычайно: он весь впился глазами в меня. Я же, этим взглядом встревоженная (может быть, какое-нибудь изменение во мне — тональность?..), была вышиблена из своего рассказа. Видимо почувствовав мое состояние, он очнулся:

— Эт-то оч-чень интересно, как вы разговаривали сейчас, — сказал он по-детски непосредственно. — Я ду-

мал, вы сейчас о чем-то скажете, может быть, о колоколах? Я думал: может быть, этот самый Горький написал что-нибудь о колокольном звоне? У вас было такое лицо! Я слышал, в старину были звонари, и настоящие! Я думаю даже, что у них был слух такой, вроде моего слуха!..

Я, в свою очередь, не сводила глаз с Котика — до того он был в эту минуту прекрасен! Он показался вдруг старше. («Такой он будет лет через десять», — мелькнуло во мне.) Но было неудобно дальше глядеть так на человека. Я обернулась к Юлечке. Ее умный, взыскательный взгляд был также обращен на гостя.

В это время приоткрылась дверь во внутренние комнаты и показался, поддерживаемый старушкой женой, огромный и согнутый седой Иван Яковлевич. Большая волосатая рука его, дрожа, уцепилась за ручку двери. Но, что-то ему говоря, его уводили, и он покорно двинулся дальше, дверь закрылась.

«Жизнь человеческая!» — холодом прошло по мне. Пережившая себя жизнь эта была как-то даже страшной смерти — лишенная ее таинственного благообразия.

Я писала сестре моей Марине и Горькому о Котике Сараджеве, даря им его; ей, с детства до зрелых лет так похоже воспринимавшей каждого чем-то необычного человека! Долг передарить его — Марине, Горькому — был очевиден. Я ждала от них ответа. А тут Глиэр решил начать заниматься с Котиком, так композитор был захвачен, заинтересован его игрой. Только как с ним Котик поладит? Не поздно ли уже начинать с детства брошенное ученье, в его 27 лет?

То материнское чувство, которое он к себе вызывал у многих женщин, и молодых, как Юлечка, и средних лет, как Нэй, и старых, как ее мать, как жена Алексея Ивановича, разделялось, конечно, и мной; и жалость к бездомности его — вынужденной из-за рояля и арфы, для него в доме его нетерпимых. Но было у меня и еще совсем отличное — интерес писателя к такой необычной натуре, вживание в него с целью — воссоздать образ этого необычного музыканта.

Был предвесенний день, когда я в волнении позвонила в дверь к Яковлевым. В руках — тонкий светло-серый конверт с итальянской маркой — ответ Горького! В нем приглашение приехать в Сорренто.

Я читала и перечитывала. И снова. И я улыбалась.

(Наверное, глупое было лицо!) Поеду? Италия меня не занимала нисколько. Я там была в детстве, была в юности. Но в Италии жил — Горький! К нему рвалась душа. Я расскажу Алексею Максимовичу о Котике, о наркомпросовских колоколах, о том старике с длинной бородой, слушающем их под разными колокольнями, о Юлечке и о стольких его почитателях!

Мне шел 33-й год. Я увижу Марину, которую не видала пять лет!

А дни шли, и снова настала суббота. Колокольный звон, церковный двор. В весеннем вечернем воздухе растоплен хрусталь, но в прохладе его нет неподвижности, прохлада реет, воздух льется ручьями. Над ними, купаясь в заре, повисли ветви с бусами почек. Первые фонари жалят небо, как в Маринином и моем детстве, — сияющими точками и маленькими елочными шарами... От их вспыхнувшей череды сразу начался вечер. Народ собирается. Стою, думаю:

«Наверное, нет колоколов лучших, чем русские! Потому нигде и не славится колокольный звон так, как в России! И московские музыканты стоят в весеннем дворе под колокольной, хотят услышать звонаря Сараджева. Говорят, за границей стало известно, как он играет... Но зачем Котику за граница? Ему в России хватит колоколов! Вот он сейчас заиграет!»

Слушатели волнуются, переговариваются. За неделю — сколько слухов было о Котике, — а он ничего не хочет знать о них, поглощенный своей идеей о несравнимости колокольного звона с обычной музыкой. Я жду первый звук. Думаю: понимает ли Котик, как глубоко я в него поверила? Он только улыбнулся, услышав, что хочу писать о нем! А ведь для меня он — пророк, предвестник музыки будущего!

И в хрусталь тишины вечерней с капелью весеннею падает — так ужасно внезапно (хоть ждем не дождемся) — колокольный звон!..

Сирины взметнулись, небо зажгли — с колокольни и вверх! Вся окрестность! Стоим, потеряв головы и сердце, — в звоне...

— Ну и звонарь! — как припев — старик длиннородый. — Сколько звонарей я на веку моем слышал, но этот... — И руками развел...

Недели прошли. Позади — отъезд, путешествие... И вот я сижу в Сорренто перед Горьким. Высокий,

худой, седеющий — усадил в кресло, он — по ту сторону письменного большого стола, и течет беседа в углубившемся в вечер дне... О Москве рассказываю, о московских людях, — о неопишемом Сараджеве Котике, о его колоколах. И слушает Горький пристально, как он один умеет, и разносторонни, точны взыскательные его вопросы, и ответы в него погружаются, как в колодец, и нет этому колодцу дна! Первый вечер, но я уже перегружена впечатлениями. Слушаю его окающую речь, четко выговариваемые слова: «Вы должны написать о Сараджеве! Книгу! Вы еще не начали? Напрасно! Это ваш долг! Долг, понимаете ли? Вы — писатель».

— Да,— в ответ на это, с ним согласясь,— разве я этого не знаю? Но когда же было начать? Не у колокольни же и не в поезде...

Ничего не слушает! И он прав! Конечно — долг!

— И повесть про звонаря у вас получится хорошо, если напишете — как рассказали! Вы мне верьте, я эти вещи понимаю... Он у вас жить будет, что не так часто в литературе. И послушаю я его обязательно, когда буду в Москве... И, разумеется, следует, чтобы специалисты им занялись! Об этом надо выше хлопотать, будем... Такое дарование со всеми его особенностями нельзя дать на слом. Вы мне, Анастасия Ивановна, непременно напишите подробнее про колокола, про состав их, расспросите его хорошенько... Я этим делом в свое время интересовался, когда приходилось мне в старых русских городах бывать, где знаменитые звонари отличались... Ведь это — народное творчество, да, один из видов его, оно имеет свою историю... Вы говорите, он с детства композицией занимался, еще до того как звонить стал? Расскажите мне о нем поподробнее. Вы меня очень заинтересовали... Нет большей ошибки для писателя,— продолжал он с возрастающей увлеченностью,— как, увлекшись натурой, нафантазировать о ней! А это может случиться потому, что мы, когда пишем, точно так же увлекаемся, как в жизни!

Тема затронула его за живое: передо мной сидел человек вне возраста. Только что резко обозначившиеся провалы щек и морщины словно растаяли. Но удивительней всего прозвучало в этом вдохновенном лице — неожиданное слово, сейчас загоревшееся.

— Трезвость! — проговорил он с чем-то похожим на упоение в голосе.— Трезвость. Вы понимаете

это слово? Но вы непременно должны понять его всем существом вашим, потому что в нем — весь долг писателя! Перед обществом, для которого он пишет, которому он, умирая, передаст все, что накопил он за жизнь. Горе писателю, если он увлечется натурой, подчинится ей, если она поведет его за своим силуэтом мерцающим. Горе вам, Анастасия Ивановна, если звонарь Сараджев поведет вас за собой. Вы должны вести его, и рука ваша не должна дрогнуть, даже, — он придвинулся ко мне и гипнотически, — даже если вам придется привести его, по Ломброзо, в безумие? В безумие? Но т р е з в о в е д и т е его!.. — Он встал. Я встала.

Распахиваю в ночь, черную, звездную, соррентийскую, створки окна — настешь, беру тетрадь — новую, итальянскую, в зеленой обложке, и записываю мою беседу с Горьким — о Котике.

Утро. Жидкий, плоский, однотонный металлический звук итальянского колокола, лишенный всякой напевности. Русский звонарь со своими любимыми мощными колоколами вставал передо мной во весь рост.

СНОВА РОССИЯ, СНОВА КОЛОКОЛА

Вернувшись в Москву, увидев Котика, я рассказала ему о моих беседах о нем с Горьким. Он был счастлив, как дитя.

— Я ему все напишу про сплавы колоколов и про многое! И вы ему мое письмо пошлете в Италию!

Он принес мне его на другой день (многое из им записанного для Горького подтверждается теперь, полвека спустя, новейшими исследованиями).

Тогда же я узнала, что Котик собирается — это меня удивило, обрадовало — прочесть где-то доклад о своем колокольном деле.

И московскую осеннюю ночь напролет пишу повесть о звонаре.

Под утро, ложась, вспоминаю, как Марина слушала мой рассказ о Котике, как расспрашивала! Радовалась, что у Горького он возбудил интерес. Завтра же напишу ей, что пишу и пишу! А завтра — суббота, свижусь опять с Юлечкой, пойдем слушать колокола. «Вот теперь вспыхнул интерес Котика к Горькому! — говорю я себе с юмором. — До того не затронул его, но теперь...

А ведь любопытно! Котик вообще книги читает? Не могу его себе представить сидящим за книгой! Какая это должна быть книга, чтобы она ему стала нужна? Как-то отдельно от книг живет он... Написал ли что-нибудь новое для своей Мечты, Ми-бемоль? Уже год почти прошел, как я его увидела! Как время летит...»

...Все как было! Вечер субботний, народ толпится у колокольни св. Марона за Москвой-рекой. Первые удары благовеста — темным, тяжелым звуком. Словно падает с колокольни свинец огромными горячими каплями. Голос того самого колокольного сплава, о котором спрашивал Горький.

...Алексей Максимович, да и когда же вы в Россию приедете? Ведь не смогу я вам привезти в подарок Сараджева-звонаря! Надо, чтобы вы тут стояли, с нами, на этой русской земле под осенними ветвями, под русскими колоколами... Чтобы вы развели руками — нет слов...

Желтые листья летят и кружатся по двору, липнут к пальто и к рукам. Котик, приготовившись к трезвону, собрав в руки веревки, привязанные к языкам колокольни, ждет снизу знака — начать.

Как не бывало Италии — приснилась! Русский сырой вечерок, запах прелых листьев, родной, веющий Тарусой и детством...

Хмелея от счастья слышать питомцев своих, Котик откинулся назад всем телом в первом хоровом отзыве на движение оживших рук, отпрянув, сколько позволяют веревки,— слитый с колоколами в одно, влитый в их зажегшееся светлое голошенье, загоревшийся вместе с ними в костре ликующих звуков. Как парусник, вылетающий в море, снасти и паруса — звучащие!.. Нет, как ни тшиться сравнениями подойти к празднику колокольного звона — не передать его ошеломляющей красоты. Всего ближе — вот это: «голова — с плеч»... Почти точное ощущение напрочь срезанного владенья мыслями, чувствами в захлебнувшемся звуковом полете! Много раз и я с детства слышала звон колокольный, но он был беден и прост, беден и описуем. Этот... Но ведь это же можно понять, если вернуться к мышлению: тот звон, те звоны (досараджевы и были и будут!) настолько беднее и проще, насколько центральная нота с бемолем и диэзом беднее 243 звучаний.

...В этот вечер Глиэр, устав размышлять, восхищать-

ся, колебаться, поддаваться колокольному колдовству Котикиному, твердо решил положить конец сомнениям своим о Сараджеве: предложить ему — гению? — ученически (потому что без ученичества никто не растит мастерства) написать на заданность музыкальных тем работы экзаменационные. Звалось же это в мозгу Глиэра экзаменом на то, что отделяет безумца от гения, по теории Ломброзо — экзамен на трудоспособность.

ДЕТСТВО

Я думала о детстве Котика. Приводила в порядок услышанное с разных сторон. Отец его женился три года спустя после смерти жены на ее кузине, тоже Филатовой. Это была прекрасная, поэтическая женщина. И была в доме не мачехой, а доброй волшебницей. Дети звали ее «тетя Зоя». Котик десяти лет свою пьеску «Птичий щебет» посвятил «тете Зое», она обожала природу. Годы детства и отрочества Котик и Тамара провели у бабушки, матери своей мамы. Детей от второго брака — двух девочек и младшего брата — Котик любил, играл с ними, и они любили его. Но, как бывает с людьми искусства, он часто был трудным в семье.

А вот что узнала я позже от Тамары Сараджевой о его детстве.

— Он был еще на руках у няни, — сказала она, — когда стал реагировать на звуки колоколов. Он плакал, когда его уносили от колокольни, любил, чтобы с ним гуляли близ нее, и слушал внимательно колокольный звон. Эти прогулки он называл «день-день, бом-бом». Игрушек он не признавал, и когда его спрашивал отец, что ему подарить, он отвечал: «Колокол». У него была целая коллекция колоколов, с совсем маленьких до уже довольно большого. Он развешивал их на перекладины стульев под сиденьем и очень беспокоился, чтобы никто их не трогал и в них не звонил. Сам же он залезал под стул, ударял тихонько в один колокол — и слушал, замерев, пока не прекратится звук. Подлезал под другой стул и там продолжал то же самое. Затем ударял в два колокола, а иногда в несколько и слушал, как они звучат. Когда в семилетнем возрасте его стали учить играть на рояле, на скрипке, он начал импровизировать. Пьески эти с его рук записывала наша бабушка, Фила-

това. Заикаться Котик стал после смерти нашей матери.

Тут мне приходится прервать рассказ сестры размышлением: обычно под словом «импровизация» понимают один раз сыгранную вещь. Но в Котикином случае, видимо, это была уже композиция: чтобы бабушка могла записать им играемое, он должен был повторять — и не раз, может быть, — сыгранное им, которое, видимо, жило в его мозгу, раз сложившись, а не улетало, как улетает импровизация.

— Эти детские пьесы, — сказал мне музыкант, их проигравший, — имеют строй, они построены. У каждой из них есть свое содержание.

Что я еще узнала от его младшей сестры?

Отец восхищался талантом сына, показывал сочинения мальчика музыкантам. Композитор Р. М. Глиэр, услышав его композиции, сказал: «Из него выйдет второй Римский-Корсаков». Но вскоре Котик стал все реже сочинять на рояле и явно охладевал к нему.

Одно время в детстве он стал собирать коллекцию флаконов от духов. Расставляя на окне, он старался играть на них, ударяя их палочкой, добиваясь мелодии. Затем он начал с удовольствием играть на скрипке, но скоро и она перестала ему нравиться, он начал раздражаться малейшей ошибкой в ее звучании.

Котик слышал все обертоны (то есть частичные составляющие основного тона, всегда сопровождающие основной звук. — А. Ц.), ясно различал их в звуке колокола. Отсюда его неудержимое стремление играть на колоколах. Отец, по словам Котика, проявлял к этому живой интерес, и Котик делился с ним своими колокольными переживаниями. Он объяснял отцу, что в октаве он слышит 1701 тон. Все люди звучали для него определенными тонами. Себя он называл Ре. Каждый звук имел свой цвет.

Свои колокольные композиции он пытался записывать на бумаге, но сыграть их на рояле было невозможно. Котик был, конечно, совсем особенный — по богатству своих способностей.

— Однажды мы играли с ним во дворе, обнесенном высокой оградой, — рассказывала его сестра Тамара. — «А сейчас папа проходит мимо нашего дома!» — сказал мне Котик. Я побежала к калитке и вышла проверить: мимо нас проходил наш отец. Такие вещи у него замечались часто, и мы к ним привыкли.

Мне удалось узнать о Котике от учительницы его и сестры Тамары, которым она на дому — благодаря заиканию Котика — преподавала французский и арифметику. Занималась она с детьми два года, с его 10 до 12 лет, отношения с ними были хорошие, учились они охотно.

У Котика ей запомнилось доброе выражение больших черных глаз, широко открытых. Их взгляд был приветлив, в нем светилось удивление и ожидание. Никогда не спорил, не отказывался, не ленился. К окружающим был доброжелателен, в обращении — мягок. Усваивал легко, память была очень хорошая. Произношение французского отлично ладилось, что она объясняла его музыкальным даром. И на уроке арифметики примеры на вычисление шли легко, быстро. Во время решения задач он как-то особенно задумывался; но его реакция на ее «наводящие» вопросы дала ей понять, что он в эти минуты переносится «в иные сферы», как она выразилась, и она поняла, что решение задач было как-то особенно связано для него с решением его рояльных композиций. Она видела его в перерывах играющим на флякончиках, о которых сказала мне Тамара: играл он, извлекая из них гармонические сочетания, иногда гаммы, иногда мелодии, оглядывался вопросительно на свою учительницу, желая, видимо, знать, нравится ли ей то, что он создает. Во время прогулок Котик был подвижный, оживленный. Висевшая на стене в классной географической карте очень интересовала его. Он страстно любил в ней разбираться.

В моих руках — страничка нотного альбома Котика Сараджева в возрасте десяти лет: «В полях» (по-французски) — «Посвящено моей дорогой и доброй Т. Д. Виноградовой». (Печать на ее рассказе о нем!) Доказательство его привязанности к ней.

После нее и другие преподаватели занимались с детьми на дому у Сараджевых, каждый по своему предмету, и каждый утверждал, что Котику далее работать надо именно по этой специальности. Но Котик, попутно, на ходу вглатывая ему даваемое, отрывался от него, от всего, к своему колокольному делу.

Мне хочется сказать о композициях десятилетнего Котика, записанных его бабушкой, Юлией Николаевной Филатовой, и отцом. В альбоме их 22: первая, меня по-

разившая печалью, настойчивой жалобностью, повторностью вопроса, беспомощно-лаконичного, звалась: «Где ты, моя мама?» Она посвящалась бабушке. Ей сродни другая композиция — «Воспоминанье о маме», посвящалась отцу. Все остальные были названы по-французски, и посвящение было тоже записано по-французски: «Охота на кузнечиков» (посвящалась сестре), «Марш» (посвящался шумному и веселому его дяде), «На воздушном шаре»; «Воспоминанье об Ибрите» посвящено котенку Никишу (Никиш был всемирной известности дирижер), «Колыбельная песня» («Моей новорожденной сестренке Кире»), «Печальный мотив», «Моей няне», «Вальс», «Шалунья» («Моей доброй и дорогой сестре Тамаре»), «Романс», «Колокольчики». Предпоследняя, «В полях», поражает тишиной, медлительностью, покоем, а конечные музыкальные фразы как бы уводят вдаль дорогой, разомкнувшей поля, — в бесконечность. Завершающая звалась просто: «Моему дорогому папе».

Переписали мне и альбом двенадцатилетнего Котика. Тут шаг из детства почти сразу во взрослость. И тут уже в нескольких композициях — явная колокольность. Он бьется о рояль, вырывается из него, мечется, мается тоскою о колоколах — и это не подражание звону, какое существует у композиторов. Нет, это не мастерство, не обдуманность, не искание сходства — это рвется его колокольное сердце на части, не находя в рояльной игре путей и покоя. (Еще три года ему оставалось до счастья, до погруженья в стихию колоколов.)

Среди названий (всего во 2-й тетради 14 композиций) — «Печаль», «Мелодия», «Романс без слов», «Цыганка», «Меланхолический отрывок», «Медитация» (в 12 лет!), «Вечерняя мелодия», «Фантазия», «Не забывай меня»... Больше не сохранилось нот его сочинений. Кроме одной композиции, записанной уже взрослым, чрезвычайно своеобразно и трудно, с надписью: играть одной левой рукой, что для других оказалось фактически невыполнимым, с переходами из одной тональности в другую. Настойчивая печаль в сложности своих гармоний, возвращающаяся на круги своя.

Об этой единственно сохранившейся взрослой его записи сказал музыкант: «Отдаленно перекликается со Скрябиным, но без его диссонансов!»

Церкви же требовали прекращения звона соответственно содержанию службы, это приводило колоколеста в отчаяние.

ЗВОН

Узкий длинный церковный дворик. Мало людей (глухой переулочек), не знают еще, что будет звонить замечательнейший из звонарей. Хорошо! Можно сосредоточенней слушать. И все-таки — узнали откуда-то: уже бродят по двору, у колокольни, укутанные фигуры — и по снегу, глубокому, следы.

Мы стоим, Юлечка и я, подняв головы, — ждем. Сейчас начнет!

Тишина. Ждет ли, когда снизу, из церкви, велят начинать? Первый удар благовеста! Покорно его повторяет звонарь, удар гулкий, глухой, он кажется темного цвета! (Может быть, прав Скрябин, мечтавший сочетать звуки с их цветом? Дети ведь часто это улавливают, как и мы, моя сестра Марина и я. Но мы в детстве спорили о цвете слова. Ей было ясно, что слово «Саша» — совсем темно-синее, а мне это казалось — диким: хорошо помню, что для меня «Саша» — это легкое, хрупкое, светлое, как пирожное, «безе»... Значит, даже при сходстве нашем душевном у нас, двух сестер, было различное видение цвета и звука! Как же Скрябин хотел? Свое навязать целому залу слушателей, скажем, желто-алюфиолетовую окраску данной части симфонии, когда любому она могла казаться голубой, зеленой? И по всем рядам — разное? Котик такой объективизации своего чувства цвета не мыслил. Это я прикидываю в уме, пока падают с колокольни тяжелые гулы темного цвета в снежный принимающий двор.)

И вдруг — град звуков! Голоса, ликование разбившегося молчанья, светлый звон, почти что без цвета, один свет, побежавший богатством лучей. Над крышами вся окрестность горит птичьим гомоном Сиринов, стаяй поднявшихся, — всполошились, поднялись, небо затмили! Дух захватило! Стоим, потерявшись в рухнувшей на нас красоте, упоенно пьем ее — не захлебнуться бы! Да что же это такое?! Это мы поднялись! Летим... Да разве же это звон церковный? Всех звонарей бы сюда, чтобы послушали!

Я подняла глаза. Он откинулся назад всем телом, голова будто срывалась с плеч, и шапка его казалась на голове как бы отдельной, отрывавшейся под косым углом напрочь. Не видно отсюда, но уверена, что глаза не то что закрыл, а...

— Знаете, он, наверное, за жмуривается, когда такой звон! — блеснуло в меня темным глазом Юлечкиным.

— Ну и звонарь! — раздалось у нас за плечом. Я обернулась. Это ликовал тот длиннородый старик, который в прошлую субботу у колокольни Марона восхищался звоном. — Ну, слышал я звонарей, — загудел его голос над нами, — но такого — не слыхивал и, конечно, уже не услышу...

Оборвались звуки! Тишина стояла белая, напоенная, как под ней снежный двор.

Но мы не уходили: он же еще и еще, может быть, зазвонит, когда положено по церковной службе! Всенощная кончается не раньше восьми. Но — замерзли. Надо войти в церковь. А он? Он не греется? Нет, наверное, греется, есть такие церковные комнатки, и старушки там, черные и уютные. Может быть, чайком напоят звонаря?..

Я была дома, когда несколько дней спустя ко мне пришел Котик. Он казался оживленнее и веселее обычного, улыбался, потирая руки, и было немного лукавства в его празднично настроенном существе.

— Он мне задал, эт-тот самый Глиэр, — п-п-писать, н-написать ему десять эт-тих муз-зыкальных пьес! Детских. Элегия, скерцо, вальс, еще как-кие-то пьески, которых я не писал очень давно! Зачем ему пон-надобилось, он один з-знает! Н-н-ну, я уже написал ему — три таких пьески. Сегодня я напишу ноктюрн...

Он смеялся. Лицо его, пылающее темнотой и яркостью глаз, было весело. Он уже усаживался на тахту, раскрывал скромную, чуть ли не школьную, папку. Заражаясь весельем его, я участвовала, входила в его дела, точно и не было у меня за душой других...

— Отлично! Скоро Андрюша придет, будем ужинать! Я пойду в кухню готовить, а вы — вам, может быть, свет переставить?

Но он уже не слышал меня, раскрыв листы нотной бумаги.

С чувством, что чудно жить на свете, я перешагнула порог. А за порогом — соседи, шум (как морской, только игрушечного моря) — примусы, грохот воды из крана, телефонные звонки, стук входной двери, разговоры, голоса. И уж закипает чайник, и подпрыгивает на сковородке яичница с румяными гренками, разогрета чечевичная каша. И я вхожу празднично и победно, кухареньем победив повседневную усталость, из общественной кухни к себе, в мой мир.

Там, на тахте, сидит Котик, но озабоченное веселье, в котором он меня провожал, изменяясь, перешло во что-то другое, но тоже победное.

— Как! Уже кончили? Написали ноктюрн?

Он смеется! Он смеется так, как смеются в детстве, — всепоглощенно! Без берегов! Но, видя недоумение во мне — так же явно, как в руке моей — кашу, — он из глубин смеха апеллирует к слову.

— А з-зачем я д-должен писать ем-му эт-тот ноктюрн? — произносит он непередаваемым тоном (в нем свобода, за которую бьются века и нации!). — Ес-если ему эт-тот ноктюрн нужен (пауза, за которой — сады своеволя) — п-пусть он его пишет сам!..

Как в оркестре ведущий удар, разбежавшись и множась, рассыпается наконец искрами в широкой звуковой дали, так его отказ подчиниться Глиэру, руша задуманные темы построения его композиторского будущего, станет вдали, увы, безвестностью Котика. Но ни он, ни я в этот вечер не поняли этого. Озорство его фразы, ее неожиданность, меня восхитив, развеселили нас обоих безмерно.

Мы веселились, мы торжествовали, мы праздновали освобождение от угнетения! К нашей трапезе подоспевший Андрюша нес яичницу, резал хлеб. Он поднимал за здравный стакан с чаем:

— За — как это? Ноктюрн? Который напишет Глиэр!..

И только Омар Хайям, глядя на нас, разразился бы печалью стиха о превратности сего мира... Вечера этого!

Празднуя в этот день нечто, что нам казалось победой, мы, того не зная, праздновали — Тризну! Смехом беспечным оплакивали прощание с будущим, с «Глубинами ученичества, с Высотами послушания...».

Ученым Ломброзо этот вечер скорчил нам гримасу сочувствия, которую мы, превратно поняв, приняли за маску веселья.

Так я почувствовала — немного спустя. Но — глубоко завороты мыслей и чувств; в них можно заблудиться. Так я заблудилась — не в вечере Тризны, а в сожаленье о нем! Вот это мое заблуждение представилось мне совершенно неоспоримым, когда я узнала, что Котик не только играет на колоколах, как никто, а что он пишет о колоколах, пытается утвердить свою жизнь в них, стать понятным и понятым, жаждет вовлечь в свой круг талантливых людей страны!

И жаль мне, что Глиэр в нем ошибся, приняв невыполненность своего приказа — написать десять маленьких пьес — за нетрудоспособность Сараджева. Котику эти пьесы были просто никак не нужны. Но мы еще увидим имя Глиэра в списке крупных имен музыкантов, ратовавших за идею Сараджева, за звонницу; о нем будет сказано в одной из последних глав.

Когда, склонясь над музыкальными записками Котика, над его схемами будущих колокольных звонниц, я погрузилась в целый лес преодолеваемых им сложностей, трудностей, когда увидела его четкую целеустремленность и доказательства часов, дней, месяцев, проведенных им за нужной ему работой, — каким мизерным испытанием представились мне эти десять Глиэром потребованных пьес!

ДОКЛАД О КОЛОКОЛАХ

Просторный кабинет директора консерватории был почти полон. Большинство присутствующих — пожилые и старые люди, мне не знакомы. Наверное, музыканты.

Выступление называлось так: «О художественно-музыкальном значении колокола и о воспроизведении музыкальных произведений на колоколах».

Я волнуюсь за Котика. Ведь музыканты критичны к не их инструменту... Но Котик не волнуется совсем.

— Много, очень много в науке, в искусстве еще совершенно не открыто нам, особенно в области музыки, которую можно назвать наукой, музыкальной наукой, — так обратился докладчик к аудитории. — Во всей области музыки есть два направления — наша музыка, к

которой многие из нас очень привыкли, ей искренне преданы, как бы считают своим священным долгом отдавать себя ей, всего себя погружать в нее. Другая же — нечто совершенно иной конструкции, совершенно неведомого нам направления — колокол. Надо специально уделять время слушанию его, и делать это нужно не раз, чтобы глубоко вникнуть в свойства этой музыки, колокольной.

Знавшие Котика, может быть, удивлялись: он был спокоен и почти не заикался!

— Теория всей колокольной музыки, все до единого правила ее не имеют ничего общего с теорией и правилами обычной музыки. В теории колокольной музыки вообще не существует того, что называем мы нотой; тут ноты — нет, колокол имеет на своем фоне свою индивидуальную звуковую картину — сплетение звуковых атмосфер. (Звуковой атмосферой Котик называл сумму звучаний колокола, сопровождающих основной, доминирующий его тон и представляющих собою, как правило, более высокие тона.— А. Ц.) В колокольной музыке все основано на колокольных атмосферах, которые все индивидуальны. Индивидуальность колокола в воспроизведении музыкальных композиций на колоколах играет колоссальную роль.

Он передохнул немного.

— Я звоню уже с давних пор. И я так глубоко вошел в колокольную музыку, что другая мне уже ничего не дает и не сможет дать.

Колокол! Служил он для той же церкви, играли на колоколах даже отдельные мелодии. Но до сих пор никто не имел еще понятия о том, что на колоколах можно исполнять целые симфонии. К сожалению, я знаю немало колоколен, на которых есть колокола без всякого действия. Почему эти колокола висят там без действия? Повесить бы их туда, где бы онигодились, а то — как собака на сене! Колокола зря пропадают со всею своею музыкальной прелестью...

Я смотрю на колокол с чисто музыкальной, художественной точки зрения. Я жду пробуждения, его деятельности, дождусь ли я ее? Если да, то когда же наступит эта минута? На эти два вопроса кто же может дать мне ответ? Музыкальное значение колокола, музыка в колоколах!

Я смотрела на Котика. Мне казалось, он — счастлив!

— Колокол хотел давать нам все, извлекая из себя звук, звучанье, характер, гармонию, удар — все то, чем он обладал. Виноваты мы, сами мы, что смотрели на него как на какое-то било! Употребляли его для всякой надобности — например, в театре, за сценой, в симфоническом оркестре, — а ведь он является чем-то совсем отдельным от других музыкальных инструментов. В него входит наивысшая сложность сочетания звуков.

Слушали с интересом. Перешептывались.

— Колокол есть моя специальность, — продолжал докладчик, — мое музыкальное творчество на колоколах. У меня имеется сто шестнадцать произведений, которые по своим исключительно тонким различиям звуковых высот приемлемы для воспроизведения только на колоколах. Для этого нужен особый слух. Не тот «абсолютный» слух в смысле звуковой высоты, а также в различении тонов — а совершенно исключительно тонкий, в наивысшей степени абсолютный. Его можно назвать «истинный слух». Это способность слышать всем своим существом звук, издаваемый не только предметом колеблющимся, но вообще всякой вещью. Звук кристаллов, камней, металлов. Пифагор, по словам своих учеников, обладал истинным слухом и владел звуковым ключом к раскрытию тайн природы. Каждый драгоценный камень имеет свою индивидуальную тональность и имеет как раз такой цвет, какой существует данному строю. Да, каждая вещь, каждое живое существо Земли и космоса звучит и имеет определенный, свой собственный тон. Тон человека постигается вовсе не по тону его голоса, человек может не произнести ни одного слова в присутствии человека, владеющего истинным слухом, однако им будет сразу определен тон данного человека, его полная индивидуальная гармонизация.

Для истинного слуха пределов звука — нет, — воскликнул он вдохновенно, — как нет предела в космосе! Задатки истинного слуха есть у всех людей, но он не развит пока в нашем веке...

Обыкновенного абсолютного слуха — и того чрезвычайно мало, встретились мне 6—7 лиц, а может, и того не будет, скорее так: человека 2—3, не говоря уже о таком, как у меня. Такой слух пока является, увы, исключением. Но в дальнейшем будут, несомненно! Будут, обязательно будут! Но все-таки хорошо было бы, если бы нашелся хоть один человек с тончайшим,

абсолютнейшим, феноменальным музыкальным слухом, до самого предела остроты, с восприимчивостью к колоколу и колокольному звону, это было бы для меня великое жизненное счастье! Иметь лицо, которое было бы моим утвердителем, утвердителем того, что я говорю, на что я указываю в теории «Музыка — Колокол». Если в будущем будет этот человек хорошо осведомленным, глубоко посвященным в теорию колокольной музыки, — это уже так много! Признаться, я чувствую себя очень одиноким — так, как чувствует себя немой или иностранец, не говорящий на языке народа той страны, в которой он живет.

Но неужели же это одиночество у меня спадет, неужели дождусь я наконец этой минуты — какое тогда будет счастье! Да! Но, спрашивается, почему я так сильно отдался колоколу? На этот вопрос я должен дать ответ о причинах моего тяготения к колоколам...

Колокол дает нам весь музыкальный абсолют: посвящает нас в наивысшую теорию Музыки, Музыки с большой буквы. Созданная мною теория так и называется — «Музыка — Колокол». В исполнении музыкального произведения индивидуальности колоколов, всякими способами соединяясь, сливаются и...

В эту минуту докладчику передали записку. Развернув ее, он сказал:

— Меня просят подробнее сказать о процессе игры на колоколах. Хорошо. Колокола по своей величине подразделяются на группы. В первой группе — самые мелкие, во второй — немного побольше, в третьей — еще на немного больше, затем идут четвертая, пятая, шестая группы и т. д. В одну группу включаются колокола, близкие друг другу по величине, виду и высоте звука. Каждая группа имеет в себе определенный, соответствующий ей по силе звук. Разумеется, чем больше колокол, тем сильнее его предельный удар. Тяжелее он — и более продолжителен его гул.

На колокольные отдельно от всех — Большой колокол, фон, или основа. Звонит в него один человек, но могут и два. Затем — Педаль-колокол; в него звонят ногой с помощью нажима на доску. Педальных колоколов должно быть всего два: первый, большой, второй, малый. После педали следуют колокола клавиатуры. Игра на них производится с помощью клавишей, расположенных полукругом. Затем следуют колокола, на

которых воспроизводится трель. Их два набора — первый состоит из трех колоколов, второй — из четырех.

Он передохнул.

— Трель играет большую роль. Она есть как бы горизонтально тянущаяся нить во время звона. Благодаря своему разнообразию она придает звону самые разнообразные звучания.

Трель одиночная состоит из звона двух колоколов, смешанная состоит из звучания пары колоколов и одного колокола, и парная трель — из двух пар колоколов.

От языков колоколов идут шнуры к концам деревянной рукоятки. Удар производится всегда правой рукой.

«А ведь мало реакции со стороны слушателей!» — подумалось мне.

Котик развернул одну из записок, прочел ее.

— Я вижу, вопрос задан мне музыкантом, понимающим в колоколах. Да, колоссальнейшую роль играет ритм: каждый тон имеет соответствующий ему ритмический облик.

Тут в записке спросили меня о счете. Например, если произведения написаны в размере четыре четверти, трель может быть в любом размере. Это зависит от индивидуальности данных колоколов: Большого, Педали и тех, которые в клавиатуре. Такты могут быть самые разнообразные.

Докладчик будто задумался. Но тотчас же затуманившееся лицо прояснилось. Быть может решив не все трудное досказывать, он весело сверкнул взглядом:

— Я должен еще сказать, как подбирают колокола. Берут сперва Большой колокол и к нему остальные — второй Большой, затем два Педальных, а к Педальным, а именно, к их слиянию, подбираются колокола клавиатуры. В клавиатуре колокола совершенно не должны быть расположены ни в какую гамму.

Он перешел к весу колоколов, четко сообщив минимальный и максимальный вес каждого, и, видимо сокращая разбег своих сведений, рассказал о пропорциях диаметров и высот каждой формы колоколов.

— А формы их,— сказал он,— бывают двух видов: одна более высокая и узкая, другая более низкая и широкая, что дает звук в первом случае глуховатый, во втором — открытый и яркий. Звук колокола также зависит от состава сплава. Но и при обеих формах мо-

жет у колокола быть любой из трех тембров: резкий, умеренный и нежный.

Самый низкий звук колокола, по крайней мере я в жизни встречал, — у самого большого колокола на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, гул которого на октаву ниже основного тона его; это, по температуре, ре-бемоль субконтроктавы, звучащий ниже регистра рояля. То же самое и у всех больших колоколов, мною встреченных. Звук такого низкого регистра я уже не воспринимаю как музыкальный.

На вопрос, мне в записке посланный, на каких, в смысле подбора, колоколах я предпочитаю звонить: на подобранных в музыкальную гамму или же никакой гаммы не составляющих, отвечаю: для меня это различие не имеет никакого значения: при звоне я руководствуюсь только характером индивидуальности колокола. А также не имеет для меня ни малейшего значения, если данный колокол с соседом своим дает диссонирующий звук. В колокольной музыке нет никаких диссонансов.

Докладчик сделал паузу. Взглянул на нас.

— Всюду, куда я ходил хлопотать о получении колоколов для полного убоготворения Мароновской колокольни, я поднимал вопрос о том, чтобы отделить колокольню от церкви и устроить ее концертной, только для исполнения звона, — говорил, что совершенно невозможно игре на колоколах быть «при церкви», а мне выполнять роль обыкновенного церковного грубошаблонного звонаря. Я смотрю на это совмещение колокола с церковью как на самое больное мое место; об этом немало было разговора во многих из тридцати пяти церквей, где я звоню. Ясно, что мой звон — это музыка, но ведь для церкви нужен звон не с художественной стороны, а с церковно-звонарской!

Слушатели оживленно переговаривались.

— Из тридцати пяти чаще всего я звоню на четырех колокольнях: на Бережковской набережной, на Кадашевской, близ Большой Ордынки, на Псковской, близ Арбата — на Спасо-Песковской площадке, и на Никитской, при упраздненном Никитском монастыре, обладающих замечательно хорошим подбором колоколов разных характеров звука с приятными тембрами. Довольно редко звонил я на колокольне упраздненного Симонова монастыря.

Передавали еще записки. Он развернул одну из них:

— Я, собственно, о главном — окончил. Но тут меня просят сказать о том, как лучше слушать звон. Лучше всего слушать звон внизу, на определенном расстоянии от колокольни. Место слушания получается в виде кольца, посередине его колоколья.

Он прикрыл ладонью глаза, отнял руку и, словно прислушиваясь:

— В начале звона вы слышите строгие, медленные удары Большого колокола. Но вот удары эти начинают усиливаться и, дойдя до самой предельной точки силы, начинают стихать, сходя на нет; затем, дойдя тоже до определенной точки, эти тихие удары превращаются постепенно в сильные удары, стремясь к точке предела. Потом, совершенно неожиданно, эти строгие удары превратятся в колоссальную, беспредельную тучу музыкальных звуков. Но что за гармония в этом звоне! Таких гармоний мы в нашей музыке не видим никогда — звуки стихают, как бы удаляясь; удалившись, слышны тихо или же даже почти не слышны; возрастают и наконец становятся перед нами высоченной стеной, покрывающей всех нас. Этот процесс продолжается длительно, и вдруг неожиданно во время экстаза звуков они начинают постепенно исчезать. И вот уже совсем нет их, затишье!

«Какое замечательное художественное описание!» — восхищаюсь я.

— Или же бывает так, — продолжал он, все более оживляясь, — вы слышите сперва тихие удары в мелкие колокола в виде трели. Они все учащенные. Затем начинаются голоса колоколов больших размеров, усиливаясь, пока все колокола не сольются в сложный аккорд и не покроются ударом в самый большой колокол. Здесь то и начинается колокольная симфония: звуки разрастаются, разбегаются и вновь собираются, кажутся поражающей бурей. Все это в строжайшем соблюдении ритма, при чередовании неожиданных ритмических фигур и вариаций, на фоне строгих ударов Большого колокола.

Докладчик перелистал свои бумаги, на миг задумался и доверчиво, тепло обратился к слушателям:

— Каждому хорошо быть посвященным — мыслью — в область колокольной музыки! И для этого возможно обойтись без исключительно тонкого звуково-

го восприятия. Но чтобы иметь возможность самому воспроизводить музыку на колоколах — тут уже должен быть абсолютный слух!

Он внимательно поглядел на слушателей.

— Среди музыкантов абсолютный слух далеко не у всех, но встречается. Люди с абсолютным слухом, люди более или менее компетентные в музыкальной области должны питать интерес к колокольной музыке. Искусственным путем такой слух развить невозможно. Я в колоколе различаю 18 и даже более основных тонов, свойственных данному колоколу, и без малейшего труда могу выразить их с помощью нашей нотной системы. Я и сделал это применительно ко всем в Москве и окрестностях выдающимся колоколам. Звучание колокола гораздо более глубокое и густое, чем в струнах — жильных, металлических, чем на духовом инструменте, чем в человеческом голосе. Это оттого, что каждый тон из 1701 в колоколе дает свое, определенное сотрясение воздуха, очень похожее на кружево, я так и зову это — «кружевом».

Не шептались, слушали.

— Что же касается металла, — сказал он, собирая листы своих записей, — из которого сливается колокол, то и знатоку колокольной музыки, и всякому слушателю надо знать, что главным металлом тут является медь, но для известного рода звучания прибавляют к меди, в самый раствор, — золото, серебро, бронзу, чугуны и сталь. Серебро добавляют для более открытого и звонкого звука, для более замкнутого добавляют сталь. Для более резкого — золото, для более нежного — платину. Умеренный же тембр бывает, если нет ни золота, ни платины. Чугун и бронза придают глухой звук, но в глухоте одного и другого есть различие: чугун дает только тишину и спокойствие, а бронза прибавляет еще свое нечто, и у нее эта глухота — волнистая, то есть параллельно с ней следуют очень крупные, рельефные звуковые волны... Все это я недавно сообщил по его просьбе Алексею Максимовичу Горькому. На этом мы, я думаю, закончим! — сказал Котик и улыбнулся неожиданно весело, по-мальчишески.

Аплодисменты раздались густо и громко, и это, видимо, обрадовало его. Его окружили, говорили с ним как с равным. Он улыбался. Мне было пора идти.

Я уходила, думая: «Так вот он какой, знаток коло-

кольный Котик! А я-то представляла его только практиком звона...»

Я все более проникала в мир звонаря.

МОЯ КНИГА

Все следующие дни я продвигала мою работу, стараясь глубже войти в жизнь своего героя. Все время, свободное от служебных занятий и от моей общественной и домашней работы, я делила между свиданиями с Котиком и в часы, когда он играл на различных колокольнях Москвы, ездила с ним слушать его «гармонизации».

По пути я задавала ему вопросы, возникавшие за письменным столом, и, придя домой, часто глубоко в ночь, записывала вновь узнанное. Главы росли. Иногда я читала их кому-нибудь из знакомых и радовалась живому интересу, похвалам, вопросам тех, кто еще не знал его; я звала слушать его игру, знакомила Котика с моими друзьями.

Во скольких домах мы бывали с ним! Мы просили его не пренебрегать роялем. И он подчинялся, хотя и с неохотой. Какие удивительные фортепьянные вечера рождались неожиданно, лаской и похвалами побарывая его нелюбовь к этому инструменту! И сколько мы услышали вдохновенных речей его — в честь колоколов! Так он, нами вызванный к выражению своей музыкальной доктрины, по памяти излагал страницы будущей своей книги — «Музыка — Колокол». И сколько же мы исходили с ним колоколен! По-прежнему выше всего он ставил колокола церкви святого Мэрона, но часто, отыграв там в праздничный день у ранней обедни, он ехал к поздней на другую колокольню, и я приезжала туда послушать, какой замечательный звук у Большого или Малого колокола, об особенностях звуков которых он накануне мне рассказал.

Делиться с ним моими радостями о моих подвигавшихся главах о нем я избегала: он не входил в них душой. Мои записи вряд ли казались ему важным делом — ведь я не была музыкантом! А глубины его психологии, мною отображаемые, просто не звучали ему. И после одной-двух попыток ввести его в круг моих интересов я убедилась в тщетности моих усилий: моло-

же меня, он вел себя как старший, добро, стараясь меня не обидеть, но и глаза и сердце его были от меня далеко. Книга, звучавшая ему, имела автора Оловянишникова, ибо она трактовала о единственно ему нужном — о колоколах. И мне запомнились из нее такие строчки:

«Русские люди еще в глубокой древности обращали внимание на гармоническое сочетание колокольного звона.

Каждый звон имел свое назначение. Звон веселый — красный, когда возвещалась народу какая-либо радость, великий праздник, победа, избавление от опасности...

Из колоколов извлекали более или менее определенную мелодию...

Являлись своеобразные артисты, поражавшие своим искусством и виртуозностью слушателей».

Вот это была «его» книга!

Шли месяцы, превращались в годы. Юлечка и я обходили с Котиком в свободные вечера наши все колокольни, куда он шел играть.

Музыканты по-прежнему спорили о нем, о необходимости — или нет — для него музыкального образования, о его будущем, но тот, о ком шла речь, нисколько не был озабочен: он жил в мире звуков, этот мир был беспределен, в нем он был дома, и ничто его не смущало. Центр мира был — колокольный звон. Он слушал и писал свои «гармонизации», лучшие из которых он посвящал мечте своей молодости — девушке с именем Ми-бемоль, летавшей в хороводе крылатых подруг в пачках, похожих на цветки анемона, и улыбавшейся ему из этого сонма крылатых, который звался — балет.

Все это погружалось в мои тетради с надписью «Звонарь». Ниже — «Повесть». «Посвящается Константину Константиновичу Сараджеву и Алексею Максимовичу Горькому».

Как было не добавить этого имени, когда Горький, человек такого писательского опыта и на поколение меня старше, благословил меня на этот труд, настаивал на непременно написания этой повести, на воссоздании для потомков скромного и радостного своим общением с миром человека! И я дала себе обещание не увидеться с Горьким до тех пор, пока не смогу войти к

нему с дописанной книгой, о которой он сможет сказать свое любимое: «Спето!» И повесть пелась и пелась...

В ней было уже десять печатных листов, подробно, верно и медленно, как майский жук по ветке, ползли страницы одиннадцатого листа. А двенадцатого...

По Москве шли слухи, что слава Котика шагнула далеко за пределы страны, что весть о его игре на колоколах колокольни святого Мэрона за Москвой-рекою достигла других государств, что Америка предложила ему гастрольную поездку, для чего хотят обеспечить знаменитого звонаря-композитора колоколами... Но это походило на сказку, и тут начинались недоумения: как можно снабдить звонаря колоколами по всему ходу его передвижений из города в город? Конечно, это выдумка, чья-то фантазия, праздная сплетня, чепуха, вздор! Другое дело, если в каком-нибудь одном городе за границей ему соберут отовсюду колокола для своего рода колокольного концерта, — это еще возможно! Но может быть, и это — болтовня!..

Время шло, повесть росла, близилась к концу, как мне казалось. И уже из нескольких очень толстых тетрадей восставал живой Котик Сараджев с его манерами, прибаутками, с его веселой готовностью встречаться с людьми, узнавать, входить в их жизнь, быть естественным, как ребенок, и поглощенным делом, как взрослый. Если сам он мало ценил свои вечера рояльной игры, неустанно мечтая о возможности играть на колоколах ежедневно, то это нисколько не мешало слушающим его рояль наслаждаться его «гармонизациями».

Но вот книга о Звонаре, как мне казалось, окончена! Отложила — пусть «отлежится» немного. Затем еще раз перечту и свезу ее наконец Горькому!

Меня останавливает слух: Горький болеет. Болеет... Значит, не до меня ему сейчас! Ну что ж, подождем. И тогда другая весть достигает меня: Котик Сараджев уехал в Америку! Как? Когда же?.. А вот в те недели, что не виделась с ним, когда дописывала книгу о нем! Да, говорят мне, как-то по договору разрешили такую поездку, всё устроили, посадили вместе с колоколами в поезд, проводили — уехал...

Горький давно в России, объездил ее, участвовал в различных литературных объединениях, издавал, издает журнал... Не пойдешь к нему без книги — а книга все-таки не кончена. Подзаголовок ее — «История од-

ной судьбы»: могу ли я считать повесть конченной, не вместив в нее такую важную главу, как «Котик Сараждев в Америке»? Разумеется, я должна ждать! День набит: работа, быт, занятия языками с сыном,— даже нельзя понять, куда же вмещались частые встречи мои с Котиком? Сколько колоколен опробовано с ним «на предмет звука» и сколько ночей над тетрадами повести... И метет и метет метель жизни...

Дни, недели, месяцы — шли, слухов — множество. Но в моем занятом дне — не до них. Непонятность с этой Америкой, отсутствие твердых данных... Все начинает казаться сном.

КОТИК В ГАРВАРДЕ

А вот реальность событий, узнанная мною десятки лет спустя.

В 1930 году к Константину Соломоновичу, отцу Котика, явились два американца с предложением его сыну, «мистеру Сараджеву», поехать в Соединенные Штаты, заключив контракт на год. Они обещали построить ему в Гарварде звонницу, закупив нужные ему колокола в СССР, и он будет давать колокольные концерты. Они слышали его звон, восхищены — ведь это целая симфония на колоколах! Котик согласился на это предложение.

Вот в эти месяцы я не видела Котика — он исчез; как я позднее узнала, он был предельно занят отбором колоколов, закупаемых Америкой для будущей звонницы. Он обходил колокольни, прослушивая звук любимых колоколов, составлял списки закрытых церквей, откуда их надо было снимать, и сосчитывал их вес. Эти списки хранятся и поныне. Какие же это образцы и доказательства его трудолюбия! Как точны его указания, как подробны — нумерация колоколов, их названия, растущее число подборов — и сколько жара и воли положено в эти списки! Подборов, из которых ему в итоге этого труда предстояло выбрать то, что поедет с ним за океан — прогреметь, прозвучать русской славой на чужой земле!

Нелегко было оформить столь необычное путешествие: немало времени заняло получение соответствующих документов. В итоге стараний и хлопот он полу-

чил бумагу на английском языке, где значилось, что «гражданину страны, которая не признана Соединенными Штатами, дается въезд на 12 месяцев как временно-му посетителю в роль эксперта по колоколам».

И Котик Сараджев выезжает в Америку, везя свой звон, который зазвучит на территории Гарвардского университета, куда стекутся толпы чужеземцев — слушать советского звонаря! Но по пути следования «временного посетителя» происходит не совсем обычное происшествие. Провожавший Котика на поезд дал телеграмму, чтобы встретили его в Ленинграде, откуда завтра отойдет пароход. К удивлению встречавшего, Сараджева в поезде не оказалось. Положение было трудное: колокола уезжали, а звонаря при них не было. Более суток искали его и — нашли: преспокойно и радостно сидел он на одной из ленинградских колоколен, уже вторично, видимо, проведя там звон во время утренней службы, восхищаясь звуком еще с поезда услышанных им колоколов, — и, должно быть, забыл про Америку! Так пароход и отошел без него. Но много позже узнала я, что ночевать — должно быть, на второй день — он пришел к знакомому музыканту, Юрию Николаевичу Тюлину, композитору, и у него прожил, дожидаясь следующего парохода, несколько недель.

— Контакта у нас не получилось, — рассказывал Ю. Н. Тюлин, — он то и дело пропадал, уходил, должно быть, осматривать колокольни, звонил, был возбужден предстоявшей поездкой, тем, как там оборудуют ему звонницу, и настоящего общения у нас не получилось... На обратном пути я его не видал.

Передо мною фирменный бланк с немецкими словами: «An Bord» («На борту» — заголовок пароходного почтового бланка). Из Америки он возвращался пароходом через Германию. Наверху страницы немецкое «Dep» (обозначение числа) — и пустая строка, без числа. Рукою Котика, крупно, карандашом:

«1. 23-го числа во вторник я в Гамбурге. Накануне, в понедельник вечером, перед тем как ложиться спать, — уложить сорочку с воротником крахмальным, вместо нее надеть обычную белую сорочку с постоянным некрахмаленным воротником. Переменить галстук.

2. Перед тем как выходить в Гамбурге, надеть кожаную куртку, теплую шапку и ботинки.

3. На железнодорожном вокзале получить билет (по

купону), затем получу (тоже по купону) дорожные деньги, 50 долларов.

4. Уже в Москве первым делом схожу в парикмахерскую; затем снимусь и отправлюсь, после свидания с папой, позвонить по телефону в Центр, кассу Большого театра (из Кисловской квартиры). Узнаю, как обстоят дела. После этого — в театр увидеть Таню (Ми-бемоль). Сговориться, когда можно с нею увидеться. В ближайшую возможность схожу к М. А. Новикову (утром), имея при себе полученные 50 долларов (из Гамбурга) и 42 доллара, постоянно находящиеся при мне (из Кембриджа). На Российской границе обменяю я все эти деньги на русские и Тане (Ми-бемоль) дам 100 р. (50 из них ее матери)».

О возвращении из Америки Котика умиленно рассказывала мне его сестра Тамара спустя десятилетия:

— Был вечер, когда вдруг открылась дверь нашей квартиры и вбежал сияющий Котик! Как он соскучился по своим! Не мог больше не видеть их! Взял — и приехал! Он нес тяжелый чемодан, полный подарков семье.

Отцу он радостно вручил енотовую шапку с ушами — на московские холода. И отец наш долго носил ее, гордился подарком сына...

Котик Сараджев вернулся! Жду, не идет. Забыл обо мне? Не был, говорят, и у Яковлевых. Закружилась голова от успеха? На него не похоже! Никого не вижу из тех, кто видел его. Может, и не вернулся? Да и ездил ли? «Да был ли мальчик? Может, мальчика и не было?» И так как время шло, а Котик не появлялся, а нетерпение мое кончить книгу было вполне реально, я решила: так и окончить, записав о нем только то, что я слышала. Это (решенье) случилось в тот день, когда кто-то, взойдя в мою комнату, «в лицах» мне передал всего одну сценку: разговор москвичей с Котиком об Америке. В полный накал мещанского любопытства к Котикиному путешествию, стали спрашивать его об Америке.

— Нич-чего ин-н-тересного! — отвечал Котик (немного как бы и высокомерно даже). — Только од-д-ни ам-м-ериканцы, и больше нич-чего!..

Лучшей концовки для книги нельзя было и ждать.

Перечитываю рукопись, поправляю, переживаю заново.

Узнаю: Горький живет уже не в Машковом переулке (ныне ул. Чаплыгина), а у Никитских ворот, в доме Рябушинского, напротив церкви, где венчался Пушкин.

Но Горький болеет, к нему нельзя! Огорченье двойное! Болеет опять, значит — болезнь серьезная?! Опоздала я с моим и его «Звонарем»! Что же делать?!

И опять лежит повесть, ждет своего часа. Снова мы с любимой моей Юлечкой стоим у колокольни св. Мэрона, и бежит народ слушать игру на колоколах...

Да, годы прошли! Но знаю, и твердо знаю, что всем собой примет Горький свой выполненный заказ! Что снова сядем мы, он — за столом, я — по другую сторону, и погрузимся в беседу о человеке, возбуждившем столько споров, столько волнения, целую бурю в московских музыкальных кругах, столько поездок музыкантов и просто жадных до красоты слушателей, и тогда, после этой беседы, я пойду в издательство.

Так я рассуждала, так чувствовала.

Но жизнь судила иначе.

Не к здоровью от болезни встал Алексей Максимович, не к беседам и творчеству. Не поднялся вовсе. Болезнь сломила его, и по всему Союзу прошла громовая весть: умер Горький!

Как описать отчаянье мое?

2 сентября 1937 года я была арестована, заключена в лагерь на десять лет и уже более не увидела Котика. В шквале, налетевшем на страну, я не смогла сохранить все готовые к печати рукописи, среди них погибли и книга о Горьком и повесть «Звонарь». Только в памяти живы они!

ИСТОКИ

Шли годы, десятки лет. Мысль о том, что мне не удалось выполнить мой долг перед этим уникальным музыкантом, мучила меня. И вот когда с моей встречи с Котиком Сараджевым прошло почти столетие, я начала новую книгу о нем.

Но я уже не та. Прожитые годы как бы надели на меня очки, иной силы стекла; они показывали тему как бы в изменившемся аспекте: уже не живой облик героя так занимал меня. Я все больше погружалась в музыкальное значение им творимого и на колоколах, и на

страницах книги. Кто знает, может быть, и сбудется то, во что он верил, — рождение новой области музыки... Воскрешение давних времен, когда, как сказал М. Горький, это было народным искусством, голосом народных торжеств? То, что начато было полвека назад, это, может быть, подхватят и продолжат наши потомки? Зазвучат колокольные голоса людей, подобных Котику! Как он верил, что их черед придет и музыкальная Россия встанет впереди всех народов — и мощнее, ярче, чем это было встарь.

Иногда я спрашиваю себя, передаст ли мое перо спустя столетия мир Котика так, как он был воссоздан в первой моей книге?

Совсем новые трудности вставали на моем писательском пути. О, какими легкими казались мне муки написания моего «Звонаря» в те мои молодые годы! Слушай, наблюдай и пиши! И ни о чем не заботься: чего не спросила вчера, спросишь завтра. Вчера он показался мне отвлеченным, рассеянным, — а сегодня веселым и воплощенным. Мой будущий читатель должен был получать его из моих рук таким, каким я получала его из жизни: он менялся, противоречил себе, оспаривал то впечатление, которое оставил о себе третьего дня, а завтра явится совсем неожиданным, обогащая наше понимание его души. Мой герой был — рядом! Как охотно водил меня по переулочкам старой Москвы, где цвели его звуковые Сирины, редкостные московские колокола! А теперь — теперь я была почти совсем одинока среди людей, о нем не знавших, — мало кто уцелел из слышавших его звон, видевших его музыкальные колокольные схемы. Война унесла многих. Другие, состарясь, болели; к иным затруднен доступ: их, моего или почти моего возраста, охраняли родные от посещений...

И все-таки мне удалось многое узнать от его современников, собрать даже то, о чем я не знала в годы работы над первой книгой.

Вот что мне запомнилось из рассказов О. П. Ламм, дочери профессора консерватории. Котик представлялся ей приветливым, но молчаливым, с лицом чаще печальным, с каким-то отсутствующим выражением. Человеком, глубоко погруженным в думу. Держался он скованно, но, здороваясь, всегда улыбался, глаза у него были добрые. В то время рабочая комната его отца была над их квартирой. О. П. Ламм встречала его в

консерватории. Отец его, К. С. Сараджев, очень любил сына, говорил, что у него поразительный слух, но этот дар одновременно является для него источником страдания — он слышит малейшую фальшь. В консерватории шел разговор об особенностях композиторского слуха. П. А. Ламм приводил в пример Шумана, который так же страдал от чрезмерной обостренности слуха. Органист и композитор А. Ф. Гедике проявлял интерес к сочинениям Котика Сараджева, так как его брат Г. Ф. Гедике увлекался колокольным звоном (но только традиционным, церковным, к которому Котик относился отрицательно как и к исполнительству Г. Ф. Гедике).

Простясь с О. П. Ламм, шла и думала:

«Скованный»? Я старалась понять. Да, может быть, оттого, что в консерватории для не слышавших его звона, где все были заняты нотами, партитурами и концертами, он был «не у дел», только «сын дирижера», «какой-то звонарь»... А кто-то рассказал о нем, что среди художников, где у него были друзья, он был оживлен, весел, мил! Как все сложно на свете и в человеке!..

И я начала разыскивать этих людей. Мне запомнилось из рассказа художника А. П. Васильева, что во дворе церкви Мэрона между деревьями была вкопана темно-зеленая скамейка. Здесь любил сидеть М. Ипполитов-Иванов, слушая звон К. К. Сараджева. На колокольне было чисто, все «обустроено», удобно приспособлено для звона. Все — всерьез. Слева — Большой колокол, справа — поменьше, Малый.

Как динамичен был этот человек во время звона! Все возможные «рычаги» тела работали самостоятельно, каждый выполнял «свою партию» в этом сложнейшем, уникальном труде — его звоне. Правой рукой он управлял клавиатурой мелких колоколов, а локтем той же руки он еще ударял по натянутой веревке от дальнего колокола. Левой же управлял несколькими более тяжелыми колоколами.

Еще А. П. Васильев рассказывал, что Котик подпиливал напильником края колоколов, уточняя звучание.

У художника дома, желая изобразить на рояле звучание Большого колокола, его сложный аккорд, состоящий из большого количества тонов, Сараджев просил трех-четырех человек одновременно ударять по указанным им клавишам. Участвовавшие выстраивались перед инструментом — раз, два, три — и ударяли не вместе.

Не точно разом! Как он сердился! Когда же наконец получалась одновременность — в комнате долго стоял колеблющийся, тяжкий звук Большого колокола. А когда участники приходили в восторг, Котик говорил: «Что вы, что вы — это только приблизительно!»

Васильев рассказал случай, как однажды они вместе ехали в трамвае (в то время кондуктор давал вагоновожатому знак отправления звонком, дернув за веревку), и Котик вдруг стал дергать за веревку, по ассоциации с колокольной. После «маленького скандала» — когда он «пришел в себя» — они извинились перед кондуктором. Художнику казалось, что Котик все время пребывает в центре музыкальной звуковой среды, не выключается из нее... Еще рассказал, что видел Котик звук — в цвете. Людей он тоже «видел» и разделял по цвету. Для него А. П. Васильев был ре мажор и оранжевого цвета.

«Однажды он пришел к нам, — рассказывал Васильев. — Начинаящая художница подбирала на пианино какой-то модный в те годы фокстрот, вроде «Джона Грея», другие, дурачась, танцевали. Игравшая тоже хотела танцевать. «Костя, сыграй нам», — попросила она. Он улыбнулся, сел и мгновенно воспроизвел ее «исполнение» фокстрота со всеми его особенностями, как если бы оно записалось у него на магнитофонной пленке. Играл он на всех инструментах».

Недавно я получила письмо от моей гимназической подруги, бывшей певицы Народного дома Н. Ф. Мурзо-Маркеловой: «Моя мать и я, да и многие, звали его «колоколюстом», а не «звонарем», как ты, потому что он был на особом положении среди звонарей».

Он пришел ко мне как настройщик, и, конечно, после него никто и никогда не сравнится с ним в настройке роялей».

Да, моя Нина права. Равного ему настройщика не было. Он входил в дом — с шутками, как входит к детям Дед Мороз: неся им праздничное веселье и радость. Он потирал руки, он исходил прибаутками. Его длинноширокие, карие, восточного типа глаза сверкали. Он смеялся. Вот сейчас рояль — эта «темперированная да к тому же расстроенная дура» — преобразится... Его абсолютный слух геройски готовится к испытанию...

— ...М-можно н-начать? — оживленно говорил он.

И вот еще одно воспоминание о моем герое. Расска-

зала это хормейстер Л. Ф. Уралова-Иванова, в те годы — студентка консерватории.

— Я была старостой и однажды услышала, как товарищи-студенты говорили друг другу: «Сегодня сбегаем с истории...» «Зачем?» — спросила я. «Котик Сараджев звонит в церкви!» — «Ну и что?» — «Так мы же идем слушать его звон! А ты?» — «Зачем я пойду? Я знаю хороший колокольный звон». — «Да это совсем не то, — уговаривали студенты. — Это же не церковный звон! Это надо слышать! Музыканты обязаны это и слышать и знать! Такого в жизни никогда не было!» Мы уже сбегали по лестнице.

Позднее о К. К. Сараджеве мне пришлось услышать от профессора Г. А. Дмитревского, — продолжала она, — но уже не как о мастере колокольного звона, а как о музыканте гениальной одаренности.

Приятно мне было получить письмо старого москвича, писателя Б. А. Тарасова:

«Котика Сараджева я видел, ходил слушать его звон в Кисловский переулок. Он производил удивительное впечатление человека, одержимого идеей — выразить переполнявшие его звуки через колокольную симфонию... Играл он самозабвенно-отрешенно, играл, забывая все и вся. Он был красив, черты мягче, чем у его отца. Поразительно длинные белые пальцы, такие пальцы я видел только у Софроницкого, но у того руки были крупные, а у Котика — обычные».

Перед окончанием моего «Звонаря» я встретила со своим старым другом, писательницей и художницей Мариечкой Гонтой. Оказалось, она слышала звон Котика, была на концерте «известного звонаря Москвы, молодого музыканта Сараджева».

— Незабываемо! Ни с чем не сравнимо! Колоколенка в Староконюшенном переулке, как и церковь, была низкая, с широкими аркадами. На фоне синевы выделялся летучий силуэт человека без шапки, в длинной рубашке, держащего в руках веревочные вожжи ушедших в небо гигантских коней. Пудовые колокольцы неистово гремели, раскалывая небо жарким пламенем праздничного звона.

Большой колокол — как гром; средние — как шум лесов, а самые малые — как громкий щебет птиц. Оживший голос природы! Стихии заговорили! И всем этим многоголосьем правит человек, держащий в руках стру-

ны голосов. Это была музыка сфер! Вселенская, теперь бы сказали — космическая!

— Это — грандиозно! — сказал взволнованно рядом стоящий человек, как я узнала позднее — композитор Мясковский.

А. В. Свешников, позже ректор Московской консерватории, тоже слышал в двадцатые годы звон К. К. Сараджева, в церкви на Сретенке. Вот его отзыв:

«Звон его совершенно не был похож на обычный церковный звон. Уникальный музыкант. Многие русские композиторы пытались имитировать колокольный звон, но Сараджев заставил звучать колокола совершенно необычайным звуком, мягким, гармоничным, создав совершенно новое их звучание».

Зимой 1975/76 года встретила в Доме творчества «Внуково» со старым московским дирижером Л. М. Гинцбургом. Он знал К. К. Сараджева, помнил его игру. Вот что я записала с его слов:

«Сараджев мог один и тот же колокол заставить звучать совершенно по-разному. Если современная теория музыки имеет дело максимум с 24 звуками в октаве, то слух Котика улавливал бесконечное их множество. Соединяя их по собственным законам, он создавал гармонию какого-то нового типа.

Когда он давал концерты, поражало то, что он создавал некую новую форму, конструкцию, очень сильно эмоционально действующую. Иногда звон выражал печаль, иногда это был мирный звон, иногда торжественный... Помню, один раз он начал с очень высоких серебристых звуков, постепенно снижая и доходя до тревожных, предостерегающих — до набата на фоне угрожающего гула и множества колокольных голосов и подголосков. Это было поразительно: не похоже ни на один ранее слышанный колокольный звон! Котик Сараджев был уникален — второго такого нет».

В обыденной жизни Котик был мягок, не повышал голоса, не ссорился, был почти незаметен. Во время игры — преображался. В своей истовости он доходил до высшей степени самозабвения.

Заслуживает внимания высказывание Е. Н. Лебедевой, пианистки, собирательницы народных песен, правнучки Кутузова, написавшей «Историю колоколов и материалы о колокольных звонах», с которой советовался Котик о задуманной им звоннице.

«Константин Сараджев был энтузиастом колокольного звона. Псевдоним «Ре» взят им оттого, что, когда ударяли в большой колокол одного из московских монастырей тоном ре,— с ним делался обморок, если он в это время был вблизи».

Музыкальную одаренность его, в особенности слух, Екатерина Николаевна Лебедева считала гениальными.

Необычайные способности Котика заинтересовали ученых и врачей, его современников.

Психолог Н. А. Бернштейн произвел над ним любопытный эксперимент: он попросил Котика, утверждавшего, что слышит звук данного цвета, надписать на конверте тональность каждой цветной ленты, в него положенной,— что тот и исполнил. Через некоторое время, много спустя, Н. А. Бернштейн попросил Котика повторить эти записи, сославшись на то, что будто бы их потерял. Просьба его была исполнена. Сверив содержимое прежних и новых конвертов, Н. А. Бернштейн убедился в полной идентичности записей.

В каком точно году, мне не удалось узнать, Котик находился на исследовании нервной системы со всеми ее особенностями — слуха и музыкального восприятия окружающего — в клинике. Известный психиатр В. А. Гиляровский читал о нем лекцию студентам. По ходу ее ему понадобилось усыпить испытуемого.

— Для этого,— сказал ему Котик,— надо нажать клавиши рояля (и он назвал ряд нот) в определенной последовательности. А для того чтобы меня разбудить, нажмите...— и он назвал другие ноты. (Увы, их названия не сохранились.) Его указание исполнили. Спал он крепко; сколько — не знаю. Когда он был разбужен названными нотами, Гиляровский спросил:

— Что вам сейчас снилось, Константин Константинович?

— Я сейчас был на даче,— отвечал Котик,— у моего друга Ми-бемоль. И сейчас она со своим отцом едет ко мне сюда.

Лекция, вопросы, ответы, показ способностей Котика продолжались. Когда дело шло к концу, открылась дверь и вошли ожидаемая им Ми-бемоль и ее отец.

— Кто же это? Кто он? — спросили затем Гиляровского о Сараджеве.— Безумец или гений?

Ответ известного психиатра гласил:

«Для нашего (с ударением, в смысле — еще мало

просвещенного.— А. Ц.) времени, может быть, и назовут его «безумцем», но в будущем или все люди будут обладать такими способностями, или — или он и для будущего — гений!»

Я имела дело и с оставшимися от тех лет документами, по каплям выуживала нужные мне сведения для воссоздания погибшей книги. Я начинала работать как реаниматор. Меня интересовали письма Котика. Их сохранилось мало. Но и они позволяют воскресить его неповторимый облик человека и музыканта.

С 1920-го по 1922 год семья Сараджевых жила в Севастополе, где работал отец, К. С. Сараджев. Время было тяжкое. И хотя все члены семьи отдавали часть пайка Котику, но этого было мало молодому организму. Любопытно, что в цитируемом письме сам он не упоминает о голоде и не объясняет, видимо, и себе причину своего физического состояния.

Вот выдержки из писем Котика к его московскому другу, некой Нине Александровне (фамилию установить не удалось), и к В. М. Дешевову, в 20-е годы директору Севастопольской консерватории, в момент отправки письма переведенному в Петроград, в них Сараджев говорит о своей композиторской деятельности.

«Неделю назад я начал ходить на урок теории композиции. Занимаюсь я с музыкантом, его фамилия — Дешевов, молодой, лет 30-ти. Дело идет очень хорошо и быстро вперед, так как я с самого детства без всякой чужой помощи был знаком с музыкой, теорией ее,— тоже по своей «душе», так как она ни от чего независимо музыкальна. Еще дитей я слышал у себя в голове гармонии, из них вытекала мелодия. Но было и так, что только гармония. Было два урока, я узнал много. Но я больше объясняю ему, чем он мне. Результат этот даст мне большую пользу — для того, чтобы писать сочинения. Но очень трудно писать, двоится в глазах, пятилинейная строчка кажется мне десятилинейной; бывает и меньше, так как некоторые строчки сходятся, из-за этого часто пишет Дешевов, а я говорю, что писать. Играть я ужасно утомляюсь — все много труднее, чем композиция.

Двоение строк бывает горизонтальное и вертикальное. При такой слабости немыслимо мне в гору идти, в консерваторию. Он предложил мне ходить ближе — к нему на дом.

На первом уроке я сказал ему, как создалась первая симфония: в 1918 г. ночью, 29 марта и 30-го, я впал в состояние композиции. Вокруг меня была тьма, впереди же — свет, имеющий сильный блеск. Вдали был огромный квадрат, красновато-оранжевого цвета, окружен был он двумя широкими лентами: первая — красного, вторая — черного цвета: эта была шире первой, между нею и тьмой оставалось светлое пространство — такое, что трудно себе его представить. В нем видел я всю стоявшую передо мной симфонию. Вместе с тем я и слышал ее, и она сильно овладела мною.

Будто играл ее оркестр, но казалось, что он не такой, как обыкновенный, большой, но неизмеримо большего масштаба, и память мучает меня до сих пор в состоянии композиции, все больше из первой и второй части. Тогда я ночью не сплю, встаю очень рано. Но где же Таня, Ми-бемоль, где она? Признаться, мне живется все хуже, от слабости двоится в глазах и преследует меня головокружение, даже мутнеет в глазах. Если бы Вы знали, с каким физическим трудом пишу я Вам это письмо, сколько раз оставлял и отдыхал. Я так сильно устал, что...»

На этих словах письмо оборвано.

А вот что писал Котик В. М. Дешевову:

«...Помню, не беспокойся, твою ко мне просьбу написать тебе все остальные космические гармонизации. Я тебе их пришлю по почте. Очень просил бы прислать мне Гармонизацию До, списав ее; и нашу работу, это очень нужно мне для моей книги о Колоколе; для некоторых выводов,— и я буду продолжать работу. Но, может быть, меня в Севастополе скоро не будет. Таня, моя бесценная Таня, моя Ми-бемоль,— как нужно мне ее теперь! Мне нужно еще одиночество. Я должен на время удалиться от общества — для работы.

Ваш, преданный Вам Котик.

Я, конечно, вернусь».

Думаю, и настойчивость мысли этой убедительна, мы стоим перед странными фактами, но они сливаются воедино именно этой мыслью: проследив десятилетие молодых лет моего героя, мы находим у него в записях три женских имени: Лена — Таня — Марина (Голявская, друг юности). Ни одного рассказа о них, ни одного описания их наружности или сравнения их, но у этих

имен неизменно присутствует их музыкальное обозначение: все они Ми-бемоль.

Автор думает: не являлась ли в душе этого своеобразного, одержимого страстью к колоколам музыканта тональность ми-бемоль воплощением женственности как гармоничности? По которой томилось его мужественное, живое сердце? Любопытно, что Лена Ми-бемоль, о которой мне говорила Юлечка (балерина Большого театра, упомянутая у него и до 1920 г., и в 1930), в сознании его затмила имена Тани и Марины...

Познакомилась я и с заявлением Сараджева в Антиквариат — учреждение при Наркомпросе, в чьем ведении находились уникальные предметы, в том числе и колокола, снятые с московских колоколен. Эти колокола, как известно читателю, заинтересовали Котика.

«Я, тов. Сараджев Конст. Конст., убедительнейше прошу обратить внимание на это мое показание:

Являясь работником по художественно-музыкально-научной части, притом композитором и специалистом по колокольно-музыкальной отрасли, я, как знаток всех колоколов, колоколен г. Москвы и ее окрестностей (374 колокольни), считаю своим величайшим долгом обратиться со своей весьма крупной просьбой в области колоколов, имеющей колоссальнейшую художественно-музыкальную ценность и притом же и научную, а именно:

Прошу иметь в виду такие-то 98 колоколов, находящихся на таких-то 20-ти колокольных г. Москвы, перечисленных тут же; каждый из этих колоколов носит название номера, под каким находится он на данной колокольне. Здесь я указываю, на какой колокольне который именно колокол необходим мне. Примите тоже во внимание то, что сущность этих колоколов, в смысле их звучания, является крупнейшею, своеобразно-оригинальнейшею в области музыки, и как в науке о таковой, и как в искусстве, представляя из себя величайшую художественно-музыкально-научную ценность, они никак, ни под каким видом не должны быть подвержены уничтожению!

К. К. Сараджев».

(Следовало приложение: список 20 колоколен, каждая — с числом ее колоколов, с их названиями, общим числом 98.)

В это время Котик был занят вычерчиванием плана

будущей звонницы. Над ним аккуратно, любовно, прилежным его полудетским почерком значилось:

«План Московской Художественно-музыкально-показательной концертной колокольни». Сбоку, в углу: «К. К. Сараджев». За планом следовала «Схема расположения 26-ти колоколов полного музыкального подбора на Художественно-музыкальной концертной колокольне г. Москвы».

На схеме изображены мягкие связи межколокольных языков — в противоположность прежним связям, жестко державшим в одной общей связи несколько колоколов сразу, дававших один и тот же механически вызываемый аккорд. Новое устройство позволяет целым рядом изгибов вызвать удар отдельного, нужного колокола, создать необычный аккорд опытом игры и гибкостью пальцев. Аккорды, постоянно изменяемые свободой этого переустройства, дают неслыханное до того звучание, создавая новую гармонию. Тогда как обычно звонари просто собирали колокольные веревки в один узел, повторяя церковный стандарт звона.

Новизной технологии К. Сараджева частично объясняется несравнимость впечатления от его игры, ее отличие от игры других. Мало того что природное мастерство отличало его от других звонарей, он сумел и саму технологию звона поставить на высшую ступень.

Узнаю: с симпатией к замыслу Котика отнеслись многие известные музыканты, написавшие письмо-ходатайство в Народный комиссариат по просвещению о предоставлении ему необходимых колоколов:

«Государственный Институт музыкальной науки, признавая художественную ценность концертного колокольного звона, воспроизводимого т. Сараджевым, единственным в СССР исполнителем и композитором в этой отрасли музыки, считает, что разрешение ему колокольного звона может быть дано лишь при условии устройства звонницы в одном из мест, не связанных с религиозным культом. Использование гармонии колоколов неоднократно имело место в истории развития музыкальной культуры. В Германии и Франции в 16 и 17 вв. мелодии колоколов сопровождали игру оркестров на широких народных городских празднествах — отнюдь не религиозного, а напротив того, чисто светского характера.

Константин Константинович Сараджев отдал этой

задаче многие годы. За последнее время ему удалось своими скудными средствами улучшить и организовать клавиатуру для колоколов на одной из московских колоколен, но работе его препятствует: во-первых, недостаток нескольких колоколов, а во-вторых, зависимость от религиозной общины, являющейся хозяином колокольни.

Мы обращаемся с ходатайством о предоставлении К. К. Сараджеву необходимых ему колоколов определенного тембра из фонда снятых колоколов или с колоколен закрытых церковных зданий. Работа К. К. Сараджева представляет собою выдающийся интерес, т. к. она связана с писанием теоретического труда, имеющего общемузыкальное значение. Недостаток колоколов препятствует его капитальной экспериментальной показательной работе и останавливает его чрезвычайно интересный специальный труд (см. предшествующие работы Ванды Ландовской и Оловянишникова)...

Под письмом стоят подписи профессоров Московской консерватории и известных музыкантов — Р. Глиэра, Ан. Александрова, Г. Конюса, Н. Гарбузова, Н. Мяковского и других.

ЗАПИСКИ КОТИКА

Сохранились записи К. К. Сараджева о соответствии звука и цвета. Записей этих было много, с перечислением всех звуков октавы. Вот несколько образцов:

ми-мажор — ярко-голубой,
фа-мажор — ярко-желтый,
си-мажор — ярко-фиолетовый,
ми-минор — синий, серовато-темный,
фа-минор — темно-коричневый,
си-минор — темно-красно-оранжевый и т. д.

Этим вопросом занимались еще два выдающихся композитора — Н. А. Римский-Корсаков и А. Н. Скрябин, они также обладали цветовым слухом.

Скрябин в своей последней симфонической поэме «Прометей» мечтал применить согласованную с музыкой смену цветового освещения зала (что сейчас и делается с помощью созданной цвето-звуковой установки. — А. Ц.). Но не только это сближает Сараджева и Скрябина. Видимо, музыкальное мировоззрение Сараджева и Скрябина весьма близко: Скрябин не раз говорил о том, как тесно ему на рояле и как неточна здесь переда-

ча нужного звука. («Я чувствую, что должен здесь быть звук только чуть выше, чем нота, в другой раз чувствую, что звук должен быть лишь чуть-чуть ниже ноты...»)

И вот еще о близости К. К. Сараджева и А. Н. Скрябина: чрезвычайно интересовали Скрябина колокола; он много им отдал внимания и в 1913 году записал торжественный колокольный звон; запись, к сожалению, утеряна. Мне удалось достать через младшего брата Котика — Нила Константиновича Сараджева — нотный лист, надписанный рукою Котика. «Подбор индивидуальности колоколов церкви Марона в «Бабьем городке»:

«Основное сочетание «индивидуальности» Большого колокола церкви Богоявления в Елохове (Москва) (следует нотная запись). Должен сказать, что этот колокол имеет связь с некоторыми произведениями композитора А. Н. Скрябина, но разбираться в этом необходимо весьма тончайше...»

Вслед за этим Котик перечисляет множество произведений Скрябина, в которых он слышит отзвук колокольности. И чрезвычайно интересно, что в перечень вошли названия произведений от самых ранних, скромных, до самых сложных в гармоническом отношении: от 2-й «Мазурки», опуса 3, до поэмы «К пламени», написанной в 1914 году.

Я прочла записи моего звонаря после чьих-то о Котике слов: «Он, видимо, чужой музыки не воспринимал — и не знал?» И я так же думала! Но ведь Котик удивлял — неустанно!

Отношение Котика Сараджева к Скрябину, пристальное изучение им творчества старшего современника, произведшего в те годы целую революцию в музыке, освещает Котика с новой еще стороны: оказалось, что он не был равнодушен к чужому творчеству.

Прослушав единственно уцелевшую «гармонизацию» (на рояле) Котика, записанную им на нотной бумаге в его взрослые годы, композитор В. Серых сказала: «Полная отрешенность от чувственности в музыке. Созерцательность. Какая гармония!

Со Скрябиным если и можно найти сходство, то только внешнее. Нет обостренности, экзальтированности Скрябина. Чистая созерцательная сфера...»

Да, я работала как реаниматор.

Увы, собственные болезни начинали мешать мне: мне шел восемьдесят первый год.

Я вчитывалась в стертые, пожелтевшие листки, и они заражали меня энергией.

Сердце пылало по-новому. И виделась — впереди, в тумане еще, — новая книга о Котике Сараджеве, та, что я написала теперь.

В месяцы рождения новых страниц из когдатошнего «Звонаря» я глухо и трудно спрашивала себя: что же делал Котик в годы нашей долгой разлуки, в те годы, когда уже не было колокольного звона? И долго я не находила ответа. В 1975 году через музыканта Л. Уралову-Иванову я встретила с родными Котика: братом Нилом, женой брата Галиной Борисовной (урожденной Филатовой) и сестрой моего героя Тамарой. От них узнала, что делал Котик, в те поздние годы: он писал свою книгу «Музыка — Колокол».

Увы, семья жила в разных городах, Котик умер в Москве в 1942 году, а родные его жили в Ереване, где их отец, К. С. Сараджев, был назначен директором консерватории. Военные события, переезды... Старания брата и сестры сохранить книгу Котика не увенчались успехом. Книга, попавшая в руки чужих людей, не понимавших ее ценности, не сохранилась, но то, что удалось получить родным, они сберегли: разрозненные листы последней главы книги, отрывочные черновики заключительной главы, носившей название «Мое музыкальное мировоззрение». Эта драгоценность в моих руках, я ею и увенчаю конец моих страниц о нем.

ЭПИЛОГ

Должно быть, в той комнате, в верхнем этаже консерватории, где Котик когда-то показал мне портрет матери, в тихий вечер, один, он писал за столом отца.

«Мое мировоззрение есть мой музыкальный взгляд на абсолютно все, что есть. Но надо прибавить, что я, глубоко признаться, вообще избегаю делиться с кем-либо областью моего мировоззрения — Музыкой, — которой предан я всем своим существом. Я пишу это слово с большой буквы, как имя собственное. Но, может быть, следует сказать еще об одном слове, имеющем громаднейшее значение в Музыке, а именно — «Тон». Это — далеко не то, что он в обычном его значении, тон с маленькой буквы. «Тон» в колокольной музыке не есть просто определенный звук, а как бы живое огненное яд-

ро звука, содержащее в себе безграничную жизненную массу, определенную, основную симфоническую картину, так называемую «Тональную Гармонизацию». Но с кем мне говорить об этом? С кем из тех, кто — горько сказать — не слышит тех звучаний, которые я слышу? И это было долго глубочайшей моей тайной. Я сознаю и чувствую, что мировоззрение звуковое мое необходимо для музыкальной науки будущего. Но, к великому моему горю, я не вижу, чтобы кто-нибудь мог понять меня. Непонимание это основано на моем чрезвычайном музыкальном слухе, который я могу доказать только игрой на колоколах, что я и делаю, и люди идут, и слушают, и восхищаются — так она не похожа на обычный церковный звон. Но посвятить их в теорию моей музыки я не вижу возможности, потому что не встречал такого, как мой, слуха. Должно быть, только в Будущем (я пишу это слово тоже с большой буквы) у людей будет такой слух, как мой? А в непонимании меня окружающими дело, видимо, в том, что слишком рано явился человек такой, как я. Хотя, с другой стороны, на мой взгляд, никогда не бывает рано в области науки, а также искусства двигать их вперед! И не надо сожалеть о том, если наука или искусство, двигаясь вперед, принуждают нас отбросить в сторону все наши привычки, удобства. Надо подчиниться новому, Будущему, и идти по совершенно иному в Музыке, Музыке — Колоколе, открытому мною пути. Но с глубокой, тяжелой грустью мне видно, что Музыка не приобретет всего этого в настоящее время, достигнет его только в Будущем, и даже в далеком Будущем. Да, колокол представляет собой нечто совершенно новое и малопонятное. Если и найдутся лица, серьезно, искренне интересующиеся колокольной музыкой и относящиеся к ней, как к искусству, — то ведь оно еще почти не открыто!

Я же, могу смело сказать, первый воспринял это искусство. До меня абсолютно никто другой не отдал все свои усилия и внимание колоколу, не воспринял его так, его живую, мощную, величественную красоту.

Музыка его как бесконечно прекрасна, так и неизменно сложна, в высшей степени трудна, когда пытаешься ее объяснить. Но все изучение того, что входит сюда, в мое колокольное дело, все, что касается колокола, почему-то далось мне чрезвычайно легко, без малейшего затруднения. Записи мои ничего общего не имеют с нот-

ной системой, хотя у меня и имеется запись колокольных звучаний индивидуальностей колоколов по пятилинейной нотной системе. Я написал их для воспроизведения на клавиатуре фортепиано...

...Имеется у меня еще другой список индивидуальностей колоколов, но только Больших. Всю сложность этих звуков и звуковых сочетаний я отчетливо слышу и различаю все их свойства. То, что называю чертеж «звукового дерева», — это изображение музыкального дерева со всеми его суками и ветвями, которые в свою очередь подразделяются. Этот чертеж одновременно является и нотами. Такого тончайшего различия в звуках нот нет ни на одном музыкальном инструменте — только на колоколах.

Возьмем фортепиано. Каждой клавише фортепиано соответствует известной высоты определенная нота. На клавишах по нотам мы и воспроизводим музыкальные произведения. Так же на других инструментах: смычковых, духовых, ударных. В колоколе перед нами имеется ряд музыкальных звуковых атмосфер, самых разнообразных, сложнейшей системы структур. Вполне логично назвать эту звуковую атмосферу «звуковым деревом». «Звуковое дерево» каждого колокола пишется в виде корня, ствола и кроны.

Колокольная музыка основана на всякого рода, вида, характера созвучиях различного тембра и звукового сплетения. Вызывая их, сила удара играет огромную роль. Если ударить не в один колокол, а сразу в два или в несколько, то он или они будут при своем звучании издавать еще иное звучание, чего не будет, если в них ударить в отдельности. И при каждом колоколе это «иное» издаваемое созвучие будет другое и не будет совпадением в силе удара, то есть не будет одинаковой степени силы ни в данном, ни в совместном колоколе. Если данный колокол не будет изменять степень силы удара, а совместный с ним будет изменять, а также если совместных — несколько, то тут то же самое произойдет, а именно — при каждом ударе данный колокол будет изменять свое добавочное звучание. Могу еще дать пример: всякая совместность колоколов во время удара издает «такое-то» созвучие «индивидуальностей», каждая из которых образует на себе «иное» созвучие. И все эти «индивидуальности» со своими «иными» созвучиями, соединяясь в одно целое, создают свою зву-

ковую атмосферу «такой-то» «индивидуальности». Если эти же колокола данной совместности, кроме одного, дадут удары равной силы, а этот один даст удар не тот, но другой — т. е. изменит силу удара, то совокупность звуков так называемых «добавочных» индивидуальностей создает уже другую атмосферу. Малейшее изменение силы удара уже даст другой облик атмосфере совокупности колокольных звуков. Все они, имеющие каждая свой основной тон (следующие пять колоколов: «Успенский», самый большой колокол на колокольне Ивана Великого в Кремле, первый на храме Спасителя, первый на колокольне Троице-Сергиевской лавры, Симонова монастыря и Саввы Звенигородского) — записаны у меня в виде «звукового дерева».

С самого раннего детства я слишком сильно, остро воспринимал музыкальные произведения, сочетания тонов, порядки последовательностей этих сочетаний и гармонии. Я различал в природе значительно, несравненно больше звучаний, чем другие: как море сравнительно с несколькими каплями. Много больше, чем абсолютный слух слышит в обычной музыке! Предо мной, окружая меня, стояла колоссальнейшая масса тонов, поражающая меня своею величием, и масса эта была центр звукового огненного ядра, выпускающего из себя во все стороны лучи звуков. Все это, иными словами, было как бы корень, имеющий над собой нечто вроде одноствольного древа, с пышной, широкой кроной, которая рождала из себя вновь и вновь массу звучания в разрастающемся порядке. И сила этих звучаний в их сложнейших сочетаниях не сравнима ни в какой мере ни с одним из инструментов — только колокол в своей звуковой атмосфере может выразить хотя бы часть величия и мощи, которая будет доступна человеческому слуху в Будущем. Будет! Я в этом совершенно уверен. Только в нашем веке я одинок, потому что я слишком рано родился! Но там, в этом Далекое Будущее, которого я, может быть, не увижу, у меня много, подобных мне, друзей...»

На этом кончалась рукопись. Но я встала от нее полная сил: и все, что я написала после ее прочтения — ею питалось. Вдохновеньем ее, дыханьем!..

На ловца и зверь бежит. В моих руках новая, небольшая, плотная книжка (о, и по содержанию для меня — плотная!): «Загадки звучащего металла»

Ю. В. Пухначева, издательство «Наука», 1974 год. Какая радость! Раскрываю — и погружаюсь в нее, как в прохладную реку в жаркий полуденный час: книга о колокольном звоне! История русских колоколов, их различные формы, разница техники колокольного звона в России и в других странах...

«Музыка выразит то, о чем не расскажет слово. А то, что не передаст своей песней ни один музыкальный инструмент, — донесет до сердца каждого колокольный звон».

Котик Сараджев не ошибся — уже настает то будущее, о котором он говорил тому назад полвека! Научное издательство издало эту книгу, потомки, внуки Котика, будут ее читать.

В магазине «Грампластинка» покупатели слушают «Ростовские звоны». Есть и другая пластинка — с колокольным звоном в Литве: «Колокола Каунасского музея». И очередь стоит к кассе! Значит, не случайно я в 1975 году села за письменный стол. Пришло время!

А когда я кончила писать все, что мне удалось вспомнить и собрать, я показала рукопись наивысшему авторитету в музыкальном мире — Д. Д. Шостаковичу. И вот его ответ:

«23 мая 1975 г. Репино

Многоуважаемая Анастасия Ивановна!

Вашу повесть я прочитал с большим интересом. Все что касается музыки, написано вполне убедительно и не вызвало у меня никаких возражений.

С лучшими пожеланиями

Д. Шостакович».

Смолкла жизнь звонаря, написавшего нам страницы о своем музыкальном мировоззрении. Смолк его колокольный звон. Но до сих пор еще живет молва: «Когда звонил Котик Сараджев, в ближайших домах открывались окна, люди бросали все и слушали, замороженные, — так он играл...»

**МОЯ
СИБИРЬ**

ГЛАВА I. ПУТЬ И ПЕРВЫЕ ДНИ НА МЕСТЕ

Наш этап из Новосибирской тюрьмы был в день мокрый, июльский. У грузовиков опущен задний борт, но усталые люди не хотят ждать. Мужчины тащат вещи, лезут, становясь на колеса, огромные, серые, скользкие улитки, полувросшие в мокрую землю. Мы едем в ссылку «навечно».

Есть среди нас слабые, неумелые. Всем им, успевая туда и сюда, подает помощь худенькая, с проседью женщина: быстро и ловко втаскивает неловкую за руку, от другой принимает чемодан, тук, успевая и пошутить, и ободрить, усадить, попросить подвинуться,— словно всю жизнь только то и делала. Что удивительно — в этот пасмурный час ее слушались. В каком-то быстром движении она повернула лицо — меня обдала синева ее глаз. В худобе лица они огромны и так добры, так улыбчивы, что меня осияло покоем: чудесна жизнь, если есть такие люди! Какая душевная воспитанность, какое самообладание!

Машины грузно, медленно движутся по дороге. Застрав, останавливаются. Женщин просят сойти; мужчины, все больше пожилые, дружно раскачивают кузов. Садимся. Путь продолжается. Идет дождь. Закутанные кто во что, радуемся, что не осень — не заболеем! Мысленно мы уже там, на месте назначения, в сибирском селе.

Грузовик, где сижу, везет бочку с бензином, она тяжело подрагивает на ухабах, рискуя краем попасть по ногам. Подобрав их, сунув вбок, напряженная, как струна, сижу на своем узле; пытаюсь увидеть окрестность — тщетно: дождевая завеса скрывает все.

Ехали уже третий день, когда в сгустившихся тучах — молния! Загрохотал гром. Дождя нет. Молния! Моментальным снимком! Взрезав мглу, ослепительно даря пейзаж. Мгла. Грохот! Гора грохота! Гроза в сухом небе — зловеща.

«А если молния ударит в бочку?» — молнией мысль.

Молния! Обвал грохота... Громовые удары рассыпают лавины грохотов. Молния! Гром. Град. Струи дождя. С неба — светлыми каплями — успокоение...

Спасенный бензин тяжело плещется в бочке. Привстав, усилием ступней сдвинув узел, блаженно сую ноги в другой бок, разогнув колени. Дождь стих. Привал.

Не в ту ли ночь мы заночевали в деревне? Без света и без еды — все доелось. Черную мокрую ночь трудно забыть. Но — прошла!

А наутро мир заново молод. Лезем в грузовики, как в родные дома. В тучах прорези синевы. Треть пути осталась? Еще как доедем!

— Знаете, как моя сестра написала, Марина? «Больше балласту — краше осанка!»

Отзыв соседки:

— Прекрасно сказано! — Она снова стоит, подавая руку влезавшим.

В разрезы туч — лучи, и мы видим дорогу и короткую вереницу машин. Сибирская равнина расстелилась во все стороны, и мы отрезаем и отрезаем пространство, отбрасывая его назад. Четвертый день... Пятый день. Просят сойти.

Голос:

— Граждане! Остается двадцать километров. Почва болотиста. Ехать дальше нельзя. Вещи повезут. Кто в сапогах? Слабых повезут волами. Волы пройдут! Они вездеходы!

Я вызвалась идти. Меня не приняли: неподходящая обувь. Возраст был еще сходный: за пятьдесят

Сажу с двумя старухами и стариком на длинных досках, прилаженных на поперечинах у колес (повозок несколько).

Волы, тяжело шлепая по глубокой грязи, пошли по вдруг далеко осветившейся равнине. Изредка появляются избы. Провиант, на дорогу выданный, рассчитанный дня на три пути, затянувшегося почти на пять, давно съеден, остается в хлебных мешочках несколько пригоршней крошек, осыпавшихся с крутого сибирского хлеба. Едим, понемногу насыпая в ладонь. Как вкусны!.. Но пить хочется! Решаем остановиться у первой избы по дороге — просить воды.

— Всем идти не надо, — говорит старик, — я пойду и

кто хочет из вас; двое останутся; мы принесем, давайте нам кружки!

Идти вызвалась я. Подошли к маленькой бедной избушке. Навстречу — женщина в черном платке, глаза заплаканные.

— Дала б молочка, кабы было... Нету! А киселем овсяным угощу — что твой хлеб! По сыночку моему сороковой день справляю. — И нам — глиняную миску застывшего, почти твердого серого киселя, кислого и прохладного. Упоителен — никогда ничего вкуснее! На ладони по куску треугольному (как, бывало, торт); содержимое миски крест-накрест, и жуем, и сосем, и пьем несравненное угощение и питание — в память умершего сына.

И снова шагают волы, и мы подрагиваем от ритма их шага, как та бочка с бензином, — она уже прошлое наше, жизнь шагает вперед медленно, как волы, но мы духом не падаем. Мы — живы, и все впереди!

Вечером мы соединились со своими во дворе большого рубленого дома (школы). За поздним часом никто не поднял вопроса о еде — где взять ее сейчас? Только спать...

В просторных классах на соломе, сняв с себя полу-просохшее, укутавшись кто чем мог, уснули сразу, как засыпают дети. Даже храп не мешал в ту ночь! Наутро — школьный двор, богатый высокими соснами. Зрелище невиданное: сосны, стоящие в воде. Местность болотистая? Ежегодно речка — приток Оби — под напором ее, разлившейся, заливает весь городок. А мы в ботинках и туфлях. И те, чьи близкие могли помочь, послали просьбу о денежной или вещевой помощи. Без сапог тут — никак. Я послала три телеграммы: сыну, родственнице и Борису Пастернаку, прося денег на сапоги. Получила триста рублей от родственницы и пятьсот¹ от Бориса. Сына, как я позднее узнала, через несколько дней после моего отъезда перевели на Урал, на новое место, и я надолго лишилась его адреса.

В пути столкнулась с пожилой женщиной. Почти сдружились — так бывает в трудные часы. Тема нашей

¹ Дореформенных.

беседы была — томление ее среди людей другого душевного толка (ее соседок). «У них нет, как говорят по-немецки, Feintühlung» (тонкости чувств)!» — сказала она мне. Потом мы встречались редко, занятые каждая своим.

Село Пихтовка (ставшее потом районным центром) окруженное кедрачом, пересекается узенькой речкой Широкие сибирские улицы меж домов зажиточного типа.

Женщина, помогавшая нам в пути, Антонина Константиновна Топорнина, в прошлом — заведующая большой библиотекой, имевшая под началом не один десяток служащих. Тоня, моя новая подруга.

Что удивило нас — на плетне ночуют новые сапоги, на кол, точно на гвоздь в избе, вешают до утра ведро, алюминиевое. Как это так? Узнаем: глушь, некому снять. Замки? От кого? (Сказочный рай, что ли?)

— Скот загоняем в стайки только на зиму. От весны по позднюю осень скот у нас ходит на воле. Не было случая воровства. Сперва в колхозах работали, а потом домики себе наработали, новые улицы выстроились, все у каждого есть, чего воровать? Все друг друга знают, полжизни вместе прожили, чего это я пойду воровать? Чудно... — сказал нам один из тут живущих.

Мы с Тоней поселились в единственном нам предложенном жилью — в спешке устройства приехавших — пятиметровом чуланчике в крестьянской избе. Ход из сеней. Печи не было.

— Печь? Да я вам такую сложу, кирпичную... — Веселый хозяин подмигнул нам, как сообщникам. — Сто рублей, по пятьдесят с души! Поселяйтесь!

Выбора не было. Поселились. Только позже поняли мы легкомыслие хозяина нашего: печь он сложил. Но — без поворотов... Тепло выдувало первым порывом ветра.

Обрадовались подполью, спустили туда купленные мешки картофеля. Увы, не знали мы ничего о завалинках. С первыми морозами застучали картошки наши — как камешки! Ели их, сладимые, скользкие, мягкие.. мечтая о будущих участках, где разведем огород, — местное начальство предлагало по семьдесят пять рублей за двенадцать соток (семь пятьдесят). А пока не одни картошки, мы и сами начали замерзать — ночью а днем — задыхались, толкая дверь нараспашку.

Вскоре Тоня нашла работу. На кирпичном заводе.

Работу! То, без чего не могла она жить. И что сняло тревогу стать, хоть на время, на хлебником старшей сестры Капы, имевшей домик в Ташкенте. Не Капа будет слать помощь, а Тоня будет собирать ей посылочки! «Что?! Да хоть орехи кедровые!..»

Худенькое лицо бодро поднято. Синий огонь глаз. Тонкий, чуть длинный нос над улыбчивым умным ртом. Сколько отваги в ней, пожилой, и как скрывает она усталость лютую, приходя с далекой и трудной работы... Настоящая русская женщина!

Жизнь шла. Пока Тоня на работе, я топлю печь, варю еду, занимаюсь с хозяйским сыном Васей, школьником лет десяти. Добрый был мальчик! Очень любил животных. Но вот школу как-то не полюбил. Мать, худенькая, в работе не покладавшая рук, уже стареющая (кроме Васи вырастившая еще двух, взрослых уже, дочерей), качала головой, глядя на сына: и муж-то работник не ахти уж какой, и коль уж второй такой будет... За уроки Васе очень мне была благодарна, наливала мне молока.

Вася, глядя на меня бледноресничными, лукавыми, застенчивыми глазами, говорил просительно:

— Вы мне, бабушка, не объясняйте задачку, не надо! Вы говорите, что мне *писать*! Вы ведь знаете, а я-то ведь не знаю... (последние слова говорил без лукавства, от чистого сердца).

Отца же его мы поняли только, когда, празднуя свадьбу старшей своей дочки, выходявшей за почтового работника, хворого, «но все-таки ведь мужика!» — плясал! Как плясал! Сколько плясал! А ведь лет-то много — за полсотни! Часами, без малейшей усталости! Он плясал, как резиновый мяч! Переплясал всех, кто пытался соперничать! Что — соперник! Он дорвался до пляски! Он праздновал! «Дочь выдаю!» Едва пригубив стакан. Что вино! Он был счастлив! В доме наконец пляска!..

Мне работы не находилось: возраст и болезнь глаз, ни жары, ни наклона, ни тяжестей. Слали помощь, как только узнали мой адрес, сын с невесткой. Купленные на 293 рубля сапоги оказались отличные, яловые, ходила с сухими ногами. Тонины, увы протекали.

ГЛАВА 2. ЗИМА. ПЕС

Помню день.

Как вчера и завтра, на холме у стройки сую стружки в мешок. Когда попадаются щепки, обрубки — счастливый день. Нынче стружки занесло бураном, и откапывать их холодно так, что пальцы в перчатках, заочев, еле ворочаются. Уйти — жаль, куски коры меж сырых дров так помогают жить!

Хороводы стружек, слегка слипшихся от морозного снега, почти звенят, как металлические венки на могилах.

Вдруг, меня завидя, копающуюся в древесном мусоре, мимо бегущий пес, изменив курс, понурой замерзшей побужкой стал приближаться ко мне. Черный с желтым, большой, останавливается, замирает. Замираю и я. Боимся друг друга. Какой худой... Улыбаюсь, протягивая руку, зову. Не верит: исповедует превыше всего — осторожность. Какие там ласка и дружба, когда такой холод, такие ребра! Я отвожу глаза, стою. Он начинает красться к разрытому мной холмику стружек.

Почти рядом. Вижу шерсть в инее, впалые щеки, седые усы, нескончаемо несчастное выражение этих щек, обмерзшей морды, вздрагивающих бровей над глазами, почти человеческими от тоски. Хочется псу есть!

Поборов страх, роется в стружках, мне подражая: раз человек роется, значит, есть в чем рыться!

Нюхает еще и еще, огорчается на обманутые надежды, на тщетную трату сил.

Нечего псу дать! Хоть бы корку хлеба с собой захватила, дома же было немного хлеба...

И не взглянет! Уйдет от меня голодный, и навек поташу в памяти эту заиндедевшую горькую морду

Но он поднял нос и черную с желтым лапу: лапа дрожала. И подслеповато, пристально, тупо посмотрел мне в глаза. Разве этот взгляд позабудешь?

«Что же ты роешься тут? Дразнишь? В холодном, мертвом, постылом... Эх, а еще — человек!»

И мне нечего тебе, пес, ответить. Донабрав мешок, взгрузив его на плечи, я как-нибудь его дотащу домой, у меня есть кусок хлеба, суп и картошка. Я растоплю стружками печь, и все мое оправдание — что буду

тебя помнить, которого не смогла туда привести, потому что ты никому не веришь и за мной не пойдешь.

Ухо пса дрогнуло, подслеповатые глаза отвернулись — и пошел назад, к тропинке, коей бежал, и прочь по тропинке, понурой промерзшей побежкой, продолжал прерванный путь.

Когда настала зима, то в мороз на мешке сена, лежавшем на полу между нашими топчанами, было до 5° мороза, а под потолком у печной трубы 25 и больше — тепла, даже до 30. Живем в валенках. Дверь в ответ на вечерний стук Тонин я отбиваю, как молотком, поленом. В другие вечера, сырые, дверь разбухает — прикручиваю ее с трудом веревкой к крюку, а широкую щель, оставшуюся, напихиваю половыми тряпками, сеном.

Ели мороженую картошку, испускавшую противный сок. Как мечтали мы о своем огороде! О своей, вкусной и всласть, картошке!

Но *решение* изменить жизнь пришло после того, когда в зимний буран хозяин распахнул к нам дверь: «Антонина! Анастасия! Придется вам куда-нито перебраться! Надумал я дом продавать!»

Столько торжества было в его заявлении, что не поднялись наши голоса спорить, негодовать. Он сиял! И что было бы дальше, если бы вдруг не спасла нас хозяйка: тихая, кроткая, она вдруг воспротивилась и не дала согласия на продажу! Что говорилось и творилось в их избе — не узнали мы. Но когда наутро зашел хозяин к нам в час замерзания, то с таким же рвением, как было собрался дом продавать, сказал:

— Ага, чую, холодно! И будет вам тепло, не обидитесь! Завалю я вас сеном снаружи! Ага! Стены вам из сена построю! Жердями привалю — и свяжу! И будет вам, Антонине, Анастасии, жарко!

И — завалил, привалил, связал. Но с этого вечера началась моя мука — опасность пожара: Тоня, придя с работы, усталая, поев, ложилась и брала книгу: «Не могу без чтения!» Но тепло, после холода пешего пути — размаривало, и, почитав, она засыпала, не в силах потушить лампу. Я проснулась в критический миг: наклонившееся ламповое стекло по наклону чернело длинным треугольником сажи, огонь зловеще ми-

гал. Рука Тони, спящей, роняющей книгу, застыла сонно в верхке от наклонившегося лампового стекла. Еще миг... Вскочив, потушив лампу, я отставляла ее, обжигаясь,— жестяную, горячую деревянную лампочку. И, боюсь, разбудила, жестокая, бедную Тоню, стараясь ей, сонной, внушить страх пожара: «Вокруг нас — стог сена! Мы запылаем вмиг! Дом сгорит!» Она понимала, но на другой день, ложась, брала книгу, уверяла: «Я не засну». И иногда засыпала! И вскоре, поняв, что не читать она, после дня работы, не может, что книга для Тони — страсть, я смирилась, хоть и не смиренно. И выдумала себе — на опасные эти часы — дело: сторожа лампу, я не давала себе заснуть, устно переводя на русский и заучивая свою поэму, английскую, написанную двенадцать лет до этого на Дальнем Востоке, («Близнецы» — о Джозефе Конраде и Александре Грине). Переводила медленно и упорно, увлеклась,— обе части! Когда я ее кончила, настала весна и хозяин убрал сено, а у меня был готов перевод. Я повторяла его лучшие строфы. И как наш хозяин, на свадьбе пляша, переплясал всех, так, переведя свою английскую поэму на русский, я продолжила на русском — новое и теперь кончала переводить стихом новый конец с русского на английский.

ГЛАВА 3. СПУТНИКИ

...О жизни Тони — что я знала теперь? Их было четыре сестры в дружной, хорошей семье; все как сколок с одного образца красоты, синеглазые, с правильными чертами, друг к другу очень привязанные.

Когда Тоне было пять лет, семью постигло несчастье: в пожаре, охватившем волжский городок Сызрань, сгорел отец. Они жили близ женского монастыря. В панике, охватившей жителей, монашенки закрыли ворота, всегда открытые. Пламя уже, видимо, бушевало, когда, кто-то видел, отец попытался перелезть через них. Его узнали только по часам. Матери и старших дочерей не было дома. Тоню вывел из огня седенький старичок, свел ее за руку к Волге, поставил у моста и сказал ласково:

— Стой здесь, не уходи никуда. За тобой придет мама!

И как-то необъяснимо исчез. Мать пришла, увела дочку. Рассказ о седеньком старичке, сказочном, жил до сих пор в семье.

Старшая дочь была Капа. Вторая за нею, Павла, умерла взрослой внезапно, оставив маленького сына. Его воспитала Капа, бывшая замужем за композитором, детей не имевшая. Сестра Люда, очень больная, живет с семьей в Ташкенте.

О муже своем Тоня говорить не любила. Она много из-за него страдала, была горечь в ее молчании о нем.

Осенью труден был путь на кирпичный завод по болотистой местности. Тонино испытание теперь было легче: небо послало жаркое лето, грязь дорог высыхала. Тоня шла кедрачом, местами пополам с ельником, и, стихийно любя природу, радовалась.

И была еще радость — общение с людьми, неожиданные знакомства, от которых — взаимным сочувствием — согревалась душа.

С нами приехавший старик инженер Яков Иванович, бодрый и бравый, полный, высокий, с чем-то детским в доброжелательности к каждому, не очень-то разобравшись в дорожном спутнике, тоже инженере, купил с ним пополам большую, очень старую избу, вскоре потребовавшую ремонта. Денег не было. Начались споры. Прямой и в этой прямоте вспыльчивый, Яков Иванович не стерпел несправедливых упреков и недобросовестных материальных счетов, выразил это пайщику, произошла ссора, дом продали за гроши — и расстались. Вместо веселого приюта собственных стен, куда он даже пригласил нас с Тоней в гости, радостно угостил немислимым овощным ужином, он теперь жил на квартире и по-детски, обижаемый суровой сибирской хозяйкой, не дававшей старику ступить, жаловался нам на нее. Мы как могли утешали.

В сельской амбулатории устроилась лаборанткой милейшая, еще молодая, женщина, ленинградка, Дора Исаковна Тимофеева. Она никогда не рассказывала о себе, как делает большинство, но степень ее стремления помочь каждому была редкая. Всегда внимательная, в работе усердная, ровная в обращении, она исполняла просьбы пациентов с такой веселой добротой и терпением, точно дала себе слово: не обидеть, не отказать. Не поясняя затруднительности иных просьб, она находила возможность их исполнить с простотой

грациозной, деловой и естественной. Знала ли она, что о ней говорят, что она во время ленинградской блокады (а кто говорил, на фронте) потеряла всю свою семью — детей и мужа? Был ли этот слух правдой?

Открытое большое лобовое лицо этой невысокой мужественной женщины как-то не позволяло вопроса. Отстранила ли бы она его, вскрыв незнакомую людям в ней гордость, или это была неспособность ее существа участвовать в бесплодной к ней жалости? Мне думается, этой ошибки не сделал никто.

Была среди нас пожилая полька, актриса, следы красоты которой еще пылали в тонкости очертаний лица, словно со старинного портрета сошедшего, в великолепных глазах свинцового цвета, с тяжелыми веками; был тонок очерк ноздрей, и был пушок над губой. Хотелось бы знать ее роли... Но тяжелые годы, переживаемые страной, как-то замыкали уста. О ролях ли было теперь ей, пожилой, с уже надорванным здоровьем, в глуши думать, когда дело шло о любой работе для пропитания? Мы молча улыбались друг другу.

Была в селе высокая, полная, некрасивая старуха, чем и как до того жившая, не ясно. В розовом ее лице, некоторой слащавости обращения и в охотном рассказывании об обеспеченных детстве и юности, в блистательных среди ее родичей громких имен было что-то не совсем достоверное, что заставляло задумываться. Однако двух девушек, из которых одна была певицей, другая — студентка Светлана, болезненного вида, прозрачной и запоминающейся красоты, вышеописанная старуха (звали ее Таисия Еремеевна), взяв под свои материнские крылья, вместе с ними купила большую, обстоятельную избу, вела хозяйство, вкусно кормила своих названных работавших дочек. Певица устроилась в местном клубе, Светлана работала в артели, усердно и через силу — надо было где-то там, в огромном нашем Союзе, поддерживать мать, от нее событиями оторванную. Будто вчера — а прошло много больше четверти века — вижу худенькое остроносое личико, правильные черты, ясные, яркие голубые глаза — и улыбку.

И было две очень пожилых сестры, по фамилии известного немецкого сказочника, уютные и жизнеспособные.

собные, деятельные с утра и до ночи, не доступные ни жалобам, ни мечтам, женщины-пчелы. Одолев покупку скромного домика, они уже возделали огород, превосходно, умело. Все навыки предков отражались в их дне. Не пропадали ни один час. Справляясь с трудом, получив сытость, они угощали зашедшего аккуратно и приветливо. Была вокруг них отменная чистота. Не в том году, а много позднее, когда жизнь где-то там наставляла уже «приличная», получив в осенней посылке несколько апельсинов, сестры, поблагодарив щедрых племяшей, попросили их более не повторять этого; апельсины — съесть, а им слать апельсиновую кожуру: ее, высушив, истолкли в не без труда приобретенной ступке и понесли на рынок в бумажных пакетиках — для запаха сыпать в тесто. Люди, в годы войны нацело забывшие запахи теста, расхватывали волшебные пакетики, пахнувшие елкой и детством, а волшебные старушки вернулись домой с деньгами. О возможности продолжать такое они и просили родных.

...Неужели было время, когда в селе не было этих старушек-сестер? О, как же! Таких друг к другу заботливых, таких дружных — точно прочтенных в хрестоматии...

Сергей Тихонович Юров! Кто не знает его в селе? Пожилой актер. О чем бы ни говорил он — непременно вернется к театру, ибо любит его всем существом. Когда-то красивый, воспитанный, он подчеркнуто, убежденно настаивает на соблюдении этикета, он ему свойствен, как воздух — дыханию. Не найдя себе подходящего занятия в селе — люди его профессии уже заняли места в клубе, — он пошел работать возчиком. Трудно ли ему было привыкнуть к коню и телеге, к коню и саням — он о том не ведет речь. После работы он заходит в столовую, съедает то, что ему по средствам, и, переодевшись, идет в гости. Друзей у него — все! Чуть уже начал горбиться Юров, и волос редеет, но все так же оживлен он в беседе, так же изыскан в суждениях. И когда он входит, за ним — партер и кулисы, зрители, аплодисменты — и сибирская деревня тает как сон...

По рекомендации Якова Ивановича у меня, как опытного преподавателя английского языка, начал брать уроки его сожитель. Уговорились о цене — 5 рублей. Мне был малосимпатичен мой ученик — холеный

самодовольный человек с седеющей раздвоенной бородкой,— но возможность заработать (на хлеб!) была радостна. Я ходила к нему (это было еще в пору сожителства его с Яковом Ивановичем), путь был недалек, урок приходилось вести не по верному методу, потому что ученик мой уже занимался ранее, в мою дисциплину приготовления уроков не включался, «рассуждал», спорил, заданий не выполнял. Вскоре я не застала его дома, затем он сказал мне, что ему некогда (не работая!), а долг свой (кажется, за всего три двухчасовых урока) обещал уплатить вскоре. Ученик-инженер не уплатил мне денег, хотя элегантно кланялся при встрече. Его теперь нет на свете, и я бы не писала об этом, не возмущусь его поступком стыдивший его Яков Иванович — прямая, благородная душа. Произошла между ними ссора. Яков Иванович назвал поступок нечестным. Когда годы спустя стали из села разъезжаться, я встретила на почте моего ученика. Он считал новенькие полученные им ассигнации, шелестя ими у меня на глазах (отдаст?). Он не отдал. Да простится ему этот долг...

ГЛАВА 4. БОБКА И БАРБОС

Наш Бобка — собственность хозяйского зятя — черный большой пес. Породистый, гладкошерстный. С хозяином своим ходит на уток — ученый. А веселится, точно щенок. Ценное качество!

Приходя к нам, превращая наш быт в праздник, врывается Бобка — всегда неожиданно, с таким запасом эфемерных нежностей, что вся грусть и усталость дня свивается в пылающее колечко, как кусок березовой коры, брошенной в печь. И окно нашего чулана становится окном замка, который звался Детство.

(С первых лет жизни Бобка, прыгнув в сердце, свил там себе гнездо — по гроб жизни.)

Послевоенные годы, разлуки.

Но стоит черному носу просунуться в щелку, лапе ударить дверь, как радуюсь! И пес это знает! На мои ласки — даже свистит от нежности! Тонко... И вьется всем своим черным телом, и отворачивает в смущении глаза.

Вчера, не видя, я прищемила его морду хозяйской

дверью. Он ужасно, по нечеловеческой искренности, взвыл, но, очутившись в моей охапке (испуганной и раскаянной), втащенный в нашу каморку, Бобка, все еще дрожа крупной дрожью от боли, уже облизывая меня, бегло, стыдливо, отрывисто, за силу моего не человеческого, собачьего же сочувствия, явно смирял вой (дрожь — не мог!) и вежливо, душевно-грациозно (так бесконечно выше человеческой воспитанности) выражал полноту своего прощенья, радование моей виноватой, просящей о мире ласке, утешался всласть, мотал еще страдающей от ушиба мордой.

Боль проходила. Он уже и телом (не одной сердечной эмоцией) оживал: хлопал, точно мух ловил, разинутой пастью (алый язык изгибался, как острие пламени) и, как в детстве, у самого моего лица темнел ряд зубцов, так тогда меня занимавших, — собачьих десен, — и белки глаз, которые он, прыгая, закатывал (в игре, грызне, притворно сердитом рычанье, точно отдельно двигались от коричневой радужной оболочки), сверкали знакомым в детских играх с щенятами голубоватым уголком с коричневыми жилками. И вдруг в этом богатстве вспыхивал зелено-золотой блеск, на миг, фосфорящимся кружком, волчьим. А шерсть под моей рукой — это тоже так в детстве интересовало, прожило со мной и вот и к старости тут — ходила как отдельно надетая.

Ох, хорошо жить на свете!.. Чувство счастья. Нахождение у самых истоков всего! Каждый раз как вижу собак и кошек.

Но нынче Бобка почему-то не лаял у моей двери, давая знать, что пришел от хозяйского зятя (молодого почтового служащего, худого, умного, талантливого, ядовитого, подчас — горького пьяницы). Издали, по пути в снежно-сенную развалюху (уборную), вижу Бобку — сидит, приваляясь к шалашу, горб к горбу — и не верю глазам: не трогается с места, когда я почти подошла: голова опущена (я — в очках, вижу ясно), глаза Бобки смотрят в сторону, на морде — глубочайшее уныние.

Побили? Прогнали? Классическая поза обиженности...

— Бобка! Бобинька! В чем дело?

Рушусь в снег, на колени, даром что ревматизм, обнимаю, треплю, шепчу, бужу к жизни...

Мурчанье, скачок, взвизг — и пошел — лапами, головой, разинутой в игре пастью! Какая краткость превращения! Какая искренность! Какая не человеческая благодарность!

Увлекаемая его прыжками и увлекая его, с разбегу, как полвека назад, вместе в копну сена, в морозный благоухающий хруст.

— Лапу, Бобка! Как думаешь, еще поживем на свете?

А через несколько домов от нас у чинных бездетных хозяев жил тоже чинный, огромный, черный кудряво-лохматый Барбос. Нашей первой встречи не помню, но со второй он стал аккуратно каждый раз выходить на дорогу, как только я показывалась на улице, спокойно тереться о меня кудлатой головой, великолепной, и пускался в путь, точно это был его долг — провожать меня до села.

Мы шли и говорили друг другу ласковые слова и урчанья, и было нам тепло и благодарно вдвоем. Он встречал меня на каждом моем обратном пути, и шли назад — до какого-то, ему понятного, места, где он останавливался, с минуту стоял, глядя мне вслед, добро маша хвостом, затем шел в свой дом. Но однажды навстречу мне из наших ворот прыжками помчался Бобка, еще издали зарычал в сторону Барбоса и, подлетев к самому моему лицу, повернув, побежал назад со мной, как со своей собственностью. Я оглянулась на Барбоса — он стоял на дороге, грустно смотрел вслед. Увидев, что гляжу, он махнул хвостом — покорно признав право Бобки считать меня своей.

С того дня он стал покидать меня раньше — останавливался, глядел в сторону моего и Бобкиного жилья, лизал мне, прощаясь, руки и шел назад.

Помню еще раз, как я вышла из дому идти в село, а Бобка бросился ко мне — бурно здороваться; отмахиваясь от него и шутя с ним, я шла к воротам. Кинув взгляд на дорогу, я увидела Барбоса. Он не заметил Бобки (тот отбежал в игре) и степенно и радостно пошел ко мне навстречу. В этот миг Бобка подскочил ко мне в своем ярлом танце. Барбос стал посреди улицы и смотрел на Бобку. Затем повернулся и пошел прочь.

Так мы жили, пока не пришел конец.

Он пришел почти одновременно Барбосу и Бобке, и по той же самой горькой причине: парнишки убили того и другого. Бобку — за черный блеск его густой шерсти. Барбоса — за кудрявый, черней черного его мех. За красу, ими не знаемую, у них отняли их верное и веселое собачье сердце, которым они хотели служить (и радовать его) человеку.

ГЛАВА 5. ВЕСНА. ТЕГА

После тяжелых буранов, заносов, лютых морозных ночей (зима сибирская кажется непомерно долга жившему лишь в Средней России) весна наступила столь же невинно и всепокоряюще, как в первый раз на земле! Ручьи вдоль домов текли точно так же, ломая ледок ночных речек, как в Трехпрудном, в Москве, когда мы выбегали во двор, где таял каток, и, обегая мостки, топтали льдинки; в прошлогодних калошах после ботинок, валенок, медвежести зимних прогулок! По предсказаниям сибиряков, наводнения не будет или совсем маленькое, не увидим села, залитого поднявшейся речкой, несущей кусты и обломки, не вспомним страшных с детства картин «Медного всадника!» С тем бóльшим жаром я принялась за приготовления к огороду: запись на участок, раздобыванье тяпки, лопаты — бедняцкого скарба новичка, впервые берущегося за землю.

Говорили: предложат участки на выселках, по 12 соток — жить огородом. С тем условием, чтобы мы строили свою улицу. Земельный техник отмерит нам землю на возвышенном месте, сюда вода не дойдет, во всяком случае (избы села в наводнение — под водой).

Тоня решила строить: она уплатила 76 рублей за лес, торговалась с запрашивающими дорого за вывозку его с далеких делянок (по густой и мокрой тайге). Я на стройку не решалась. С помощью дорожного спутника плотника я нашла конюшенку с узким окошком и негодной дверью, поверила расчету и обещаниям будущего соседа, плотника, мне разобранный конюшенку поставить и достроить на новом участке быстро и дешево — и купила ее, не решаясь торговаться, за тысячу — теперешних сто — рублей. Надо мной потом смеялись — более пятисот — семисот никто бы не дал.

Деньги были скоплены из денежных присылок сына и Бориса Пастернака. Платила по частям, урезав себя во всем — хлебе и молоке: хлеба затем не ела девять месяцев, молока не видела полтора года. Предстояла закупка оконных переплетов и стекол, дверной коробки и двери, плах на пол, — каждая присылка денег из дому, вместо еды, будет кормить меня всем деревянным; зато росла непомерная радость одолеть свой уголок, за который не надо платить месяц за месяцем... Почем знать, сколько тут проживешь, самое выгодное и разумное — огород со своим жильем.

Страх когда-нибудь не получить денег из дому и не иметь, чем уплатить хозяину за угол, делал все лишения в еде легко приемлемыми. Сжать себя во всем (лишь был бы кипяток и картошка) — не вопрос. Но вопрос безответный — что делать, если хозяин откажет: выбираться. Куда? Свой угол стал всем нам — неизбежным.

Маленький, разительно меньше братьев гусей — с ними не пасется, живет во дворе, в сенях. Конец лета. Он так свыкся с людьми, что ходит за ними, как пес. Он стоит, поджав ногу (болит?), и умным, ласковым, голубым глазком смотрит, как бабушка у крыльца, на ходу у всех, никого — от старости — не замечая, чистит тупым ножом картошку в большой, весь в саже, котел. Трудно чистить тупым ножом, и Тега сочувствует. Так внимательно и настойчиво приглядываясь и прижимаясь к людской жизни, нельзя не понять ее наконец. И он что-то говорит, всегда разное, хоть и сходное на человеческий взгляд, потому что гусиное. Но ведь и люди тоже говорят разное, а монотонное — на слух гуся. И бабка, похожая на корешок женьшеня, тоже сочувствуя и понимая, по-своему, по-старухиному, ласкает его: «тига-тига» — и угощает горохом, сладок нынче горох, лето-то благодатное... И гусь вежливо ест угощение. Так всегда все, что ему дают, Тега аккуратно и благодарно съедает и аккуратно раскладывает по сенцам, ступенькам крыльца и тропинке маленькие жидкие лужи. Эти лужицы так же мало похожи на гусиный помет, как Тега на своих братьев-красавцев. И все-таки Тега растет, хоть и болеет, и хозяйка (дочь бабки, мать Васи) кормит его, надеясь подкрепить, но замечать

ей его некогда в суете хозяйства, и друзей у него в шумном доме двое: бабушка да я.

Правда, что его, как и всех животных, жалеет так же, как я, еще Тоня, но она весь день на кирпичном заводе, приходит, когда гусь спит; она топит печь, ест и полночи читает. Лишь в выходной она общается с Тегой. И всю неделю мы с Тегой скучаем по ней.

— Когда же придет наша Тоня? — говорю я ему, присев, усталая, на пороге, и гусь смотрит мне в глаза немигающим умным глазком — понимает.

Тега ходит ко мне в гости. Я открываю дверь в сени, и он неуклюже, боком, преодолевая испуг перед высоким порогом, прыгает тогда, жалко взмахнув крыльями, и оттуда, вновь преодолев страх, храбро сваливается в глубину каморки.

Я сыплю ему крошек и корочек, он ест жадно и очень быстро и явно просит еще. Но убирать за ним в моей тесноте маленьким веником мне трудно. В сенях я часто мету за ним длинной хозяйской метлой, чтоб не раздражался хозяин, все грозящий, что прирежет его: толстеть не толстеет, а пакостит на самой дороге. Но хозяйка хочет добиться толку — отстаивает. А я малодушно стараюсь не быть уж очень гостеприимной, чтоб поменьше убирать у себя луж.

Однажды, спеша, в пылу дня, когда не по пути мне было с ним, с его гусиной приветливостью, я даже бесцеремонно перевалила его назад через порог — воспользовалась своей привилегией человека над птицей. Тега так испугался — неожиданности, что перекувырнулся, и когда я его, стыдясь и жалея, взяла на руки, он весь дрожал и отчаянно рвался прочь...

Дни шли. Я так свыклась с близостью Теги, что почти скучала, когда его долго не видела. Равнодушно глядя на больших шумных ширококрылых гусей — ими полно все село, я беседовала с Тегиним голубым глазком (Тега как-то всегда был в профиль). В его робкой инвалидности жило родное. И было еще в нем что-то от собаки (от кота?) — он так лип к людям, маленький, «почти человечек», он все делал попытки войти в избу, домой (у меня он был только в гостях), он стремился за бабушкой, но бабушка сама жила как бы в гостях у зятя, как и Тега, стыдясь своей слишком малой полезности; в избе она была немногим более дома, чем Тега, и не решалась его впускать.

И была в Теге — тлела? — застенчивость, что он не такой, как надо, что все гонят его; мне кажется, он понимал и про лужи: он так стыдливо отходил от них в сторону, точно извинялся, что еще одну сделал. Смоги он — он бы их подтирал, выметал, мне кажется.

И все-таки во всем его поведении возле людей, настойчиво-ласковом, но не назойливом, он хранил свое маленькое гусиное достоинство. И порой — но это уж явно мерещилось, — порой мне казалось, что в этом синем глазочке живет что-то большее: тихое чувство юмора над своей (андерсеновской ли?) судьбой. Он так терпеливо переступал с одной, слабой должно быть, ноги на другую, стоя возле бабушки на крыльце, и так услужливо, спешно уступал дорогу хозяйке, ее мужу Васе (впрочем, никогда Тегу не гнавшему), удаляясь тотчас же (как нелюбимый ребенок) в бороздку меж унавоженных высоких гряд огурцов, почти скрывавших его.

Тега стоял и смотрел в мою комнату, голову набок, ждал своих крошек. Он, наверное, был благодарен мне, что убеждаю бабушку не кормить его, больного, горохом (который он из благодарности безропотно ел). У меня для него была отложена корочка, но на сковороде подгорала картошка, было некогда корку ему крошить. У Теги же было время. И Тега ждал вежливо.

— У-у, гадина! — крикнул привычно хозяин, круглолицый, синеглазый (так бесподобно плясавший!), идя с топором и пилой чинить на реке мост. — Опять нагадил! Отрублю ему завтра голову!

— Голову! Теге! Такую чудную голову! — пошутила я мирно на его словесный воинственный пыл и «хозяйственно» — примирительно: — Да он осенью тех перегонит!..

Тега исчез; смотрел ли он на бабушкины корешки-руки, полющие за домом ее вековую картошку, слушая ее «тига-тига», или скрылся под лопухи, я не видела: я стояла у плиты, мешая картошку.

— Вот, — сказал голос хозяйки. Она смеялась и совала мне через порог корзину.

— Это что? — удивилась я.

— Да гусь! Не признали? Тегу-то вашего! Хозяин его порешил!

— Что-о?? Да не может быть!.. Тега? Только что тут стоял..

Чем-то смущенная женщина наклонила корзинку: грязно-белое, безголовое, маленькое, на подогнутом крыле.

Без крика! Молча глотнул так неожиданно предельную обесцещенность. Совершенно недвижно, точно уже сто лет так лежит... Сбоку, как ненужная мелочь, у хвоста, валялась длинная белая трубка с кровавым пучком перышек, и из него, страшная своей выдернутостью,— вялая длинная жила. Горько сомкнут был не поверивший — быть может, и в тот миг — гусиный младенческий профиль. Закрыт и кругом красен был голубой глаз.

Зрелище длилось мгновение и, исчезнув — корзину уже уносили, переселилось навеки в меня.

— К обеду изжарим! — точно опомнясь, крикнула хозяйка, уходя с добычей в избу.

Я стояла, смиряя дрожь. Какая-то моя жила билась во мне: что я сделала? Пошутила в ответ на угрозу поднятого над шеей топора! Не поверила! Не побеспокоилась даже сказать: «Я вам заплачу за него. Продайте! Он же маленький, недорогой... Пусть считается — мой, может, ему судьба — выжить...» Ведь могла так сказать! Не пришло в голову! (Теперь — пришло!) Спрекраснодушничала! Много, мол, раз говорил так... Точно это «много раз» страховало от того одного раза, который мог только раз быть...

Нет Теги! Повела глазами по комнате. Лежит корочка, как лежала пять минут тому назад, когда ее ждал Тега. *Некогда* было скормить!.. Когда же, когда же придет Тоня?

За дверь, все еще раскрытой, как при Теге, мелькнула бабушка. Я было кинулась навстречу, но за ней шла дочь — хозяйка, и я увидела, что у бабушки дрожит подбородок. Проходя, хозяйка сказала мне спешно, как все, что делала: «Не хочет хозяин держать бабушку, пожила у дочери, говорит,— будет! К сыну ее отправлять налаживает... А там сноха — у-у...»

Темной рукой застится от солнца хозяйка; светлые огорченные глаза из-под щитка руки смотрят вдаль.

В обед пришли гуси, наполнив гоготом двор. Мычит коровья морда — черная с белым Розка просит поила. Нет Теги...

Когда же Тоня придет? В тот миг, когда завижу

ее, я смогу немного вздохнуть. В ее усталых, добрых, синих глазах, в начинающих сесть волосах мне сейчас роздых от горя!

Эту главу написав, я послала Борису (Б. Л. Пастернаку) Жаль, не сохранилось его письмо о Теге. О том, как он принял его. И как удивился и огорчился, что я не откупила его, *убитого*, у хозяев и не похоронила, а позволила съесть. Он был уверен, что вот сейчас (конец главы) я это сделаю... Я читала и огорчалась тоже. Я старалась понять, почему я этого не... Вспоминала: я была сама как-то полуубита смертью Теги. Зароют его или съедят — мне как-то было все равно, должно быть, в тот час... Я *жизни* хотела его! Должно быть, для замысла Бориса надо было больше, чем у меня было, энергии, которая была у Бориса и которой у меня не было... Я понимала только одно: нет Теги!

ГЛАВА 6. РОЖДЕНИЕ ОЧАГА

С первыми весенними днями начались хлопоты о перевозке моего будущего жилища и переговоры с соседом. Первое с трудом удалось: разобранный по бревнышку конюшню удалось возами перевезти на мой полуболотный пустырь. Ноги в сапогах почти по колено порой шли в воде, возчик бранился, я ежилась и молчала, моля судьбу о благополучном завершении переезда. Что разворуют бревна и плохонький тес, я не боялась — в отдаленном сибирском селе никто ничего не крал, как мы уже знали. Но меня ждал удар: занятый своей стройкой сосед, обещавший построить, отказался ставить избу: «Некогда мне, мало ли что обещал! Я не один плотник!» Помня его ласковые обещания, я растерялась. Как же так? Это был край отчаяния.

Бедняга Тоня в это время мучилась с неудающейся вывозкой леса по колдобинам и размытому пути, взявшиеся отказались, никто не брался, на руках был один лист об оплаченном лесе, и когда ее героическая энергия все же отыскала в селе молодцов, решившихся, то цена была непомерна, и Тоня села надолго без хлеба.

Но она надеялась найти себе маленькую готовую избушку, достроить и перестроить ее, напилев теса.

Все свободные часы ее весны прошли в поисках. И однажды она вошла вне себя. Синева ее глаз горела как в юности. Голос сиял:

— Нашла! Банька! Низенькая! Ничего! Над самой речкой! «Вилла на Рейне»! Огород, ягольник... Тысяча семьсот! В рассрочку!..

Шел десятый месяц в Сибири, пятьсот рублей ее денег — в трубу...

Почти год в ужасающей тесноте с разницей бытовых интересов. Тоня, замерзнув в пути, входила со страстью согреться — в часы, когда я, отстрадав от жары (неизбежной, чтобы на печурке сварить еду, подсушить дрова), жаждала от этой жары избавиться. И когда Тоня подбрасывала дров в печь — я страдала. Страх пожара из-за ночных чтений взял много сил. В подсчете — мы за зиму друг от друга устали. Но когда пришел час расставаться, когда Тоня, уложив немудрящий багаж свой, подошла проститься, когда этот взгляд ее, согревший меня с первого дня встречи, подаривший мне теплоту очага, обратился ко мне с шутливым — чтоб не заплакать — прощаньем, сердце сжалось по-настоящему: страданье от вечерней жары, страх пожара — все отступило! Нет Тони...

Я затосковала всюю... Как пусто без Тони... Просторно, ненужно просторно, все из рук валится... В лютой печали я уснула в ту ночь.

А наутро стою во дворе, чужом, — том, где покупаю конюшенку, собираю трухлявые куски нижних негодных венцов. В который раз уж несу их, полной корзиной, на свой участок — пока у соседа их буду хранить, мое будущее отопление, — бережно подбираю кусочки... Старухи хозяйки нет, куда-то ушла, позволив мне пользоваться корзинкой.

На крыльце стоит ее внучка Галя, ей два с половиной года. Крепкая, ясноглазая, низколобая, но лоб — волевой. Волосики над ним густой щетинкой. Рот поджат. Смотрит на то, что я делаю, долго, внимательно. Затем молчание ее прерывается легким сопеньем. Оно становится гуще, и вдруг рождает — слово.

— А ведь колзинка-то наса! — говорит она в минуту, когда я, поняв, надеваю на руку ручку корзинки, чуть сгибаясь под тяжестью.

— Да, деточка, ваша... я скоро ее принесу, — отвечаю я совсем не тем тоном, каким говорят с детьми.

Я тотчас отмечаю это и аналитически говорю себе: «Ты это сказала — подчиненно. Почти униженно!» Но сибирское дитя не дает мне времени размышлять.

— В када плинесесь? — изрекает оно.

Неумолимая повелительность звучит в тоне; ему сопутствует зоркий взгляд. И быстрее, чем я бы успела обдумать, я отвечаю:

— Я — очень скоро...

Я иду, подгоняемая тяжестью корзины — столь же, сколь чем-то нестерпимым, что кроется в нашей беседе. Это дитя взяло меня в плен. Это было ужасное дитя — настолько взрослее меня, что я не могла не послушаться: Она дала мне унести корзину, и я должна оплатить доверие — быстротой выполнения обещанного. И долго я, годы потом, это дитя вспоминала. И еще я вспоминала Лысенко, отвергавшего — гены! Нет, не за какие-нибудь полгода-год полусознательной жизни в данной среде эта девочка поняла, как жить, она усвоила это с первым глотком материнского молока, а вернее, еще и в утробе. И довольно страшный ребенок родился в мир.

А на другой день сосед окончательно отказался строить мою избушку! Тот, что нашел ее для меня, уговорил купить и строиться!.. С горечью вспоминала я слова его: «Перевозите избу разобранную на участок, и я вам ее поставлю. Завтра скажу, сколько вам все станет, смету соображу!» И наутро назвал сумму, не испугавшую (и ведь не сразу платить!). И вдруг — отказ, когда конюшенка куплена, разобрана, перевязана... «Некогда мне!» Что делать? Где искать плотников? Сколько возьмут? Я бросилась к Тоне. Она возмущилась, сочувствовала, утешала: «Найдем, поищем, построим!»

И когда я, после слез и мытарств, нашла плотников, они запросили втрое-вчетверо против маниловщины сметы соседа, и я села надолго на полуголодный рацион.

...А Тоня была счастлива, и я радовалась за нее. У нее свой угол над речкой! И колодца не надо! Чудный рельеф берега, спускающегося к воде... И уже чащина кустов ягодных вокруг домика, уют налаженный огородной и ягодной жизни... Сестра Капа тут будет царствовать, когда, подняв домкратом, подрубят дом! И не так уж долго ходить Тоне нагнувшись в баньке —

зима пройдет, заработает на бревна, и домкратом подымут ей домик и подрубят низ...

Теперь мечтой ее жизни был приезд Капы. Она готовилась к нему, как к празднику.

— Маленькая моя, старенькая!..— Она пошла бы за ней на край света...

Шло лето, полное тревог. Я добывала лес — надо было достать восемь бревен, чтобы подрубить мою конюшенку, добро — стариком хозяином отпущенную мне почти в долг: Восемь бревен подрубить и не менее восьми — надрубить будущую избушку. Тоня ходит в своей баньке нагнувшись, улыбается, говорит: «Ничего, привыкну!» — и глаза ее налиты юмором. Но меня такое — пугает. По рассеянности то и дело бить лоб об дверку, макушку о потолок? Как-то уж даже страшно.. Но Тоня счастлива — у нее свой дом над речкой! Сестра Капа тут будет радоваться! Так любит природу!

Ежедневно я ходила далеко на мой огород, где уже, после многих дней обещаний, все-таки вспахали трактором мою целину под картошку. Для трех соток огорода под овощи девушка согласилась лопатой копать по пятнадцать рублей сотку, но, устав, отказалась. Я бегала в отчаянии, ища ей замену по селу, — было пора сажать... Нашла другую за двадцать рублей сотку и с ней вместе, дрожа за глаза (запрещен наклон), два дня таяла таякой, наклонясь, преодолев страх за зрение и боль в спине. Тогда встал вопрос о посадке семян. В первый раз в 55 лет! Кто научит? Судьба сжалилась. Пожилая, добрая, бодрая еще женщина, жившая с дочерью и 106-летней¹ матерью, узнав мою беду, пришла и, не взяв денег, показала мне, как что посеять, как посадить овощной огород: сперва помогла сделать грядки.

Именно в эти дни, должно быть, и родилась моя страсть к сажанью и возвращению, скрасившая мои сибирские годы.

Месяц за месяцем с пчелиным, муравьиным терпением, с увлечением я ухаживаю за огородом, наслаждаясь видом всходящих — как разнообразны! как хороши! — первых посевов и посадок. Иногда я почти не

¹ В 106 лет она с интересом слушала радио, хоть и была немного туга на ухо, одна ездила в далекий путь в гости к другой своей дочери, на Урал, и одна вернулась назад. Вот какие сибирячки!

сплю — заря с зарей сходятся: иду с участка домой, когда уже звезды тонут в рассвете. Грабли, тятка за плечом — как доспех. Девиз моей новой жизни!

Избы спят. Тишина. Только далеко где-то, валдайским бубенцом, лай...

ГЛАВА 7. «КОШКИНА МАМА»

Не сразу мы про нее услышали. Но в селе знали «кошкину маму» — и как было ее не знать? Жила она в самой маленькой избе, какую можно вообразить: моя (будет три на три) была рядом с ее избушкой воплощением простора: ее была два на два! И стояла она на таком отшибе от всех, что ни одного дома с ней не было рядом: в одну сторону — лес, в другую — поляна лесная, в третью — тоже лесная поляна, в четвертую — лес. Кто построил бескрышную ее? Для чего? Кто там жил до нее, до «кошкиной мамы»? Из нас, вместе приехавших, этого никто не знал. Была избушка рубленая из леса еще более тонкого, чем моя экс-конюшенка, никакой глиной не мазана — венцы да мох; сеней — никаких. Дверца утлая — прямо на поляну лесную, в солнце и облака, в ветки, ветер, в серп месяца, в луну, рыжую, оловянную, в черную сибирскую звездную ночь.

Как могла она там одна жить? Не боялась ни человека, ни зверя, ни одиночества? Кто же она была? И какая? Сильная и большая? Ростом — маленькая, по избе. Бойчей же ее — трудно представить. И была она по призванию писательницей, сам Максим Горький знал и хвалил ее. Звали ее Ольга Захаровна, по фамилии — Разовская; а кошек у ней было пять, и они размножались. Кошки жили хозяйками дома. Когда я, увидав, что две из них едят с тарелки на столе, окликнула Ольгу Захаровну, сообщая об этом, она ответила мне голосом (кошачьего!) достоинства: «Это их право. Мои кошки — чистые!» В этом утверждении кошкам передавалось ее достоинство — в слове «мои». Жизнь ее с кошками была — общая. С виду все они — была ли это порода такая или ее за ними уход — крупнее обычного кошачьего размера. Имена же у них были самые удивительные; увы, я их позабыла. Помню смутно одно лишь, напоминавшее бытовые немецкие

сказки Штрудель (или Штруцель?). Остальные имена были вполне разностильны, индивидуальны — так сказать, биографичны; но ни одно не было обычным кошачьим названием. Разговаривала «кошкина мать» с ними, как с детьми, привычно их окликавая и наводя порядок, и они откликались и реагировали лучше, чем дети: они слушались. Когда же в стычках с домами далеких соседей коты попадали в беду и терпели урон, «кошкина мама» шла на прием к начальству (чаще всего — к симпатичнейшему комсомольцу Т-ну) и требовала защиты и разбирательства. И настолько красноречив и убежден в своей правоте был истец, что Т-н шел с нею на место происшествия и старался внести в дело ясность и восстановить порядок. Потому крупных бесчинств над Штруделем и его сожителями не происходило, и кошкам удавалось большее благополучие, чем их «маме».

Ели они, конечно, лучшее из того, что могла себе позволить их хозяйка, не в силах работать так, как работали, например, пожилая Тоня или молодая, но болезненная Светлана,— старая Ольга Захаровна нуждалась. Где-то там была у нее сестра, хорошо в жизни устроенная, и говорили, что наша бедняга будто бы ждет ее помощи, сообщив ей о своем трудном житье, и, видимо, под эти будущие деньги, в которые верила, и брала она, где могла, в долг на свою более чем скромную жизнь. Но отзывалась ли сестра в это трудное для всех время — никто не знал. Как-то, помнится, и мне пришлось что-то дать «кошкиной маме», и она мне вернула. Но мне сказали, что она так и будет просить и может и не отдать, и мне стыдно сказать, что однажды я ей, в деньгах стесненная, отказала. А «кошкина мама» — работала. В своей крохе избушке с потолком из досок, жердей и больших кусков березовой коры она печатала на машинке свой новый роман о средневековье, умный и талантливый труд,— главы из него мне читала, и который она давала читать Т-ну. Она надеялась в будущем роман увидеть в печати. Как забыть эти четыре метра ее жилья — с парижскими эстампами, с открытками, изображающими нотр-дамских химер, музейные сокровища, с пишущей машинкой — среди жалкого инвентаря случайного ее лесного жилища? Под мурлыканье и дремучий блеск глаз, кошачьих, сказочных, как все вокруг нее...

ГЛАВА 8. ПОЯВЛЕНИЕ ДОМКИ. РУСЛАН И ЕГО ХОЗЯЕВА

Утро. На моем пороге маленькое черное пушистое существо, похожее на сеттеренка-гордона: желтое — у бровей и у лап. Тявкает.

Умильно свесив набок длинное кудрявое ухо, щенок смотрит на меня.

— Возьмите щенка, бабушка! — говорил Вася. — У нас кошка... нельзя! Тятя не хочет. Гони, говорит... Жалко!

— А чем я его буду кормить, Вася?

— Супом... и хлеб есть, — тише, неуверенней, зная, что у прежних хлеб не так жирно водится, как у давно тут живущих. — Я ему молочка налил, — шепотом. — Он есть не хочет!

Щенок ждал решения судьбы

Я взяла его на руки. Он был вершков семи, пушистый; он купался в моих руках, свешиваясь медвежьим телом, младенческим; подымал мордочку, чтоб лизнуть меня розовым язычком, взвизгивал, плавал в воздухе лапами, помогал хвостом, закатывал карие оченьки под лоб, сверкая синевой белков; захлебывался щенячьим счастьем. И я оживала вместе с ним.

Я взяла щенка. Он быстро усвоил значение ящика с землей, провинился лишь раз, и мне стыдно помнить, как я сильно его отшлепала, как он метнулся к двери, крича тонким — детским — криком в испуге: в боли он был малодушен. Я назвала его Домка (в память моего котика Домки, с которым жизнь меня разлучила, когда мне пришлось уехать внезапно от сына). Новый Домка спал в ящике под столом, в посылочном, полученном из дому. Ходил со мной всюду, рано отважась провожать меня в далекий центр села. У магазина, у почты, у аптеки он ждал меня, но я тревожилась за него, боялась собак, мальчишек. Однажды он пропал (я долго писала на почте открытки).

Как померк день! Я бродила в тоске, заглядывая во дворы и улицы, возвращалась, звала, упрекала себя. Потерять такое сокровище, любящее! Снова жить одной? Не оценила счастья! Не уберегла... И — помнить его, нашу жаркую, веселую жизнь...

Но, подходя к дому, я замерла от радости: мне навстречу — почуял! — летел Домка, малыш умный —

нашел дом! Ждал! Несся приветный визг. Как обнимались! Вмиг он облизал мне лицо, руки, шею. Прыгал! Прядал от земли! Кричал! Смеялся во всю пасть щенячью! Катался по земле, взлетал на меня, как на мать!

Но хамская способность привыкать к счастью снова позволила мне ударить моего дружка — за то, что вскакивал на мой топчан. Он кричал младенческим голоском обиды, не понимая, за что. Не понимал, потому что тут же вскакивал вновь! И судьба меня наказала — и он снова пропал.

Я одичала в тоске. Все ушло из рук: работа по огороду, по дому. Я остервенело и мрачно искала его всюду. Пала духом. Уныло метнулась назад, бросив все дела, к дому хозяев. Конечно, не придет! Прошло! Это был сон о радости, а я приняла его как будто должное, смешала с бытом, как это делали соседи, для которых пес был сторож, и только за что и кормили, как кошек — за мышей.

Упустила друга! И теперь — одиночество! Уже полдня прошло. Без-на-дежно! Нашел прежнего хозяина, у которого родился? Попал с разбега веселья под телегу? *Где он?..*

Еда не сварена, каморка не убрана, ничего в огороде не сделано. Я шла, еле двигая ноги, загибая за угол к дому — который раз. Меня ошпарило счастьем: он меня ждал у далеких еще дверей и кинулся ко мне каким-то винтом, вверх, и таким же винтом взлетел всплеск ненасытного голосового ликования. (Он, быть может, так же, как я, думал, что кончено, что меня уж для него нет!) Мы обнимали друг друга перед воротами дома, забыв людей, окна их и их души, черствые в труде и отрыве от близких. Мы праздновали конец тоски!

По широкой улице сибирского села идет домой стадо — дородным шагом рогатого скота и игрушечными ножками овец. Легкое облако пыли, пронзенное закатным огнем, уводит память к картинам — французских? и мною-то позабытых художников. Мычанье, бляенье — сельский оркестр вечерами... Сейчас коров подоят (в Сибири не доят овец, только стригут), и все это ляжет на ночной покой — тут же, на улице, — скот не запирают, как в России. Солнце садится, алость заката смешивается со светлой зеленью...

Только на Дальнем Востоке видела я такой цвет неба закатного, у нас его нет.

У наших соседей была большая цепная собака. Черны как сажа были Бобка и Барбос, Руслан был бел как сахар. Большой, длинношерстный, шерсть не была блестящая, как Бобкина, и не курчавилась, как у Барбоса,— она стояла ворохами снежных стрел, точно он весь был из инея. Он был дворовый, но походил на шпица, которого увеличили в лупу. Он лаял густым преданным лаем, добрый служака, многолетний сторож, желтоглазый, улыбающийся,— он прыгал на цепи со всей страстью встречанья навстречу идущему.

Хозяйка хорошо кормит Руслана, как и всю скотину двора. Когда она наливает ему в миску супу и кидает туда хлеб, он так искусно танцует вокруг, словно учился в балете: не заденет, не прольет, как ни заигрывает с Евгенией Петровной, как-то сразу со всех сторон обнимая ее белоснежными лапами. Есть ли на свете существа благодарнее и благороднее собак?

Мне Руслан радуется как празднику — умиленным словам, ласкам, безнаказанности игр. Хозяйку он чтит и побаивается. Меня — нет. Со мной он просто счастлив, как с товарищем-псом. Я не кричу на него, ничем не напоминаю, что — человек. Когда я ухожу, он прощается, кладет мне лапы на плечи, старается лизнуть в нос, машет опухавшим хвостом, поднимает и опускает шелковые уши — на солнце они как раз того цвета, который посередине меж золотом и серебром.

Хозяин Руслана — плотник Парфен Никитич, низкорослый, плечистый, бородатый, с маленькими медвежьими глазами, в 70 лет вырвавший без труда колодец,— сидит на крыльце после ужина, беседуя с пастухом, и перекидается по хозяйству с женою.

Так они живут двое, овцы, да пес, да кот, да куры, неплохо бы и уток завести — пара гусей уже есть, да вот речка далековатка и луж мало, лета стоят жаркие. Так они жили десятки лет до меня и при мне — год, я стою на квартире у их соседей, огороды разделены жердями.

Кот у Евгении Петровны пестрый, большой, деловой и неласковый, больше по мышинной части, службист: изба, да кладовка, да сеновал — свое котовое

хозяйство, и я его мало вижу. Но Руслан, особенно после Бобки и до Домки, скрашивал мою печальную жизнь. Жаркое собачье сердце в добром мохнатом теле, непритворная радость гостю, приветствие цепным грохотом, белые лапы в длинной шерсти у меня на плечах.

Наши друзья! Уже есть кошка Тони — Жанна. Тигровая. Ласковая... И у Тони ведь — дом! А у меня ничего нет: одно вспаханное — десять соток — поле, ни плетня, ни — да, уж именно ни кола ни двора на двух сотках, как тут говорят, «под усадьбу». И медленно — недели идут, превращаются в месяцы — появляются по два, по одному бревна.

Жизнь шла. Я кормила Домку скромно, еще скромней, чем ела сама, а он — хотел равенства... Какая же пошлость была в роли хозяина, человека над псом, отказать ему, хоть и в почти голодном дне, в равенстве пищи! Правда, он ел много, но неужели бы судьба не помогла мне, если б я наливала ему густой суп, давала бы очищенную вареную картошку! Уставая по огороду — участок был далеко — и от малого сна, истощенная, я подло потворствовала своей жадности («праву») — погуще, пожирнее, с приправой растительного масла, овощей в супе (ведь мало их, последние до урожая) — и ленилась, позорно, очистить ему, как себе, картошку: старую, сморщенную, доживавшую последние деньки до новой, почти безвкусную, горьковатую; давала ему ее, оставляя на ней шелуху, темную, точно он мог ее очистить сам! На! И ком летел ему наземь. И когда он, понюхав, жалобно подняв бровь, скулил, честно на собачьем своем языке прося: «Ну, очисти ж...» — я отвечала, в густоте человеческой пошлости: «Не хочешь! Значит, не голоден...» И он понимал тотчас и ел — из деликатности. Иногда — не ел, но так тогда извинялся, откланиваясь всем телом, уже полувыросшим, скрывая глаза — стыдившиеся. Тогда я думала о том, что Тоня кормит свою кошку Жанну щедрее, чем я Домку.

Свыкнувшись снова, что он опять со мной, я черствела патологически быстро, пожиная плоды немислимейшего корня, звавшего: «Друг, да, конечно. Но я — человек, а ты — пес». Но судьба прощала и тушила мое зверское среди людей одиночество собачьей тенью рядом со мной — везде: у маслозавода за пахтой, которую

я ему разводила водой, наливая в черепок мало (пахта из-за ее дешевизны попадала в бидон не часто: разбирали); у почты он не убежал уже, умнея, уж не терялся; у лавок, у чайной, даже у двери уборной ждал меня терпеливо, как черный мой кот Катус, дальневосточный, годы назад.

ГЛАВА 9. ПОТРАВА. СТРАСТЬ К ОГОРОДНОМУ ДЕЛУ. ОЧАГ

Мой день делился между двумя домами — тем, где я живу, и тем, где буду жить. Еще он был только кучей бревен и мха, а уже случилась на моем участке беда.

Я мирно шла по селу, кончив свой дневной труд на огороде, предвкушая, после картофельного ужина, чашок чтенья или писанья писем, когда, завидевши меня, две бабы в платках заспешили навстречу:

— Беги, беги скорей — к тебе скот вошел!

Я не сразу поняла. Потом мгновенно: потрава! Я бросилась бежать. Но ведь путь был не меньше версты! Я бежала и останавливалась — вдохнуть, и снова бежала... Я уже у плетня! Он стоит, это ошибка! Увы, близорукость не сразу дала мне увидеть лежащие на земле прутья и колья — подальше. Кто-то бежал по моему огороду, крича и маша палкой. Схватив хворостину, я вбежала сзади в разоренный плетень. Скота уже там не было — мирно, как всегда, бродили за ним коровы, пощипывая траву. А там, где плетень стоял, рыжая корова доедала мой последний капустный кочан. Заслыша мой бег и крик, она подняла голову — и с совсем не коровьей прытью прыжком перемахнула через снизившийся в этом месте плетень, легко, как балерина. Соседи рассказывали — каждый по-своему — беду. Сочувствовали:

— Говорили мы тебе, не сажай, пока в дом не войдешь...

Картина разрушения была страшная. Сколько труда! От 150 — завивались уже! — кочанов (сытость зимы, мечта!) стояли обглоданные корешки. И вся сотка бобов и гороха потоптана и загажена. Слезы шли, шли... Женщины меня утешали.

170 рублей мне ведь стал (сколько — охотных — лишений!) плетень вокруг огорода: шестнадцатилетний соседкин сын Коля, натаскав тальника на себе

вязанками, сплел его и вкопал колья. Солнце палит, сушит болото, но сушит и плетень. Сзади он — реденький... Уже уплатила! Ходила к Коле, просила: «Подправь! Скот раздерет рогами, войдет!» Коля смеялся: «Что вы, бабушка! Никогда не войдет, и не думайте!..» А теперь его нет, уехал куда-то... В слезах плачú ребятам, таскают тальник, стараются... Из всех сил стараюсь и я. Плету, связываю... Почти все уже посадила! Посадки меня утешают: «Мы ведь растем!..» Но капусты уже не будет...

Но овощи подымаются. И русский старик, уж 17 лет тут «местный», опершись на плетень, мне:

— Хвалю, хороша хозяйка, на твой огород и глядеть охота... Все чин чином...

А у меня из-за спины — крылья!

Культуры взойдут здесь редкие...

И лето помогает: шлет дождь — в меру, поливает всходы, на дорогах не грязь, стало много легче ходить, чем год назад, в лето приезда.

Плотники — бородатый отец и тоненький сын (ему отдавая дочь, так плясал зимой на его свадьбе мой хозяин) — пилят, стучат, сколачивают мою конюшенку. Вымерив веревкой линию фасада по прямой от соседних — далеко друг от друга — домов, поставили 4 лежки (короткие чурки) и на них (вот и весь сибирский фундамент) кладут ряды бревен. Для двух венцов низа добыты бесхлебьем новые бревна, от них чудный дух пьянит не хуже, чем хлебный.

Медленно день за днем подымается домик на зеленом мху вместо пакли (на пакле стены в селе только у богатых домов), пышные изумрудные лохмотки меж венцов напоминают сказочную лесную нору. От полуголодного ли желудка, от тайного ли восторга лицезрения — этот жар, сжимающий мне нутро? Сколько дней уже (плотники — дело известное — как захотят выпить, а хозяйка-беднячка не поднесет, слезают наземь, бросают работу, идут в село — да и не возвращаются до утра), — сколько дней в лихорадке слежу, как подымаются бревенчатые, из старых бревнышек, стены: и когда люди уходят — мой час: я захожу в свой бескрыший «дом», не веря глазам, шупая, нюхая, мерю, насколько против вчера поднялось, какой будет! Вчера — до пояса было, сегодня — почти до плеч. Неужели послезавтра я буду стоять меж стен с головой вро-

вень, в мой невысокий, но все же человеческий рост?

В дни, когда кончалась у меня конопатка и не хватило мха, перебравшись на лодке через речку в лес за мхом (мимо «шишкующих», самодельными щетками обирающих из кедровых шишек орехи на месте, чтоб шишки тут бросить, увозить-уносить лишь орехи), — я набираюсь питанья: хвойный воздух — и еще другого питанья — глазам для будущих зарисовок: увожу неожиданные, как во сне, волшебства таежного пейзажа назад лодкой через речку (мох — на себе), гладью наших пустынных выселок. Ищу осоку с провожатой, девочкой; вырываю, по ее указанию, из сырой земли корешки уж облетелого хмеля — «Будет у тебя, бабушка, на тот год во какой хмель, брагу сваришь!» Жадно у всех, у каждого выведываю дотоле неведомые тайны земли, способы сажанья, выращивания, особенности растений. (Мне нашептывают: «Поросеночек? Курочку? А от гуся — все самая птица доходная — от ей мясо, яйца, перо, пух, и ест мало...») Мимо, мимо — без убийств — содроганье! — к чудесному миру растений, который полюбила навеки, — сколько сил хватит, не оторвусь!..

На моем участке было десять болотных кочек, их распахал трактор, а приезжий старик Басов Василий Иванович, степенный обстоятельный мужик-богатырь — и плотник, слесарь, жестянщик, — синеглазый и бородатый, сказал: «Богатая у тебя земля, чернозем! Про колодец первый год не заботься, яму вырою тебе — вода близко, болото было. А наводненья — не бойся, высоко и от речки далеко!»

...А сосед мой строил себе дом: поняв, что трудна вывозка леса из тайги, он стал строиться по-молдавски: столбы, кусты, проволока и замесы глины (материал его стен). Дом был длинный, несколько окон, комната, кухня. Ждал жену. Верно, и ночью строил — днем зарабатывал в учреждении: штукатурил. Поразило всех, что он начал дом с крыши (соломенной): вкопав столбы, протянул на них потолок, и на нем под крышей, на чердаке — жил. Слезал — и клал стены: в огромной яме месили он и купленная им корова замесы с навозом, и этим он заливал и замазывал ряды кустов меж столбов, обвитых проволокой. Дом рос, на удивление соседей, на славу.

А у меня шла покупка плах на пол, вставала забота о потолке. О крыше пока — не мечталось: голодно мне жилось.

Уж наметили, где будут копать подполье, да за мхом надо бежать, хоть с полмешка еще самой при- тащить, платить больше за мох нечем. По улице — скот с поля, закат Шум и тишина — вечерний оркестр. Ох, вечера эти... Вечера, дни, вечера... И вот сидят плотники меж стропил, на полу настеленного потолка. «Ну, мать, матку мы тебе положили! Как хошь — беги, неси выпить... Закон!»

Думала, отшучусь. Но денег — «нема»... Убедила! Поверили! Поверили — и я побежала в село — за лимонадом!

Как ни старались, чтоб перебранных старых тесин хватило соединить крутые стропила, — не получилось: часть крыши зияла дырой, а лишить себя еще чего-нибудь в еде значило слечь. Так мечта о кусках горбыля с лесопилки осталась мечтой. Как я буду зимовать в сибирских снежных заносах? Просить сына, и так славшего что мог — ведь семья! — и деньги, и посылки с овсянкой, сахаром, крупой, подсолнечным маслом, — просить не могла. Зато стекла — стопкой в углу, у двойных рам. Три окна на все стороны света (с севера — дверь): четыре купленных рамы, а с востока, над печью (будущей) — вертикально поднятое (в конюшне горизонтально лежавшее) маленькое древнее окошко. Соседи дивятся: чего в такой крохе избе таких два (юг — запад) больших окна? А я не люблюсь: сколько света будет! Сколько мук было с плотниками, торгу и споров из-за косяков — скоро, скоро засияют стекла в сквозных дырах, скоро, скоро уж пол у избышки будет! — как только распилят мне тяжелых четыре баллана, чудом купленные, на плахи большие (лес далеко, от места купли ко мне дотащил — пожалел — сосед, застыдившийся своего обмана, моих голода и трудов).

Себе строил дом, знает, сколько мне каждый шаг стоит, видит, что даже сто граммов хлеба себе в праздники не позволяю, понимает, в какую денежную беду ввел меня своей сметой и обещаньем дешево и скоро мне поставить избу. И тем еще, что хозяин бывалый — не поторговался за меня при покупке конюшни — целых три-четыре сотни ведь лишних! За

себя и рубля бы не передал! Дешевы деньги в чужом кармане...

Но когда уже холодом дует в пустые мои оконные переплеты, а я со вздохом все плачú и плачú деньги хозяину за каморку — сосед вдруг входит ко мне, когда я, кончив труд в огороде, отмываю в миске, в избе, руки: «Ну, где тут у вас стекла?.. Застеклю...» Ликую, стараюсь найти какое-нибудь скудное угощение. И когда он, насорив полосками стекла, уходит, я, скрывая страх: «Сколько я должна вам?» — он уходит, махнув рукой.

Приходил другой — уж те где-то работали — плотник кончать пол. Ноги, привыкшие все время стройки ходить по обломкам и мху, не верят: по доскам! А под досками выкопан квадрат в семьдесят сантиметров глубио (глубже войдет вода), два и два, — к зиме он будет полон картошки! Буду ее есть — всласть!.. В полметра ширины обходит под полом классически сделанная завалинка (победит даже память о страшной зиме у хозяина, где на полу, на мешке с соломой меж Тониным и моим топчаном бывало 5° мороза!) С завалинкой мне помог добрый знакомый Сергей Тихонович, приходивший в гости к дорожным спутникам, — жил, все надеясь на лучшее, в углу нанятом, и картошки у него не было. Поработали с ним вдвоем тоже всласть — с кирпичами и глиной, не проберется мороз в мое подполье!.. В изнеможенье сели за горячее варево, сладкий чай и воспоминанья о Москве. А неподалеку от дома выкопана яма в метр квадратный — Басов занят был, у копавшего семидесятилетнего старика Парфена Никитича уж сапоги мокли, когда вылез, — будет к ночи вода! И пришла вода! Со страхом в глазах, сердце таскаю ведром воду, поливаю что подсыхает по грядкам, хоть и не пора еще поливать, а радуются растения и отблагодарят овощами в суп...

ГЛАВА 10. ДОМ. ДОМКА

Шла молва о приезде врачебной комиссии, о комиссовке, о назначении больным и старым — пособия. Я надеялась. Какой помощью это будет моему сыну! Может, и я смогу питаться не только бревнами, гор-

былем, лесом, дверью, оконными косяками, но и хлебом? Вспомню вкус молока! А «кошкина мама» с ее кошками...

Удивительная была сущность жизни, в тяжкие годы, в трудных условиях никогда она не лишала людей якоря надежды. Бросала им его — так неожиданно! Да, *существо* жизни была — Надежда. И должно быть, так было во все исторические времена! И ежедневный подарок: путь на почту. Если даже тебе там ничего нет — ни письма, ни книги, ни бланка, извещающего о посылке, — сам путь туда уже был костром, сушащим болотную землю.

Избушка медленно, но неуклонно росла. Крутые стропила для быстрого стекания воды делали ее сходной со швейцарским шалэ. Это сходство наполнило меня гордостью: из такого старья, без молока, без хлеба — и вот вырос же! Я войду в *свой* дом, к своему огороду-кормильцу вместо того, чтобы хозяину платить деньги — «в трубу».

День, когда был перевезен скарб, был 4 сентября.

Мы летели с Домкой за забытыми досками и сломанным чайником. Мы сейчас вернемся в наш «дом»! Был вечер. Отец и мать Васи, добрые люди, вышли проводить и проститься. Но Домка вдруг, устав, заупрямился, стал бежать назад, останавливаться.

— Глуп еще! — улыбалась хозяйка светлыми Васиними глазами и гнала щенка хворостиной.

Но у меня нашлась корка, и я манила ею и доманила Домку до болота. Там, поняв должно быть, он побежал сам.

По широкой сибирской улице выселков кипит жаркая вечерняя жизнь — идет скот, бегут овцы, кое-где уже доят коров, кипит ужин. Я спешила до темноты «образить» наше девятиметровое жилье; керосина, да и сил идти его просить в долг — не было. Мы уснули, завязав дверь, не веря счастьем простора, — Домка обéгал, обнюхал углы, смотрел вверх на просвечивающие доски потолка.

Приходил плотник — доканчивать пол. А для крыши собирали фанерки, дощечки, как-нибудь дозакрывать голую часть стропил, чтоб не очень промокать от дождя и снега. Ни о тесе, ни о горбыле мечтать было нечего.

Стояла теплая осень. Близился день Воздвиженья. Я родилась в этот день. Мне исполнилось 56 лет. Задолго я позвала к себе «в гости» троих: Тоню, путевую спутницу Ольгу Семеновну — с того конца села, где она прилепилась к лесу хвойному крошечной избой, и Сергея Тихоновича. В этот день я сготовлю кашу из тыквы, может быть, даже поджарю картошки, еще плотник придет, надо же угостить сверх платы.

За неделю до моего дня рождения заболел Домка: лежит, не ест. Даже лакомое! В тревоге о нем и в страхе за свои глаза (нельзя поднимать тяжелого) — как понесу его в ветеринарку? — километра три туда и три назад, шесть. В мешке я понесла Домку, прижав к груди. Жара. Иду, стараясь шибче шагать, поскорее дойти. Шепчу Домке ласковости, спотыкаюсь о кочки. Улица села, потом лес. Тяжело. Но дойдем же! И дошли. И вот уже идем назад из добрых дверей большой избы посреди кедров, где стоит больной конь в чем-то вроде станка, где баба слушает пояснение фельдшера, как давать лекарство корове. Да другая ждет с порошком. А мы уносим красный порошок, не растворяющийся в воде, — камала, и я буду сыпать его Домке в еду.

А Домка от еды отходит, и порошок плавает на нетронутом супе. Но по-прежнему он ходит со мной. У магазина мы встречаем пожилую учительницу, полную, добрую. Она любит Домку. Узнав мою беду, она ласково говорит: «Поправится...» Это слово греет меня. Я его помню все следующие дни — и годы с тех пор.

Покупаю Домке кусок хлеба — нюхает, ест немножко. Я высыпаю остаток лекарства — к вечеру хлеб съеден. Наутро ест жижу, густота остается на дне. Это мне в наказание, что жалела псу гушину, что так много ее съедает, а ее так мало. Но жизнь прощает. Солнце светит по огороду таким щедрым, как в детстве, блеском, плотник стругает плаху¹ (каким трудом добытую), и мой черный кудрявый дружок словил на лету картошку в кожуре! на пробу! О, выздоровел! И жизнь катится, миновав болезнь. Плотник стругает, стружки взлетают золотыми игрушками, огород поднялся леском, конопли качают кружевом по земле тени

¹ П л а х а — широкая доска.

своих волшебных елочек. Мы едим молодую картошку — амброзия! Горох! Бобы! Фасоль! А желтые солнца подсолнухов — зреют.

Я варю в первый раз тыкву. Плотнику дам на второе.

Суетясь у самодельной кирпичной печки (сваляла удачно, с глиной, и когда ветер в ту сторону, куда труба (дырявое ведро), то чугушки так бурно кипят), я поспеваю поздно: из поставленной остыть для плотника миски жарко лакает Домка.

— Что ты делаешь!..— кричу я.

Испуганный уже криком, он отскакивает, но я успеваю ударить его деревянной толкушкой (как поднялась рука?), он взвизгивает и бежит.

— Ну как? — весело спрашивает сосед-штукатур (его огород по ту сторону моего плетня, у него — уж наработал — нетель, поросенок и кот, он любит животных).— Здоров? А вы беспокоились...

Холодно. Стало дуть из старой двери, как из пропасти,— пошла я на лесопилку, заказала новую дверь. Сделали быстро. Без сладкого поживу до зимы!

— Не поведет теперь!..— хлопал по гладкой поверхности новой двери с ней полдня промучившийся старик Басов, из далеких мест приехавший бородач богатырь.— А к зиме наберем с тобой досточек, да и заклю я тебе как-нибудь дыру-то на крыше!.. А коль хошь, чтоб тепло было,— не печника слухай, печник-то еще какой попадетя, а то и так сложе, что весь дым в избу поиде,— а ты на все окна, на дверь (сеней-то у тебя нету...) щиты закажи, фанеры листов тебе подочту, сколь надо,— обрежу тебе их, укреплю на вертушках, никакой те буран не троне!..

Увы, Домка заболел снова. Он не ел совсем и лежал, нос был горячий, и было немного густой слюны у часто дышащих губ. В этот день, когда я шла в село за хлебом, я позвала его. Он было встал, но, постояв, виновато махнул хвостом и вернулся назад — лечь. А я шла, живя там, где он остался, такой вдруг осунувшийся. «Завтра понесу в ветеринарку!»

Утром идти не пришлось — сосед, устыдясь своего поступка, проявил активность, увидел, что неладно с избой, собрал соседей помочь поднять ее: один ее угол плотники косо поставили, правый бок нагнулся. Мое «шалэ» стоял как косою грибу. Пока всех собрали, и мы успели повисеть на шесте, который был воткнут

под дом, а сосед-штукатур подкладывал, втискивал под угол толстую лежку,— прошло полдня. Наспех поев — Домка еду не трогал,— я снова завернула его в мешок и пошла в далекую ветеринарку. Теперь Домка казался мне легче. Фельдшер покачал головой, дал лекарство. Пихты, кедры, ели, бархатная лесная тишина. Домка дремал. В ларьке на берегу реки я купила кусочек мяса. Домка проснулся, понюхал воздух и протянул нос; было лизнул, да раздумал и повесил большую головушку. Мое сердце упало. Грустно прибрели мы в наш дом.

Бульон сварен — не тронут. Спустила его в подполье. И другое горе томило меня: взглянула вдаль и вдруг увидела, что каланча на селе — качается. Я протерла очки — все равно. Я прищурила левый глаз: качается. Прищурила правый: каланча стоит. Я закрыла глаза в испуге. Сжала рукой лоб, крепко. Крепко, себе, из мозга в душу: что-то с глазом! Испортился правый глаз...

Вчерашний шест, на который со всеми давила, и тасканье бревен, воды... Нарушала все время запрет глазника... И столько месяцев без хлеба, без молока. Значит, не я одолела работу, а она — меня... Что делать? Началось отчаяние. Я видела правым глазом все предметы искаженными: огонек, на который я взглядывала,— потухал. Мой песик Домка казался перетянутым посередине — как рюмка. Слово, которое я хотела прочесть этим глазом,— кружилось. Какой ужас!..

Но и это бледнело перед судьбой Домки. Лекарство я давала ему насильно, раскрывая сопротивлявшийся собачий рот. Домка теперь был не младенец уже — отрок собачий. Его знали везде у соседей, он всюду подкармливался из свиных и куриных корыт более вкусной, чем моя, пищей. Дети играли с ним и с соседским щенком Моряком; крупный, хорошо кормленный, он был сильнее Домки, но не обижал его никогда.

— Дом-дом-дом! — кричу я. — Домка... Домка...

И он летит через улицу ко мне. И вдруг замерла наша жизнь. Кругом все жило, а у нас — болезнь, тихо.

В ту ли ночь это было? Ложась спать, я вдруг увидела страшное: Домка сел и, подняв голову кверху, стал захлебываться слюной. Она текла изо рта густой

стеклянной завесой, и он вглатывал ее, пытался загнать назад. Она шла. Он глотал. Она шла неудержно, сильнее, чем он глотал, и он с мученическим терпением боролся с этим ужасом. Я стояла около него на коленях, закаменев от вида этого беззвучного героического страдания и от бессилья помочь. Может быть, я вытирала его тряпкой? Но второй внезапно в этот ужас вошел другой — мысль: бешенство? Меня обдало страхом. Что делать? Куда нести? Скоро ночь. Ветеринарка? — нет сил. И темно. Там его могут убить...

Домка, заглотнув утекавшую струю, тяжело облизывался. Он увидел меня и будто кивнул мне мордой. Страшное кончилось.

Я, дрожа, встала с колен, но рассудок говорил: надо вынести его из избы: это — может быть — бешенство. Выпустить нельзя: дети, люди. Я закутала его, донесла до моей камышовой, на столбиках, уборной, впустила и с бьющимся сердцем заперла на вертушку дверь. Содрогаясь, я бежала назад. Ночь была темна, шумел ветер.

Наутро я вошла к Домке. Он встал, слабый, приветливо помахал хвостом и пошел за мной. Пена у губ была мало заметна. Утишая сердцебиение, я подала ему пить. Если бешенство... Он лакнул раз, два, три и пошел. Остановливался и нюхал воздух. Уходит?

— Домонька...

Он обернулся и пошел на зов. Подойдя, ткнул меня мордочкой. Хлеб — не тронул. Я налила в черепок молока, он подошел, поднял на меня печальные глаза и, не тронув, пошел. Я не смела мешать ему. Его жажда идти, через силу, была сильнее всего. Он вышел на улицу и лег на солнышке, морду на лапы. Я ушла в дом — мести, таскать воду. Скоро придет плотник, надо варить еду. Может быть, я истощила Домку тем, что редко кормила хоть до полсыта? Жалела труда чистить ему картошку? А может быть, тот удар толкушкой?.. Как я могла?

Собаки весело играли на улице, его — давно ли — товарищи. Чували ли болезнь или в них — человеческое равнодушие? К Домке не подбегали. Он лежал как раз там, где на днях прыгал на меня, кусая в игре руки, хватая зубами, и трепал платье, — я тогда замах-

нулась на него. Он побежал и встал за углом, удивясь. И уже бежал на зов обратно. Давно ли?

А затем Домка пропал. Сколько ни глядели глаза — пусто. Нет Домки! Ушел умирать? Упустила! Как найти его теперь в восьми сотках картофельной зелени? И может, не в нашей с ним, а в чужой — у всех по двенадцати, по пятнадцати соток... Да и разве пустят искать? Я обежала все дворы, забегая во все избы, и звала, звала. Пошла в померкший овощной огород. Елочки конопля кланялись в ветерке, утешали: мы еще у тебя есть...

Почему ушел Домка? Неужели уж чувствует смерть? От насильно даваемого лекарства? Или по старым местам, где вкусно кормился, где крал у свиней, — нет, уж не до того... Ведь молока не тронул!

Громкий голос соседа звал меня:

— Да вон он, собачонок ваш, за кадкой! — Голос смеялся. — Живой!..

— Ох, спасибо!

Я бежала со всех ног. Домка встал, шагнул навстречу, лизнул руку. Я уносила его, как добычу. Я ликовала его теплотой, движеньями ласки, улавливая искру былого веселья в попытке зевнуть, шаловливо щелкнув зубами. Я смотрела счастливо, как он тихонько, осторожно встряхнулся, как шагнул к черепку, глотнул мясной суп, на котором плавала камала, — о, может, весь этот ужас смерти — пройдет? Пена ведь не шла больше! Он бросил пить и медленно, с осторожной жадностью съел (а за ним и я соскочила в подполье) три маленьких кусочка сырого мяса, наскоро посыпанных камалой. Ел и махал хвостом и, съев, привалился ко мне боком — благодарно? Усталостью? Терся головой, лизал руку и вышел за мной к печке, где я варила ему. Как звонко чирикают воробьи! Розовые облака по небу. Вечером Домка ожил, и жизнь ворвалась в дом! С грязными лапами он прыгнул на одеяло, и я шлепнула его. Спрыгнул легко. Выздоровел!

Басов пришел! Сидит за тарелкой картошки, считаем, сколько листов, сколько рублей — да его труд... Ох! А печи-то нет, а ветер все холодеет — где найду печника? Сосед на все руки, да и у себя еще не клал печки, придет ли ко мне и за сколько? И когда еще одолею кирпич, железную плиту, задвижки, колосники (впроголодь подняла водяную яму и дверь). И дров — ни

полена! Пока — щепками, а потом? Знобит — от дум... Не велико ли дело задумала в маломощности — свою избу!..

Басов ушел. На ночь, чтобы не расставаться, я положила Домку в ногах на свой топчан, на подстилку. Он лег между мной и стеной, привалясь, грея меня и мною греясь. Ночь была свежая. (Как далеко еще до печки: ни кирпичей, ни железных ее частей, ни печника.) Страхом ползло по мне: а вдруг это улучшение — перед смертью? На другой день было Воздвижение. Плотник не работал. Мне исполнилось 56 лет. Я сварила для гостей много овощного густого супа, нажарила сковородку картошки, нарезала кусочками хлеб. На блюдечке был мед. Вскипел чайник, но гости не шли. Забыли?

Все остыло. Никто не пришел.

Домка еду не трогал и все извинялся. Когда жара спала, он вышел и, озираясь, сел в кучу камыша (запасенного для сена). Затем встал и пошел в дом. Постоял и сел в свой ящик. Но и там не остался. Остановился на пороге и тихо пошел по солнечной стороне к чужим домам. Он шел через болотные кочки слабо и медленно. Иду за ним; беру его на руки. Лижет меня, но пытается — на землю. Отпускаю его. В горле — ком, спутник беды с детства.

Девочка, пробегая, погладила Домку. Он благодарно помахал хвостом. Он стоит посреди пустой сельской улицы, нюхая воздух. Еле бредет дальше. Снова стал, дивится ли перемене всего? Худой, в несколько дней став старичком из веселого пса-подростка, он прислушивается и принимает к знакомой, незнакомой земле, травам, запахам; грациозно и кротко переносит непонятность метаморфозы: потеряв силу движенья, бег и игру, он сохранял — ласковость. Вытянул умирающую голову.

Я стояла, истукан, слезы текли градом, и было чувство стыда, что подглядываю то, что нельзя смотреть. Я стерегла его, прячась за дом, чтобы не смущать. Не звала — чтобы он шел куда хочет. Чтоб с в о б о д н о выбирал смерть.

Прыгая и кусаясь с другим псом, весело лая, летит Моряк. Он бегло взглянул на Домку, и, минуя его, оба пса унеслись. Домка приветливо машет вслед хвостом и, будто старчески отдыхая, сторонится их шумного бега. И все кланяется. В небе тихие краски, передрозовость

близящегося заката. Идет свинья — огромная, тяжкая, громко хрюкая. Домка поклонился и ей, и ей помахал хвостом...

Его прощанье с оставшейся жизнью было так явно, что я больше уже не могла. Я душила рев в постель — в нашу. Ждала. Ждала — придет ли домой. Простясь с теми домами, у которых играл с собаками и детьми, где был волен, сыт, счастлив. Вспомнит ли о нашем с ним доме?

Закат горел — отпылал, и я вдруг вижу, как черненькое, худое, с торчащими костями создание, низко пригибаясь к земле, повертывает — к нашей избушке. Домка идет, еле ступая, медленно, с усилием. Домой. Я ждала у калитки. Он переступил ее высокий порог, кивая мне мордочкой. Она будто опухла. Поднял бровки. Блеснули глаза. Он лизнул мне руку и со мной вошел в избу.

Я взяла его на руки. Показалось, он холодеет. Я положила его, бросилась за мясным бульоном и стала вливать его в рот. Он противился, я понемножку лила. Зарычал, укусил! Первый раз! Достоинство умирающего: не трогай! Уже не надо мне, не хочу!..

Он был слаб лечь на постели. Спрыгнув, он упал бы. Мы легли на полу, на сеннике, вместе. Он положил мне головку на руку. Стемнело. Я слушала. Он вдруг перекинулся. Потом встал и метнулся к двери.

— Нет,— сказала я твердо, в слезах,— нет, Домка! Туда не пушу! Здесь...

Он понял! Порывом тела кинул себя о дверь, лег длиной по ее ширине, вдоль порога. Он лежал и дышал. Я смотрела. Но я была очень уставшая, я не знала, сколько он будет так лежать, я взяла тарелку с натертой морковью (для глаза), меда с блюдца и стала есть. «Подкреплюсь...» Но стыд брал верх. Перестала. Я и до сих пор не могу простить себе этого. Я присела перед Домкой у порога и тихонечко, еле-еле стала гладить его лапки и лоб. Он закрыл глаза. Вздрогнул. Два раза дохнул и два раза — еле — оскалился. Что-то перекапилось в пищеводе. И стих...

Я встала, не веря. Вот он лежит, все такой же, а его уже нет. Ночь — и я. Завтра пойти к Тоне... Я сшила матрасик из марли и тряпок — на дно его ящика. Бережно подняла еще теплое пушистое тельце, поло-

жила его туда. Он занял весь большой посылочный ящик. Как вырос! И перестал расти...

Я вышла в ночь. Холодную, черную. Сорвала мак, листки положила на лапки. Он лежал на левом боку, правую лапку — вперед. Кудрявая черная шерстка, желтые подпалины у глаз и у лап. Худой. Медленно остывал. Покрыла марлечкой и легла. Как тихо...

Наутро соседская девочка предложила мне закопать его. За три рубля. Они были. Я отказалась. Сама! Вред глазам? Все равно! Это же последний долг! Я вырыла могилку. Я думала о нем когда-то: «Какой у него нрав? Собственно — никакой. Обычный». Боли боялся... А как кротко, как доблестно умирал...

Я схоронила Домку перед самым порогом, повернув ящик так, как он лежал на пороге. Скоро будут камышовые сени над ним. Он останется в нашем с ним доме!

ГЛАВА 11. ПОСЛЕ ДОМКИ. ОБМАЗКА ИЗБЫ. КОНЕЦ РУСЛАНА

Я живу, и я думаю: он хотел удовольствия от еды, а я, любя его, хотела, чтобы еда для него была только существованием. Даже грубо говорила не раз: «Ну, придется тебе поискать другого хозяина...» Не понимая, что говорю! Искал тепла — гнала с постели. Дала и тепло, и еду любимую — перед смертью, когда уж не мог... Счастье вспомнить, как несколько раз еще до постройки дома давала ему большие куски хлеба. Как хватал! Может быть, я погубила его ударом толкушки за плотникову еду? Эта мысль была нестерпима. Но встречаю хозяйку Моряка: Моряк заболел! И все — как у Домки. Собачья чума? Передаю Моряку наследство от Домки: лекарство (в первый раз ведь Домке помогло). Но Моряк погиб — точно такой же смертью. Накануне я думала: как мне узнать, хоть во сне, виновата ли я? Вижу сон: земля, могила. Из нее — вышла? — черная, побольше Домки, собака. Кудрявая, как он. Ко мне... и стала исчезать. Могила, пустая, осталась. Я проснулась. Пришел! Во сне! И сказал: все — там. А земля — землею...

Как помог мне в горе моем — огород. Работа! Дорасщивание овощей до глубокой осени... Они росли, они были живые...

...Жизнь шла. Через мою тоску по Домке. И надо было за жизнь биться.

Соседи хоть и любовались моими успехами, но, трогая тонкие избяные бревнышки, головами качали: «Как зимовать будешь? В ней кони жили, им што, а ты... Кровь-то не греет, стара... Мазать надо, без обмазки — какая зима?»

Крепко думаю: месить — это что, научусь, одолею, но беда — воды для глины греть негде, а холодной — что буду делать, если грянет возобновление ревматизма? Полтора месяца ведь висела на Дальнем Востоке рука... И месить — наклон запрещен глазам!

Осень спешила. Ребятишки копали глину, а я собирала навоз. Сколько тазов вымесила с конским пометом для завалинки — а на избу — костями ляжешь! Кабы еще хлеб есть...

Напротив меня кончала строить избу чувашская семья. Молодая мать, черноглазая Женя, предложила мне помощь. Сторговались. Почти всю первую получку из дому — ей. Вымесит, обмажет мне избу! Спасу глаза!

О, какой же день был, когда вместо бревнышек меж окон замаслился густой слой зеленоватой (одна треть конского) глины! Хоть другие соседи спорили — не та пропорция, конского шесть ведер на десять (четыре глины), критиковали и тонкость слоя... Но я ведь видела, сколько работала Женя, разве бы я могла? И, щупая сбоку слой глины, я, как мать о потолстевшем ребенке, радуюсь: теперь мои стены мороз пробьет с таким же трудом, с каким Женя кидала на бревна пригоршни живительной густоты, размазывая их лопаткой, прищлепывая рукой. А если щиты на окна и дверь (так советует Басов), о, я буду самым счастливым человеком в селе — я, одна из всех поселившаяся в конюшне! Даже если будет плохая печь, не умеющая держать тепло, — я буду от вьюги *защищена* — как смогла! — и дров надо будет добывать меньше...

Поздняя осень. Зашла навестить прежних соседей. Гусей уж не пара, а выводок, растет телка, овец уж постригли, связав им ноги и положив на бочок на крыльцо. Лежат себе.

— А что-то Руслана твоего не слышно, Евгения Петровна? — говорю я, облокотясь о жердь.

— А его хозяин повесил, — без малейшего выражения в голосе отвечает старушка.

— Руслана?? Повесил??? Да ты что, шутишь, что ли? — сказала я, холодея и в бессильной ярости выжимая слова, грубо: — Сбесился он, что ли?

Поняв неверно, о ком вопрос, она встала и обернулась. С достоинством:

— Чего ему беситься? Чай, пить давала! Рукавицы себе шить хочет, на рынке-то ноне дороги... Из деревни посулились махонькую, хорошая, говорят, собачонка. Чего такого теленка кормить...

— Убить пса, который так служил, такую собаку... Большую — на рукавицы!.. Да как же ты ему позволила такое бесчинство сделать?

— А я ему велела... — беззлобно, бесстрастно ответила Евгения Петровна, глухая ко всему, что жило во мне и в Руслане.

— Такое зверство! Как он к тебе ласкался... Такая собака... Друга убили...

Она уж не слушала, шла в избу.

ГЛАВА 12. БОЛЕЗНЬ

Без Домки я осталась одна, с моим испорченным глазом. И вот вся удача моя, после стольких трудных дней жизни в тишине, в своем уголку, вся радость об огороде, об уборке в подполье с такой затратой сил выкопанной картошки, о гудах моркови у каждой грядки, об усвоенном способе хранить в вязках лук, запасах разных сортов гороха, бобов, свеклы, редьки, чеснока — все рухнуло! Я бросилась в село, в поликлинику. Я добивалась осмотра врача. Но глазника не было. Мне предложили лечь в районную больницу — до выяснения вопроса о возможности вылететь самолетом в область, в глазную больницу. От меня шла телеграмма главврачу вологодской глазной больницы, ученице профессора Филатова, Евгении Васильевне Александрович, у которой я лежала в областной больнице в Вологде, просьба сообщить районным сибирским врачам о состоянии моих глаз и о необходимости срочного медосмотра специалистом.

Ожидая ответа, я жарче принялась за работу.

Наконец сосед согласился класть печь. Холод уже был лютый. Никогда не забыть рождение печи! Как тогда венцы поднимались между мешков мха, так

теперь каждый ряд кирпичей — на глину. Запах этот! — растущего очага, мое сдерживаемое волнение, мой страх, что может не хватить кирпичей, мои хлопоты над глиной — и почти головокружение от мечты, воплощающейся! Такой долгожданной, выстраданной... День и ночь, почти до утра печниковой работой до потолка поднявшуюся трубу, кирпичную! Вдруг ставшую меньше избушку, запах сырых кирпичей (будущего овсяного теста...), трепет счастья, когда затрещали в печи дрова и дым *не* пошел в дом! Разве это забудешь?

Но зима на носу, а завалинку вокруг избы из земли ведрами не поднять (подняла бы, терпеливо с утра до ночи носила бы — кабы глазам слепота не грозила). Опять зубы на полку — и соседские ребяташки мне копают, носят и засыпают землей низ избы, в загородки из картофельной ботвы — сплела, закрутила ее, высыхающую: спасенье от морозов, бурана. Ставни? Пока мечта... Но уже лежит груда дров — три воза! До весны, может, хватит, если по разу топить.

Главврач больницы, милая, молодая женщина, передала мне через кого-то, что — до ответа доктора Александрович и возможности выехать — мне надо собираться лечь пока к ним: освобождается койка. Я лихорадочно — помогали соседки — убирала овощи в дом. У меня в это время жила — попросилась за помощь по огороду и дому — бездомная чудаковатая Валя, женщина средних лет, вперевалку за двадцать пять копеек носившая людям с реки пару ведер, тем жившая. У нее где-то в приюте двенадцатилетняя дочь Надя. Скоро и дочь поселилась у меня. Я было сперва не хотела: где моя тишина? Но мы с Надей так привязались друг к другу, что теперь мысль о разлуке уже была трудна. Надя не любила мать, осуждала ее, дерзила, я мирила их. Было решено, что они останутся у меня, пока я буду в больнице. Нежданно получив из дому денег, я спешно запасала дрова и камыш, вела с Басовым переговоры о сенах; дверь для них есть — старая, снятая со входа в дом. В утро моего ухода в больницу Басов работал над стропилами для сеней. Вали не было.

— Смотри, Василий Иванович, — сказала я, подавая ему руку, и его богатырская сжала мою, — оставляю на тебя дом! Ключ вечерами передавай Вале.

— Будь покойна, все будет как следовало, — отвечал он.

Надя плакала. Мы обнялись. Я пошла.

В палате было коек восемь — десять. Но я их не видела: меня отдали на попечение старшего терапевта доктора Райта, пожилого, опытного врача, а он велел мне лежать на спине первые недели в темных очках и даже сверх них — в повязке. Отношение к больным было отличное. Да и вообще на начальство в селе мало кто жаловался: были один-два помощника у начальника — малоприятные, но сам он — комсомолец Т-н — был превосходный человек и никому жизни не портил.

Врач Томас Яковлевич (предки его — англичане, уже несколько поколений в России сделали его совсем русским) был человек пожилой. Умершая жена его работала глазником, и он, годы прожив с ней, сблизился с делом лечения глаз. Он надзирал за мной внимательно; нередко присаживался на кровать и дружелюбно беседовал со мной. Кормили — для того времени — сытно и вкусно. Ожидая скорой поездки в глазную больницу, я, лежа без движения, толстела, подкрепляемая полученными за этот месяц двумя посылками — от сына с невесткой и от подруги Зои Цветковой (первую из которых по доверенности моей получила пожилая Таисия Еремеевна, носившая мне их по частям). Когда, простудясь в холодном коридоре из ванной в палату, я три недели не могла там купаться и вновь затем попала в ванную и увидела при вечернем освещении свою тень, я удивилась и ужаснулась: это я, всегда худая, стала почти толстой?

Доказательство того, как хорошо мне было в районной больнице и как я верила в помощь глазу от лежания и лечения в предстоящей глазной больнице.

Навещавшая меня Таисия Еремеевна делала это охотно, как бы даже увлеклась опеканьем меня. С комической миной, приглушив голос, она сообщала о старушке Ольге Семеновне, которой я дала доверенность на вторую посылку. Та заболела и передавала мне части посылки через Таисию Еремеевну. Видимо, последняя стеснялась высказать свои подозрения ясней «по воспитанности». Придя в следующий раз, она зашептала снова и, прищулив светлый и небесхитрый глаз, как бы через силу:

— В общем... не знаю, как сказать... Неприятно, конечно, но все же приходится, ведь я являюсь как бы передаточным звеном... Словом, мое впечатленье, что у

нее все как-то... как бы это выразиться? Ну, прилипает к рукам, что ли.— И прищуренный глаз раскрылся в юмористической ужимке, и в обоих светлых глазах замутнелся хитроватый смех.

Как я вспомнила это, когда ко мне, много позже, пришла взволнованная Светлана, сожительница Таисии Еремеевны, проводив — стало возможно ехать — свою заботливую «мамашу» и обнаружив, что с ней вместе она проводила и свою меховую шубу... Ольга Семеновна же была и пребыла честнейшей из женщин!

Я совсем сроднилась с больницей и доктором Райтом.

И большим ударом был мне, после более месяца ожиданья разрешения на мой выезд в город, отказ из области. Я почти пала духом! Из районной больницы меня тотчас выписали, и я с узлом поплелась ночевать — дело шло к вечеру — к монашенке Ольге Семеновне в ее крошку избушку у входа в кедровый лес вблизи кладбища. Как добро она меня встретила! Утешала и одобряла! А наутро она помогла мне донести мой узел через все село — ко мне, бережа мой глаз. «Дома», в моей избе, мне на шею бросилась Надя. Она очень ссорилась с матерью, та чудила. С этих дней у меня началась бессонница — мучительное лежание напролет ночи в страхе возможной слепоты. Тяжкие ночи.

Я почти не смыкала глаз. Правда, что помощник начальника посоветовал мне послать вторичный запрос в область, «и мы поддержим», но кто ж знает?

— Успокойтесь! Разрешат! — утешал он.— Поедете! Просто как-то прочли невнимательно, что дело идет о *зрении*. — И помощнику своему:— Теряет человек зрение — понимаешь?

И все же и в тех днях были у меня радости: первая — Надя. Вторая — сени, такие лохмато-теплые, что, к гордости Басова, никакой ветер не проникал туда. Третья радость — соседская — через два дома — кошка, пепельно-серая, *очень* ласковая, появлявшаяся всегда внезапно, за что я прозвала ее Фея. Многие мои бессонные ночи она спала у меня в ногах. Четвертая радость — печь, печь, печь!.. Сколько денег, труда, грязи — и сколько счастья!

Ссоры Нади с матерью были мне нестерпимы. Валя, вынося горящие головешки, роняла их вблизи камышовых стенок сеней. Ее нельзя было оставить тут без себя в случае отъезда в Новосибирск! И я повела переговоры с соседом — пусть переселится на этот случай ко мне: теплей, чем в его большом неоконченном доме, и меньше пойдет дров, половина — моих, половина — его. (Я отапливала картошку.) Он согласился. Валя загрустила. Из области в морозные январские дни пришло разрешение. Мне давали провожатого. Вылетим 21 января, в Ленинский день. Стояли морозы. Я хлопотала об устройстве Нади в интернат. Как ее бросить? Рассказала положение. Начальница согласилась.

— Хоть и ссорились иногда,— сказала мне Валя печально,— а жалко мне уходить...

И мне тоже... Надя проводила меня. Мы обнялись, обе в слезах. Она усердно писала мне года два письма, кончая всегда: «Жду ответа, как соловей лета». Я отвечала.

ГЛАВА 13. НОВОСИБИРСК

Двухместный почтовый алюминиевый самолет взвился с шумом моторной лодки в такой мороз, что, не закутай я себя в присланную мне сестрой Лерой куртку из башлыков, и в шаль (шерстяную, подарок Н. П. Туполевой), и все старье теплое, что наскребла под пальто, ватное,— заболела бы. Ух, как холодно было! Но полету было всего — один час: до Оби и ее равнины.

Увы! В больнице нет места. Мой провожатый покидает меня.

— Как-нибудь уж сами устроитесь. Походите поищите квартиру!

Хожу и ищу. Сверток с вещами — тяжел (страх за глаз!). Мороз крепнет. Никто не пускает. Стучусь и стучусь в дома. Уж начинаю упрекать себя, что рассталась с моим провожатым,— не отставать бы и идти за ним! Не лететь же назад?! Разве во второй раз дадут мне путь в больницу? Слепнуть? Ну, хорошо — а сегодня что, замерзать?.. А отказы продолжаются. Я почти обессилела. Никто не пускал. Наконец я взмолилась к Богу: помоги!

На пороге — маленькая, худенькая старушка:

— В глазную? Нет места? Вы из района? Что ж, заходите, только уж вместе со мною в комнате, отдельных у меня нет... Я швея, живу бедно...

Неужели «воспитанность» пресловутая, учащая не выражать чувств, помешала мне в тот час расцеловать ее, обнять? Я вошла в тепло, так продрогшая... Две недели, что у нее прожила, задыхалась от кашля — бронхит, и Гликерия Ивановна, милейшая женщина, лечила меня горячим молоком с чайной ложкой скипидара — вылечила! Как уютно, как хорошо мы прожили с ней! Наш старушечий поход в театр «Факел» — слушать Вертинского (кого в юности, в Москве, не слыхала!). Старый печальный певец после полжизни на Западе вернулся на Родину и поет свои знаменитые песни и свою там написанную «Молдаванскую степь»... Не в костюме Пьеро, уже — фрак, чинность, старость... Песнь о двух дочках — о близком конце, о том, как над его могилой пропоет соловей... И мы, две старухи, друг друга неделю назад не знавшие, еле удерживаемся от слез, как девушки, гимназические подруги. Чаепития, скромные обеды, длинные вечера. И слезы при расставании. (Долго потом я писала ей: «Гликерии Ивановне Бессемейной». Потом, как всё на свете, кончились письма. Жива ли она теперь?..)

А затем — больничные коридоры областной глазной больницы, профессор Ш-ая и ее свита, ассистенты, аспиранты...

Начиная с палат все было другое, чем в вологодской областной глазной больнице под начальством Евгении Васильевны Александрович, очень умной и очень доброй женщины, изумительного администратора: там был уют и ласковость — персонал был подобран, палаты небольшие, покойные. Тут было шумно в многокочных палатах, плохо кормили, с больными обращались грубо. Может быть, это тем объяснялось, что сама профессор Ш-ая бывала только на обходе, слишком доверяла помощникам? Она часто и сильно болела. При обходе ее все вокруг нас подтягивалось. Ее приветливость передавалась — на час — с ней шедшим. О, Евгения Васильевна, во всей своей обаятельной мягкости, видела всех насквозь, в руках держала больницу! Ее обожали. Ее слушались не за страх, а за совесть. Помню, как, услышав, что кто-то окликнул меня по фамилии, она строго обернулась:

— Что это такое? В нашей больнице так не зовут человека: Цветаева! Надо сказать «Товарищ Цветаева!».

Тут нас вызывали по фамилии, и тон был повелителен. Но была одна женщина-врач — я забыла ее фамилию — и пусть, так лучше, — отличавшаяся мягкостью обращения. Пожилая, со вдумчивым взглядом, она, видимо, жалела меня — за тип болезни, плохо поддававшейся лечению, за возраст... При осмотрах ее у меня согревалась душа. Я ждала этих встреч, веселела. Как же тяжело я пережила ее внезапную перемену ко мне! Это было подчеркнуто резко. Она не только перестала со мной говорить, ободрять, давать советы — она отвертывалась от меня, явно меня избегала, даже стала обрывать меня, и некое начало гримасы появлялось на ее лице при виде меня. Я колебалась между негодованием и унынием. Не понимала. Мне мерк день, я старалась понять, что произошло. Наконец я решила: тут клевета! Только узнав о человеке что-то поносное, подлое, можно было явное сочувствие изменить на оскорбительное пренебрежение. «Она радовалась мне, сочувствовала, пряча за спиной камень?» Я догадывалась о стиле ложного обвинения. Я, сказали ей, веду недостойную деятельность. Я пожала плечами... Мое лечение клонилось к концу, и нанесенная травма так и продлилась до последнего дня. Бог ей судья, как говорит народная поговорка! Но в отмщенье за обиду от интеллигентной женщины судьба послала мне дружбу с пожилой крестьянкой с Севера. Как мы сошлись! Как ласкова она была, как ко мне привязалась, как приглашала к себе — когда смогу! Старинно, полно достоинства было это ее приглашение. Широко отметая в сторону временные трудности страны, она звала, заранее радуясь встрече: «Сумею принять, не подумайте! У меня отдохнете, поправитесь! Мы людей понимаем...» В иные минуты и при подошедшем прощании она говорила мне «ты» — как сестре: «Приезжай, буду ждать тебя! Сын на станции встретит!» Высокая, ширококостная, с резкими чертами лица, сидящая. Глаза ее улыбались, светлые, и в осанке ее, в поднятой голове светилась непогашенная статья русской женщины. Увы, мне не пришлось более увидеть ее.

В нашу палату положили девочку двенадцати лет. Ее готовили к операции. В раннем детстве ее, когда она

лежала в люльке, ее родители поссорились, и отец ее кинул в ее мать — вилкой. Эта вилка попала в люльку, в личико ребенка, и как-то сместила, в полете своем, ее (помнится, левый) глаз. Как? Ведь орбита глазная не могла опуститься? Но так ребенок и рос с глазами не на одной высоте. Видел ли больной глаз я не знаю. Деформация же лица была мучительна на вид больше всех, разумеется, девочке. В двенадцать лет ей была разрешена операция, и маленькая пациентка готовилась к ней со страстной надеждой «стать как все»: ей это было, насколько я помню, обещано. Нелегки и долги были приготовления, она терпела радостно, мужественно. Операция удалась. Врачи радовались. Палата поздравляла выздоравливающую. Через сколько-то дней с нее сняли повязку: глаза были на одном уровне! Девочка ликовала...

..Трудно забыть день, когда — в первый раз — еще только неясно ей показалось: будто бы чуть ниже глаз левый. Как это могло быть? Но ведь его сумели поднять! Как? Все было непонятно. Глаз опускался к прежнему месту. Кругом молчали. Девочка уж не брала зеркала...

В нашу палату поступила пожилая больная, сразу меня заинтересовавшая. Начиная с отчества ее она привлекла внимание — Александра Северовна Стрельникова. Она приехала на операцию, и серьезную: у нее было отслоение сетчатки. (В те годы (1951) операция состояла из поворачивания глаза на нерве и мышцах сетчаткой наружу — что чрезвычайно болезненно, нестерпимо), электроприжиганием стараются помочь делу — без обезболивания уколами вокруг глаза. Больные в глазных больницах *знают* процесс той или иной операции, только на эти темы ведутся беседы в палатах. Конечно, и новоприбывшая знала, к чему ей готовиться. Но почти с первых слов, несмотря на близость операции, она шагнула в наш день совсем неожиданной темой: критикой неточных, подчас и неверных, как она утверждала, советов школы гимнастики по радио. Услышав диктующий голос, Стрельникова, точно получив, персонально, удар в сердце, повелительно протянула руку в сторону голоса:

— Выключите эту машину! Он сейчас сказал «выдох», когда надо «вдох»...

Степень ее волнения — пожилого человека (мне

помнится у нее проседь), больного — заворожила внимание. Я всею собою повернулась к Стрельниковой. В ее *тоне* звучала не простая убежденность в правоте того, что утверждала, а сама правота о себе заявляла.

Так Коперник своим познанием, перешедшим в его существо, знал, что Земля вертится. И быть готовым идти за это на смерть было только естественно — если ничего другого от непонимающих нельзя было обрести...

Кто была Стрельникова по профессии, я не знала. Но много лет к ней ходил уже тогда известный Новосибирский оперный театр: она лечила — дыханием — оперных певцов, заболевания их голосовых связок, она вылечивала *своей* системой дыхания затяжные грудные болезни, заикание и астму. Каждый человек, ее помощи требовавший, был делом ее дня. Я не видела Александру Северовну стоящей, я не видела ее рост. Но представить ее себе роста маленького не могу. Выше среднего должен был быть рост этого человека. Лицо продолговато, голова высоко поднята, черты выразительны. Интонации голоса не забудешь.

Мы сблизились сразу. Узнав, что я пишу, она ожидалась.

— Отлично, — сказала она. — Я вам изложу всю мою теорию, расскажу практику этого дела. Вы все изложите — и мы издадим книгу.

Но мне пришлось огорчить ее: не назвав слово «ссылная» (а книг ссыльных не издают!), я мягко сказала, что мне надо возвращаться в район, где я живу, а ей — ложиться на операцию. Время нашего общения — кратко...

Какую тревогу вызвала весть об операции в Новосибирске, трудно передать! Сколько народу посещало Стрельникову, сколько ей носили цветов (а пора была зимняя), сколько благодарностей от вылеченных мы в палате слышали! Заики, астматики...

...Мы больше никогда не увиделись.

Тридцать лет спустя в Москве я вновь услышала фамилию Стрельниковой — Александры Николаевны! И это оказалась ее дочь, продолжившая ее дело, и развившая, и получившая авторское свидетельство. Она лечит многие болезни с большим успехом.

Когда я занялась этой дыхательной гимнастикой —

а она легка и вовсе не утомительна, — я в 87 лет очень скоро и к большому удивлению заметила, что ей подчинились неожиданно ревматические и подагрические боли! (В дыхательных упражнениях участвует все тело.)

Мир праху зачинателя этого удивительного лечения — Александры Северовны Стрельниковой!

Лекции студентам надо мной — уколы из огромной кислородной подушки иглой под конъюнктиву глаза, неделя сонной терапии в общей палате! Люминал, веронал, бромурал — россыпью! Люминал прячу под матрац, с другими — мирюсь. Но каблучки медсестер слышу. На процедуры встаю как ударенная по голове мешком. Кучка мальчиков в серых халатиках. У большинства из них вынуто по глазу (рогатки, игра с порохом, самовыстрелы, стрельба из лука).

— Запретить рогатки, — говорит маленький северянин.

Увы, глаз мой не улучшается! Было хотели переливание крови: истощение, дистрофия! Узнаю, группа крови — вторая. Но ассистентка — профессору:

— Решайте, 56 лет... Надо ли? Организм утлый...

И — к моей радости — отменили.

— Цветаева! — говорит мне ассистентка. — Как вы ходите! Запомните, всю вашу жизнь вы должны ходить так, как будто несете стекло, поняли? Иначе можете сразу ослепнуть...

Вспоминаю слова Александрович, сказавшей: «Запрет носить тяжести. Запрет наклона. Сон по 10 часов в сутки. Покой, режим дня. Иначе...» Да, но что я могла! Тяпать в наклон, таскать воду, бревна, когда не было денег нанять, — в чем себя упрекать? Так распорядилась мной жизнь...

— Цветаева, слушайте: тряская дорога вам воспрещена. Телеги, автобусы... Противопоказана жара. Никогда не ходите по солнцу. Не читайте и не пишите подолгу. Вы должны быть под постоянным наблюдением окулиста. Поняли? (Которого, думаю я, там, где я живу, нет. За почти 200 верст!)

— Понимаю, — говорю я учтиво.

Беседа кончена, а жизнь продолжается. Я лечу назад в Пихтовку — навстречу огородным работам. Март...

Мы летим вдвоем, две больные, в санитарном само-

лете, занавесочки, два окошка, два мешочка — в случае тошноты. Не тошнит. Смотрим в окошки. Забавно, но неинтересно: точно в газете — план местности: дороги — ниточки, леса — садики, отсутствие пейзажа. Воздух — весенний!

Отчего я, не перенося малейшей морской качки, радостно погружаюсь в воздушные ямы? Приятно...

ГЛАВА 14. ТРЕТЬЯ ВЕСНА В СИБИРИ, ПРИЕЗД СЕМЬИ СЫНА

Что ждало меня в моем домике! Марля на окнах — черная. Вещи сдвинуты. Деревянное корыто — поило теленку (родился соседский) Глина, солома. И в конце моего топчана, за печкой, — сам теленок; валит на пол (на те мои плахи...) и прудит (на мою картошку!). Так мы прожили втроем (впрочем, Фея нас посещала!) неделю. Затем сосед ушел к себе, а я, засучив рукава, в наклон — тру, мету, мою... Седьмой пот!

Весна! Как время летит! Я стою на нашей улице Куйбышева, — я ее полюбила: тихая, широкая, и сколько она видела труда нашего тем первым летом, еще без жилья, его рост труда — осенью, зимой: переборка овощей, почти постоянная, а осенью — таскание их с огорода, сушка, спусканье в подполье и закапыванье в землю моркови (год назад капуста моя не удалась, потравили. Зато теперь, с починенным плетнем, будет много ее). Видела улица — ровно год назад! — как мы выходили, приготавливали землю к посадкам, как радовались за меня соседи, что мне не надо трактора, земля — мягкая... Так же вот стояла я, приняхиваясь к свежему, по-весеннему, воздуху, к отдыхающей от снега земле. Но теперь я приглядывалась к тому, что вокруг моего дома, к сизым и коричневым далям вперед от домика и влево и вправо, за ним далеко-далеко — синь зеленая леса, до которого идти и идти... Мечтаю: с кем я до того далекого леса дойду, *увиджу*, что там — одной страшно и как-то тоскливо!

Ранней весной, как только я приехала из глазной больницы, ко мне стала приходиться старушка Ольга Семеновна. Хорошо знакомая с огородным делом, видя мое незнание, она первая из всех стала учить меня новой моей жизни, подробно рассказывать особенности овощей, что можно сажать рано, что поздно; что — нежно,

что — морозоустойчиво, и вторые мои посевы и посадки шли под ее терпеливой и усердной рукой. Она приходила иногда на целых полдня, у себя отработав, и не только не соглашалась взять за помощь хоть что-нибудь, но еще приносила с собой то хлеба, то овсяную лепешку, то печенья, полученного в посылке, то миску овсяного киселя. И еще задолго до того, как мы со Светланой достоверно узнали, у кого прилипало к рукам (увезенная при отъезде шуба), я поняла, что намеки игравшей в уют старухи были чистейшей и злой клеветой.

Лена Добрая! Одно из ярчайших, веселейших, достойнейших сибирских моих впечатлений! Как бы о ней рассказать? Лет 50 было ей — крепкая, смуглая, краснощекая (молдаванка). Распахивала дверь — и с ней входили силы, стремительность! Вмиг, поглядев вокруг, решала, что надо делать — помочь, научить, исправить. Бесподобная хозяйка, ни в каком положении не терявшаяся, работавшая «за мужика и за бабу», затейница, день превращавшая в вихрь начинаний. В ней жил дух новаторства — и на все хватало сил и веселья! Лена Добрая унывающая — невозможно!

Жила она со взрослой дочкой, красавицей в мать, незадолго вышедшей замуж: жили вместе в только что достроенной избе, дочь и зять на какой-то «чистой» работе в селе, Лена — домоправительница, успевавшая заработать себе помощью в любом доме по растущим выселкам. Имя улице дали — как уже сказала — Куйбышева. Мне пришелся № 3, хоть избышка была крайняя, ее огибала дорога вдоль бока — плетня. Дом Лены Доброй был по моей стороне, в самом левом конце улицы, если стать спиной к селу; она огородничала увлеченно и с толком, все умела, все успевала; сверкали в смехе белые зубы, веселились сознанием силы карие большущие глаза.

Весна застала всех нас почти закончившими свои «гнезда». Тоня хочет поднимать домкратом свой домик, подрубать, надрубать его венцами нового леса. К ней собирается из Ташкента сестра, Тоня вне себя от счастья! Она копает весь огород — сама. Изредка, урвав час, мы навещаем друг друга.

Жарко кипит жизнь на улице, где живу. Дети, скот, собаки... (Только моего Домки — нет... Собаки не возьми, не надо, потому что его — не забыть.) Наводнения

в том году не было. Настает жара, дождей почти нет, от болот почти нет следа! Хотели осушать район, а он, нам навстречу,— высох. Где-то горит торф...

А я — в новой горячке: я учусь, как месить глину по-молдавски у Лены! Она мне штукатурит внутри домика: вместо глиняных ям стен (под которыми недели моей прошлой работы с молотком в руках — артистическое забиванье им рядов мха по пазам — конопаченье!) стены становятся гладкими, как белый шелк, а когда они высыхают, Лена Добрая ведет по ним пышной и туго сжатой самоделькой мочальной — и, как волшебные заросли в «Спящей Красавице», струи узоров до потолка. Ровной растет избушка, белая стала (глиняной, неровной была всю зиму). Серебристая панель с узорчатыми столбиками — колонки! Потолок горит белизной, сон! Муж дорожной спутницы Нины, художник, учит меня красить масляной краской пол, и я, взяв кисть, ползаю, крашу до одурения и не верю глазам: красота! шоколад!

И вдруг — весть: сына арестовали, шлют куда-то далеко. И невестка с детьми едет ко мне! Не чудо ли, что у меня готов домик? Сын будет и за меня, и за нее с детьми спокоен: огород есть, не пропадем! Будет сласть.

О, я не хуже Тони — сестру Капу — встречу своих!

Сын невестки от первого мужа (13 лет) провалился по русскому — не перешел в шестой. Займемся! Перейдет! Дочке три с половиной года. Рита. «Украшение жизни!» — думаю я и брежу от радости и усталости. Сняв одну из двойных рам, я вставляю ее горизонтально в сени — а сени — не верит глаз! Камыш, послужив зиме, снят! Куплен и привезен воз горбыля, и Басов строит мне сени настоящие. Это о них в песне поется, детской, старинной:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Тут будет жить мальчик. Раздобуду столик — будем заниматься. Пол земляной — дело к лету! У меня на всю семью хватит домика (летом «двухкомнатный!»). Через раскрытое окно глядит в побеленную узорами комнатку, на шоколадный пол — соседка (богатая!).

— Просто царские хоромы сделала, своих ожидаючи... Ай да бабушка, молодчина!

А бабушка хочет — хлеба... Избаловалась в больницах! Вот кончу сени, найму окучить картошку — тогда уж начну есть хлеб!

Как рассказать жизнь? Дни с семьей — там, где моим голоданьем и непосильным, но веселым трудом на болоте стал домик... Второй год огород подымается!

Сизая, бледная синева, тонкий запах гари далекой, и над пустырем возле сужающегося к концу плетня, где еще два года назад были болотные кочки, над засухой огородов — легче мотыльков, бело-серые жаркие куски пепла — с пожарищ. Упадет такое на сухую, как солнце, крышу — и пойдет полыхать село... Но снятые с работ и мужчины и женщины, день за днем привозимые в лес, тушат землей огонь. Их одежда прокопчена. Люди борются, огонь отступает...

Как похожа внучка Рита на своего отца! Совсем в детстве! Тоже большие глаза, тот же смех! Хороша!

Приехали мои! Трое... Непонятно и весело.

— Отдыхай,— говорю я невестке,— на работу уже с осени!

У нее есть крупа, у меня — овощи.

Лето. Но лето без влаги дало урожай скудный. Прошлый год с его изобилием — сон! Одни ягоды радуют, но и они на кустах сохнут; ходим — неподалеку — с детьми. Сорок дней почти не выхожу из сеней, где занимаюсь с внуком русским, заодно арифметикой и немецким. Пройдем немецкий учебник пятого класса (на Урале, где после меня жили они, был английский). Торжественно выдерживает экзамен. И переходит в шестой! Синеглазой внучке моей, почти четырехлетней Рите, рассказываю русские сказки, у дома «Ритин садик», она там играет с соседками, чувашской и русской девочками.

Но в заботах дней об устройстве с детьми, хозяйстве, помощи мне на мое предложение пойти до того далекого леса невестка деловито спросила:

— А туда зачем? Ягоды там? Грибы? Не знаете? Так чего ж так далеко идти? Грибные места знать надо! А то зря и проходим...

Я стою и смотрю на далекий лес. Год прошел. Год мечтаю о нем.

А земля ждет дождей. От поливки — как оживает!

Вскоре утвердился слух о пособии нетрудоспособным. Комиссия назначила мне, как и другим, пособие — сто рублей (пореформенных).

То же стал получать и Яков Иванович. Но у него, кроме пособия, уже не было никаких средств к жизни. Стал болеть; хозяйки придирались, им не нравилась непригодность к сельскому быту старого инженера, его беспомощность. Не ценили его кротости и веселости, преследовали за малейшую оплошность. Жена его, с которой он давно разошелся, сварливая и совсем иного духа, чем он, воспитала сына во вражде к отцу. Забыли они, как щедро он платил алименты сыну, какие подарки дарил, когда был в силе! Ни жена, ни сын не слали ему помощи. Я, как и Тоня, радовалась каждому приходу его к нам, мы сопровождали их корзиночкой овощей — чем иным могли мы помочь? Но человеку кроме овощей надо еще многое...

ГЛАВА 15. ДРУЗЬЯ МОИ

Лиля первая в их черед, мне славших помощь уже 13 лет! Елизавета Яковлевна Эфрон, сестра Маринино-го мужа Сережи. О ней есть в моей книге «Воспоминания» (в лето 1911-го в Коктебеле). А вот ей стихи М. Волошина:

...Полет ее собачьих глаз,
Огромных, грустных и прекрасных...
...И звонкий смех, неудержимо
Вскипающий, как сноп огней,
Неволит всех, спешащих мимо,
Шаги замедлит перед ней.
Тяжелый стан бескрылой птицы
Ее гнетет, но властный рот,
Но шеи гордый поворот,
Но глаз крылатые ресницы,
Но осмугленный, стройный лоб,
Но музыкальность скорбных линий
Прекрасны. Ей родиться шло б
Цыганкой или герцогиней.
Все платья кажутся на ней
Одеждой нищенской и сирой,
А рубище ее порфирой
Спадает с царственных плечей...

И вот она, старой уже пенсионеркой, первая из всех отважилась на столь трудную помощь тогда, от себя

отрывая последнее — крохи пенсии, мне на Дальний Восток (как и сестра моя Лёра). Лёра продолжала эту помощь и теперь. Она слала (как и мой сын, когда мог) самое нужное для существования. Уже не имея сил заработать, Лиля, живя на пенсию и болея, знала то, без чего нельзя жить, в этом ежедневно нуждаясь. И ее посылки, стремительные, как она, приходили всегда в те дни, когда в доме бывала одна картошка с каким-нибудь добавлением овощей; когда *мечталось* о том, что было забито в ящичке, с торжеством, умилением и благодарностью дотащенном через село, через пустыри до-мой!..

Верочка Молчановская! Мне надо когда-нибудь о ней написать, если хватит таланта; а пока — вот, в чe-реде людей помогавших: наша дружба с 1928 года, совместное учение английскому, увлечение языком — на основе (у нее, как у меня, ей семьей данных) двух обычных языков интеллигентного круга — немецкого и французского. (Дружба — сразу — как в отрочестве, в гимназии Потоцкой, с Галей Дьяконовой — Элюар-Дали; как в юности с Майей Кювилье-Кудашевой-Роллан, с Аней Калин (отрочество) — иначе: вражда и любовь.)

Высокая, светловолосая, светлоглазая Верочка (глаза велики, даже через сильные очки для близоруких). Тип шведки; насмешливость и в речи и в смехе (под ними горячее сердце, скрываемое). Когда я оказалась в беде, она стала слать мне посылки и деньги: последние аккуратно, день в день — как клерку зарплату, из заработка языкового. Задолго до того, как назначили мне пособие как нетрудоспособной, и ту же сумму: сто тогдашних рублей. В посылках же всегда были неожиданности — как в ней. Среди наинужнейших предметов питания вдруг детская книга английского юмора с картинками, кукольная посуда Рите. Что-то неожиданно-прекрасное — Синяя птица в наш трудовой день...

Вот в этом они были схожи с моей сестрой Лёрой: Лёрина любовь к красоте создавала из ничего — нечто. И была страсть к фантастике в каких-то излишествах и отделках нужных в избе предметов, и кусочки лакомств, всегда где-то спрятанных, и что-то для души в уголке посылки — так она, верно любившая «Розу и Крест» Блока, прислала мне чудом где-то добытую

маленькую картинку на этот мотив, нежный блеклый цветной рисунок, эмблему, давшую мне столько счастья,— над подпольем, завалинками и таялкой для снега... И все эти то абазур, то старинная кружевная рубашка, то талисман — последний хрусталик люстры дома нашего отца в Трехпрудном, который храню до сих пор. Сама архитектура посылок Лёриных была так же сложна и обдумана в их разностильности и сюрпризности, как сложны и до мелочей внимательны и продуманы к моей новой жизни были ее письма, полные полезнейших советов, участия во всех трудностях моего дня. Думаю, у нее было меньше грехов, чем у каждого. Но будь она даже и грешницей — много грехов, как в народе говорится, было бы ей прощено за одни только ее мне посылки, за мысленную и действительную переселенность в мою избушку, за страсть помочь.

И так же, как Верочка Молчановская, она слала мне деньги — меньше той, потому что уже не работала, ей было уже под семьдесят, но так же аккуратно, как Верочка! Много значит аккуратная помощь в нужде! Расчет нуждающегося на то, что получит столько-то и тогда-то. Благословенная бухгалтерия бедности и любви!

Посылки Зои Михайловны Цветковой, друга с 32-го года (мужа ее я знала с 1919-го); как сама — внезапная, так появлялась и помощь — как праздник. Вещи шли дорогие, размаху широкого, деньги — мне избыточные, неожиданные, — как вдруг затыкались ими тоже неожиданные нужды! Взамен рухнувшей кирпичной печной трубы — заказ железной, или подарком, брошенным наотмашь об избу,— лестница приставная — следить, не загорается ли в трубе сажа. Дети же — Гена и Рита — упоенно жевали небесные финики или после бессахарных времен — мармелад.

О, еще душа, не забывшая нас в беде,— Елизавета Моисеевна Гольдман, мать троих детей, вдова, в Москве за семью бившаяся, ее пределы расширившая...

Нина Петровна Туполева, добрая, чистая душа, отнимала от своих послать мне. Как грела ее вязаная шерстяная шаль во вьюге сибирской! Ее крупы, сухой компот... Она была давний друг, еще по лагерю. Этих друзей уже нет, как и Верочки и как Лёры. Мир праху их!

...Как случилось, что Яков Иванович мне рассказал такое свое сокровенное, чего не говорил никому в новой для всех нас жизни? Много лет спустя после ухода своего из семьи (где никогда не любившая жена, из корысти к высокому заработку за него вышедшая, без любви воспитывала сына в презрении к отцу — за что?) он встретил женщину, которая его полюбила. Он не звал ее по имени. Он ее назвал Друг. Не в разводе с женой, он не мог с ней записаться, и ей это не было важно. Счастье пришло в его старость и в ее пожилые годы. Как деликатна она была! Очень больная. На маленькой работе. Он помогал ей, лечил... Я слушала эту горькую старческую повесть. Потом мы поели картошки, выпили чаю. Уходя, он вынул из кармана записочку:

— Ее адрес! В случае чего. Я вам верю! Ведь все может быть...

Его лицо было худое, в резких тенях. Совсем другое, чем полное, добродушное, какое я запомнила в первую путевую встречу. И одет он был теперь жалобно, во все старое. Где плащ? Добротный плащ, топорщившийся с широких плеч? Продал? До холода ходил в пиджачке. Одна за другой уходили вещи, а с ними вместе таял он сам.

Его Друг писала ему. Но ничем помочь не могла. Их связывала только — Память.

ГЛАВА 16. КАПА И ТОНЯ. ЯКОВ ИВАНОВИЧ. ВОДА В ПОДПОЛЬЕ

Это было так. Я пришла к Тоне, она еще была на работе. Передо мной стояла старая горбоносая женщина, небольшая. Всею собою я смотрю в глаза вышедшей мне навстречу: длинные, синие, цветом близкие к цвету льда, когда его много. Теплый лед, растопленный в радости встречи. Изумительный, в себя зовущий, входящий в тебя взгляд.

— Ася? — сказала она — полувопросом? зовом? И мы протянули друг другу руки.

Дотоле мне не нравившееся имя, плотное, плотское имя ее предстало мне волшебным изменившимся, прожив столько лет в душевной красоте его носившей, оторвав-

шись от звуков своих, принадлежало — этой! Бесплотной, духовной? Не подходили слова...

— Капа! — говорю я. — Как я рада, что вы приехали! И как теперь счастлива Тоня!

Она стояла, и смотрела, и улыбалась.

— Сядемте, — сказала она. — Вы, как и я, устали. Сейчас придет Тоня, и мы будем обедать.

Таким давним навыком к добру и заботливости, сливанью тебя с собою эти слова прозвучали... Да я ж всегда знала ее. Мы всегда были вместе! Как верно, что она — тут, разве она могла не приехать? Родной человек...

Не отрывая глаз друг от друга, мы беседовали не умолкая — о чем? Обо всем, обо всех, о себе, о ее и Тониной жизни, о моей, о будущем и о прошлом...

Вдруг, одним движеньем, мы встали — и обнялись. Молча. Была скорбь в этом объятии — и радость. Что-то из сказанья — о рае...

Были шаги. Шла Тоня. Она поняла — сразу. Началась наша жизнь втроем.

И к Тоне, и Капе, и ко мне приходил бедняга Яков Иванович огорченно пожаловаться на последнее разочарование: узнав о его обидах от квартирных хозяек, наша дорожная спутница, немка, та, говорившая мне о «Feinfühlung», взяла его к себе на квартиру. Он было ожил — сперва. Но вскоре она стала к нему еще много придиричвей, чем прежде. Даже повышала на него голос — чего он никогда в жизни не испытал. Что было делать? Она притесняла его и материально — зная его обстоятельства. Мы в ответ приглашали его чаще приходиться к нам — обедать; если не было у него ужина — ужинать. Давали ему с собой кусок хлеба... Он конфузился, отказывался, сдавался — под настоянием. Глядя ему вслед, каждая из нас, до калитки его провожая, до калитки выстраданного трудом и лишениями, но собственного угла, почти физически ощущала то состояние зависимости и нищеты, в которое его не меньше, чем его хозяйка, повергал этот в газету завернутый, драгоценный по тем временам кусок хлеба, прижатый к старенькому пальто...

Я жила с родными, к Тоне Капа приехала; мне в быту трудом помогали невестка и внук, а от него отка-

зался родной сын, им выращенный, ему не помогал никто... И мы возвращались втроем в Тонину «дачу на Рейне», баньку над речкой Баксой, толкуя о том, чем облегчить его положение. Теснота жилищ наших еле вмещала нас.

Через два месяца невестка моя Нина поступила в артель. А когда пожары леса и торфа были побеждены, настала другая беда: плоды засухи — мало картошки и мелкая; с восьми соток собрали вместо роскоши прошлого года половину — по два мешка с сотки! Пришлось покупать: семья! Но куда на семью такое мелкое подполье? Туда ведь и кочаны капусты подвешивать надо! И подкопали мы на какие-нибудь полтора-два вершка вглубь. Радовались: все побольше картошки войдет... А наутро открыла западню — проветрить, а там — блеск темный! Напасть страшная... Тронули жилу, вошла вода!.. И годы с тех пор весна, осень — мука: весной вынимать перед половодьем картошку и ее раскладывать под топчан в избе, шагая по узкой тропинке; осенью — сушить подполье, открыв люк (того гляди свалишься в тесной избушке в подполье, как упала раз у соседей, приняв по близорукости черноту раскрытой западни за коврик).

А какое отдохновение бывало прийти на берег в Тонин домик, к ней и Капе! Когда-то красивые обе, семейно схожие, приветливые, гостеприимные. Капе было под семьдесят. Тоне под шестьдесят. В двух крошечных комнатах — в углу лампадка — все горит чистотой. На стол несут все, что есть, — каждому заходящему. Обе мастерицы готовить, хоть Тоня и изнемогает от труда дня (после кирпичного завода она работает в пимокатном цеху, в шерстобитке). Начинались беседы, воспоминания, стихи (Марининых я наизусть знала много)...

Годá общения сделали нас родными виденных родных друг друга. Каждое письмо читалось и переживалось вместе. Зимой домик тонул в сугробах, был еле виден, и еле дойдешь до него. Летом это были заросли хмеля, распахнутые в них окошки, цветники, ягодник, огород. И все это на обрыве, над светлым изгибом речки, отражавшей купы деревьев противоположного

берега. Первые звезды... И конечно, кошачье тепло у ног, мурлыкающее. Незабвенный мне домик! Капа, как истая русская женщина, бросила свой домик в Ташкенте и приехала жить к сестре в Сибирь, где она постоянно болела сердцем, не привыкшая к таким холодам.. Перемогается!

Узнав, что невестка с детьми ко мне доехала, сын за меня и за нее успокоился, он стал слать нам посылки — то небольшое, что мог по тому времени. Внук деятельно помогал нам в нашем сельском хозяйстве. Он уже был ростом почти с мать. Но еще было в лице его милое ребячье, и он еще играл с Ритой.

Осенью Нина перебирается на далекую от меня квартиру, возле своей работы. Плачем, прощаясь, Рита и я... И до весны, пока Риту не приняли в детский сад, я хожу ежедневно к ней через село, километра три в два конца. Трудно — но надо!

Пришлось покупать задорого картошку, и не удалось и в эту зиму оконные и дверные щиты. Я слегла с тяжелым плевритом — в самые бурные дни. Гена прийти топить печь не мог: не на кого бросить сестру. Невестка после работы топит печь, кормит ребят, а там — ночь... Урывалась ко мне раз в несколько дней. Я выдерживаю характер: другие по два и по три раза во вьюгу — я раз топлю! Зимой просыпалась иногда при — 3°, руки еле держат лучину и спичку... Кашель мешал спать. И все-таки я поправилась!

Тяжелые мне дни, когда приходили от моего сына посылки... Я знала, какой ценой он их собирал! В это время в лагерях ввели оплату труда, и на премвознаграждение заключенные могли покупать себе добавочное питание — сыр, колбасу, сдобу. Это у себя отнимая, сын слал детям сахар, компоты, сухофрукты — их не было в наших краях.

Память об отце, с которым Рита рассталась трех с половиной лет, растила любовь почти фантастическую: конфеты, шоколадки, которые он приносил, всегда падали откуда-то *сверху*, а летом — с дерева, — я узнавала Андрея — всегда с затеей... Из кусков фланели, выдаваемой на Севере на портянки, Нина шила дочери платица.

Рита отдаривала отца рисунками и, с четырех лет,

печатными буквами, а с пяти — «письмами» с наизнанку вывернутыми «я» и «в».

Но что случилось с ней, когда в ответ ей пришло, на ее имя, письмо, первое в жизни! Это были стихи «Моей Маргаритке», и назывались они «Алые паруса». А к ним — фотография с отцовского рисунка, ей посвященного, — «Танцующий слоненок!». Это была настоящая гравюра: тончайшее очертание сказочной бухты, где в одиночестве веселился маленький слон: хобот, хвост, столбы-ноги слонячьи — веселился каждый фибр! А в светлой дали — воздушные легкие паруса Грея, алые паруса.

ГЛАВА 17. ГРЕХ

Как время летит!

Зима. Буран. Немного хвораю. Снег, укутавшись, наносила, — значит, вода есть, все сварено, убрано, обе двери — сеней и дома — заперты, скоро сумерки. Поставлю на окна щиты — басовские, и буран сибирский станет не больше как сон...

Стук в дверь. Ох, какая беда, — кто еще там? Открывать опять обе двери, тугие, тянуть их во всю мочь, борясь с ветром, дышать вьюгой!

Устало:

— Кто там?

Детский голосок:

— Мы. Я.

— Кто «я»? — раздражаясь на частый и у взрослых этот ответ.

— Мы.

— Да кто «мы»? — одеваясь и уже поучая привычно ребят: — Ведь все говорят «мы», «я», — имя-то свое разве не...

— Мы, мы-ы... Надя (и еще только начатое «Ли...»).

Мое решение — радость улитки, которой удалось из раковины не вылезать — намаялась, лягу, уложив за печку дрова.

— Очень тяжело, деточка, мне отворять двери, болею...

Ничего не слышно за дверью, вернее, мне за бураном и дверями не слышно — буран-то слышит их голоса... Да оно мне и не нужно, я отошла от двери. Дети как

поведаться ходить в эти часы, когда лечь можно... Да и дать мне им сейчас нечего — все внучке вчера снесла, нет ничего, а они ведь надеются на конфетку...

Что-то поворачивает лицо к западному, к калитке, окну. В уровень с его серединой (до половины завалено, снегом): по крутому насту мутно видны — в оттаявшем с ненаветренной стороны куске стекла — маленькие фигурки в огромных валенках, материнских бушлатах. Стараются не оборваться с гребня, с наста снега — в окно. Жар этих стараний сквозь муть окна, жалобность великаньих валенок на пятилетних ногах, взмах рукавиц отцовских, — «мы»... Смутен гул голосов. (Сердце вдруг: что говорящих?) Прошли. Их стерло с окна — как той рукавицей.

Одна! Как хотела. И тогда с неумолимой верностью крючка, опускающегося в петлю, наливается на мою избушку в снегах — тоска.

Как могла я не знать, что она придет, и станет за спиной, и ляжет на плечи, и ей, как всему настоящему, из вечности в вечность идущему — не будет конца?

Как кротко они уходили, радуясь, быть может, тому, что не оборвались в снежную оконную яму...

Я не открыла им дверь потому, что хотела лежать и читать. Одеваться и раздеваться, стужиться, тратить даром так дорогое время, не иметь чем угостить девочек, падких на сладкое... Как оправданно, как дальновидно о себе — и хоть бы шажок дальше — туда, где — они («мы»...).

Я не открыла им еще потому, что они мне не нужны сейчас, эти девочки, — но я ведь зачем-то нужна была им, раз шли ко мне? Скажи они, что их мать прислала (за крынкой, за ситом), — я бы открыла. Но они шли не за крынкой, а за чем-то своим, неназванным, и я позволила себе отвести их рукой. Шли назад, через вьюгу назад, — не удалось к бабушке! Это их, в пять лет, напрасное карабканье по сугробам... В самый радостный будущий день — догоревших разлук, на празднике встречи — оно положит на плечо ледяную, умелую руку — и поведет за собой.

Может быть, они просто озябли — к бабушке! погреться! Не хотелось домой, в надоевшее. Стуком в дверь не своей хаты открывался мир, жизнь. А я их научила (учительница!) тому, что такое чужая изба!

Тому, что отвечать «мы», «я» — нелепо, что есть — имена. Они тотчас поняли, закричали охотно:

— Надя! Ли-да! Мы! На-дя... — Перекричать вьюгу. Если *это* надо, чтобы дверь открыли! Но и имена не помогают, если за дверью — «я».

А ведь были дни моей шестинедельной плевритной болезни, когда никто не шел, тяжело буранило, двое суток меня заносило, и я не могла выйти, пока Сергей Тихонович не откопал мою дверь. Но побыл и ушел, и я снова болела одна, кашель набил грудь кучею разбитых стекол, и я не могла позвать — далеко, с конца улицы — Лену, приходившую иногда поставить мне банки (стаканами). Вот тогда я *пустила* Надю!.. Жизнь прислала мне ее через бушевавший буран, укутанную по глаза. Я еле поверила, что ко мне стучат! В такую погоду! Кто пробрался через такие сугробы?

Эти глаза, светло-серые, лукаво смеялись:

— Бабушка, вы б поглядели, что на дворе! Сносит!.. А у нас все заболели, мама за градусником послала...

И пока я, на прощанье с градусником, мерила свой жар, Надя пробилась с моей запиской к соседу Павлу Петровичу, и тот обещал поколоть дров и про меня сказать, если к ним зайдет, Лене. Дров наколот, но Лена к нему не зашла, а от кашля било в голову как молотками — и тогда судьба прислала Лиду. И она, маленькая, зажав в руке конфету и записку к Лене Добрай, исчезла во вьюге.

«Пойдет домой, и все?» — грустно думала я вслед. Но вскоре ко мне постучали — и вошла Лена, румяная, веселая, шумная.

— Чья это девочка ко мне от вас приходила? Как она добралась?! Вот дети сибирские, их и вьюга не берет!

И с Леной вошла жизнь, бездна рассказов (о прошлом), помощь и обещание здоровья.

Лида, пятилетняя дикарочка, не обманула моих ожиданий, а я сегодня — *ее* ожидания...

Взрослый был бы вправе обидеться, не пусти я его, и я бы его, вздохнув, пустила. Дети, по-видимому, этим правом не обладают. Какой мне позор!

Лиде сейчас, как и Наде, шестой год. Полтора года назад она мчалась с отцом на телеге навстречу мне — я шла и несла от друзей три пиона, лелея мечту, поставив их в воду, ими украсить самодельный свой круглый

стол. «Дай светик!» — только и успела крикнуть Лида, тяня жадно ко мне обе лапки, черные ее глаза на круглом личике горели улыбкой... Как была бы я теперь счастлива, перелети тогда из моей руки в ее ручки хотя бы один из пионов! С этим было бы веселей умирать! Но я, та я, которая мне все портит и которой рабски служу, качнув головой, отвечала, как старшая: «Нельзя, деточка...» И телега умчалась, а с ней те пустые, не получившие ручки, тот ликующий восхитившийся младенческий — поруганный взгляд. (Судьба наказала: я уронила «светики» и не заметила...)

За горячие озорные глаза, черно-черные, и за то, что у всех все просила, Лиду прозвали «попрошайка», «цыганка». Но время летит, пролетает, как та телега, — Лида подросла, похудела, стихла, бархат ее «анютиных глазок» — печальней; она войдет, станет, глядит и стесняется. Она знает, что люди не любят, когда у них просят, она ждет, она плохо одета, нет у нее ничего своего, носит то сестринское, то материнское.

Как могла я это сделать сегодня, когда я уже годы мучусь о том, что я сделала очень давно, когда-то, в незапамятной молодости, в непоправимый день... Я тоже тогда сказала ребенку: «Ты мне не нужен — иди назад в хаос...» Тот был еще меньше, совсем без сил со мной спорить (назвать себя даже — «я»). И легко, уверенная в своем праве, я отняла у него жизнь, в которую он стучался. Какой невероятный позор самочинства! Я не отворила ему дверь в свой молодой дом — сыну, дочери; не дала детству погреться у моего очага, со мною. «Мне, деточка, трудно впустить тебя...» В зажженную елку, в кусты сирени, в звездное небо, в потонувший в луне сад. Для удобства тех лет я выкинула за борт его душу и тело — без возможности постучаться в двери жизни вторично. Я не открыла ребенку дверь в его дом. Единственную, в которую ему было дано постучаться! Что помогло мне справиться с немислимостью этого преступления, стряхнуть его с себя, и жить дальше десятилетия, и радоваться всему тому, что я отняла у моего ребенка, чего моя мать не отняла у меня? То узаконенное равнодушие взрослых, как я, людей — привычка к этому, повторяемому людьми, преступлению? Оправдание его, звучавшее так «праведно», как может преподать только один сатана, — что будет даже для блага этого не пущенного в мир ребенка и нужно

было, чтоб не страдал он от стесненных «условий жизни» или «трудной эпохи», — отнять у него *саму* жизнь!

Но кому я скажу все же, что сейчас плачу, оттого что Надя и Лида ушли?

И вот, как те три пиона, в которых я отказала ребенку (уроненные в ветре, не видела как), так отдых, ради которого я не открыла двум девочкам, — далек от моих глаз.

Ночь. Буря, видно, стихает... Село спит. Завтра рано постучится соседка, обещала утром молока. Мой домик, хотевший покоя, не замечает затихшей природы, он плывет по волнам тоски.

«Анютини глазки»... Я еще встречу их в Вечности Памяти, как и — те... Ничего возвратить нельзя! Но мы имеем свободу воли и потому — Правосудие. О, как хорошо, что — Есть!

И не потому ли я одна — уж который год, в одиночестве, в сугробах и зелени, не потому ли мой дом — мертв, что когда-то, когда ее во мне было так много, — я отняла у существа — жизнь...

ГЛАВА 18. РИТА. НАЧАЛО МОЕЙ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Рита с четырех лет ходила в детсад, и было там для нее наслаждение жизнью. Она верховодила, выдумывала всевозможные шалости и была в большом фаворе у воспитательницы Тамары Ивановны, веселой, хорошенькой, очень еще молодой. Они не чаяли друг в друге души. Все озорства Риты прощались, должно быть называемые «инициативностью». Однажды Рита научила подружек и друзей бегать вокруг стоявшего на тумбочке самовара, это, может быть, был некий индийский танец? Самовар свалился, был изуродован, помят (хорошо еще, что он, будучи «украшением», был холодный!). Но и это не поставили Рите серьезно в вину, хотя и отдали самовар в починку. Буйная душа билась в маленьком теле! Но и уют Рита любила. Якова Ивановича звала Кот Котович.

Как забыть первую «лотерею», устроенную мной пришедшим в гости Нине с детьми, в которой мы разыграли присланную елочную посылку? Сколько смеху

сколько радости, сколько пользы... Обувь, платья, куклы, игрушечная посуда, книги — все напоминало Диккенсовы торжества... Елки наши сибирские! В такой день я иногда, если елка была у моих, у них ночевала на тюфяке возле Нининой с Ритой кровати — для иллюзии «семьи», чтоб не идти далеко домой, в полдня не топленную избу. Да, «всюду жизнь», как в знаменитой картине Ярошенко...

Когда я начала рассказывать Рите мое детство? Лет с пяти? Трудно вспомнить. Но рассказ родился и рос органично, обратный тому, когда я выдумывала сказки. Тут все было «документально», правдиво, я воскрешала бывшее с почти педантичной точностью, это был *труд*. Он всегда происходил на ходу, по пути из села или назад в село, я умолкала на полужазе (если шла назад в их квартиру). В следующий раз кто-нибудь из нас спрашивал: «Где мы остановились?» Это был пароль. И мое детство продолжало разворачиваться, повторяться — год за годом, зима за осенью и весна после зимы, все дома, все города, все страны, все подруги, все друзья. Узнавала ли все это Рита, когда, более десятилетия спустя, она получила в подарок мою книгу «Воспоминания» (1971)? Сдержанная в каком-то разряде чувств, она мне не сказала об этом. Но рассказ мой она приняла, в пять, шесть, семь лет им прониклась. Село же наше она до сих пор вспоминает с щемящей тоской, с нежностью.

Несомненно, я тащила «за уши» Ритину душу, рождала ее еще младенчество в понимание недетских вещей. Была ли я не права? Я не знаю. Так, может быть, она из детской шагнула в романтику — как Марина и я в нашем детстве. Мы не пожалели об этом.

Так устно создавалась моя будущая книга «Воспоминания». «На чем мы остановились?» Она подсказывала. Рассказ шел дальше. Я сделала ей гамак и качала ее в углу подсолнечного поля. Золотые маленькие солнца плавилась на солнце большом.

Приехавшая к соседу-плотнику жена хлопотала у давно построенного дома возле колодца (через плетень от меня, около которого я перед приездом Риты нагородила гору бревен, таща их за один конец и нагромождая к колодцу, чтоб преградить путь ребенку. Теперь уж не свалится: на два с половиной года прибавилось ума!).

Она уже понимала, что нельзя спросить у жены моего соседа, тети Маруси, почему у нее на каждой руке всего по одному пальцу, большому, и как она костяшками отсутствующих восьми пальцев так хорошо стирает белье, печет лепешки. Она уже умела жалеть, уважать — не по-детски.

Но не раскрыла ли я насильственно душу Риты этим введением ее в наше с Мариной детство? Моими сложными сказками, символикой и героикой их? Суровым внедрением чувства долга, держания данного слова... Не было ли это раскрыванием — руками — цветка? Ее семилетняя фотография являет полураздраженное, полускорбное личико. Она уже отлично говорила по-английски, начинала читать книги. Слишком много я требовала от нее? Но ведь у души нет возраста, и если она понимала, о чем шла речь... Я так много в нее вкладывала, ей внушала... С пяти до семи лет она шла в наши походы ко мне с ночевкой, туда и назад через село на выселки, прожила со мной все наше с Мариной детство, весь почти мой будущий 1-й том «Воспоминаний» — столько переездов, стран, дружб, разлук... Она все понимала, все чувствовала — но как часто она изменяла мне, уклонялась, рвалась к безответственности грубых уличных игр со случайными девочками на их улице! Я оскорблялась. За ее душу. Преследовала ее за лень, за ложь... Сколько боли было в моих отношениях с ней — но и сколько жесткости моей, усталости, раздраженности... Нет, я не была на высоте, она не была со мной счастлива!.. И как заливалась она младенческим смехом от шуток с ней старушки Ольги Семеновны, просто любившей детей... И все-таки меня Рита любила! Ее двойственная душа ко мне тянулась. И я каялась в моей жестокости, в несправедливости... Как я радуюсь, когда уже взрослой Рита вспоминает Пихтовку, домик на Куйбышева...

В личике Риты, имевшей сходство с ее теткой Алей, Ариадной Сергеевной Эфрон, дочерью моей сестры Марины Цветаевой, выражения были другие. В больших, с тяжелыми веками, серых глазах, походивших на глаза ее отца формой и цветом, порой таилось сходство не с ним и не с Алей, а — по отчужденности взгляда — с моей сестрой Мариной. Недаром десятилетия спустя, когда Рита выросла, я, стараясь удержать прерванный пробуждением сон, часто не знала твердо,

кто мне приснился, Рита или Марина, в туманности несомненно родственного облика, в том уплывании — в себя, прочь от узнанности, свойственном им обеим... И в яви я помню один Ритин поступок, могший принадлежать детству Марины. Летом 1952 года — Рите шел пятый год — детские руки открыли дверь моего домика — и на пороге встала моя внучка.

— Ритонька, ты с мамой? Нет, мама твоя на работе, ты — с Гелей? — спросила я удивленно.

— Я одна,— сказала Рита так просто, точно не в первый раз прошла одна не менее полутора верст — своей, потом главной улицей, через длинный мост, высоко над рекой Баксой, и, свернув, пустырем к нашим выселкам.

— Одна? Как же мама тебя отпустила?! Почему не с Гелей? Что-то случилось?!

— Не случилось, мама не видела, я просто пошла и пришла. Ни собак, ни...

— И не боялась одна? Через мост — и как дорогу запомнила?!

Широкие ее глаза глядели мечтательно, отрешенно. Она уже не отвечала мне. Но она сердилась:

— Я думала, ты обрадуешься...

— Я испугалась! Как ты одна — так далеко... Ты, Рита, герой!.. Но мама тебя ищет... Она же не знает, где ты... Ты так больше не делай! Ты понимаешь? — Я искала нужные для нее сейчас слова.— Мы должны сейчас идти ее успокоить...

Рита отсутствовала. В ее лице было выполненное решение, волнение пройденного пути. В ней не умещались ни я, ни мать.

...Как часто не умещались в детстве Марины обращенные к ней слова!

Так вот отсутствовала — Марина...

Снова весна! Третья в Сибири! Опять я стою на широкой дороге перед своим домиком, нюхаю, как пес, воздух, прохладный еще и уже теплый, он пахнет землей, просыхающей от снега, земля готовится к посевам, к посадкам, она опоминается, как мы, от бесконечной зимы. Плетни, еще кое-где запорошенные снегом, высыхают и пахнут — так чудно. И как пахнет земля! Как тихо... Тихо — через ребячьи голоса, мычанье стада, бродящего по-за огородами, через собачий лай,— из всего этого и состоит тишина сельская, поглощающая

звук жизни, преображающая. Год прошел! Когда он успел? И — долгий какой год!..

Разве забыть зимние и весенние праздничные дни на кладбище, окруженном кедрами, черную фигурку худенькую — Ольги Семеновны? Всегда дети вокруг нее. Старая, а молодой голос, хорошо поет! Моя Рита так ее полюбила, затейницу! Даже когда где что не так — остановит, а сама улыбается! А ласковая... Нет, не научиться мне этой терпеливой радости! Совсем другая! И Рита ее любит даже с какой-то страстью! И все дети так — ее... Меня — нет, и рассказы мои — другие, я ими тащу Риту — вверх! Чтоб не шесть ей, а — восемь... А Ольга Семеновна с Ритой сама как ребенок, ей пять, шесть, семь — все равно, веселое детство, она в него погружается, а я все — чтоб умнела, — это все же, наверное, глупо? Ко мне Рита в четыре, в пять неохотно ходила. Веселей, бесконтрольней ей без английского языка, с озорной девчонкой соседской во дворе... Почему мне больно смотреть на нее в таком окружении? Все хочу, чтоб она понимала, думала, чувствовала, запоминала. И Рите интересно со мной, но, может быть, и — томительно?..

Ритины подруги Надя и Лида враждуют. Редко играют вместе. Надя — старше, разумнее, воспитанней. Уже в четыре года одна, как большая, приходила через широкую сибирскую улицу ко мне в гости.

Однажды, когда я в сумерки в первый год заблудилась, она вывела меня к моему домику. Надя — опрятная, беленькая, лукавоглазая. Умеет дразнить (Лиду); меня — занимать беседою. Умеет выдумывать. Рассказывая, она разводит руками, как актриса, и делает страшные глаза. Она дружит с Ритой. И блеск маленькой любительской фотографии вобрал в свое зеркало заросль хмеля по стене дома у моего входа в сени и под узким восточным окошком — их «детуголок» — столик, игрушки и два детских личика, сияющие на солнце...

А внук Гена шишкует с ребятами. Как белка, таскает кедровые орехи — грызем: еда!

Живя у леса, он натаскивал матери целый угол орехов, а в голодноватые недели перед урожаем Нина с Ритой носили в фартуках и в тряпках груды шампинь-

онов, росших на пустыре, варили шампиньонную кашу. Ими кормили они и поросят...

Спешно после работы Нина везет воз обрезков горбыля с лесопилки — ей дали коня в артели, она там первая из работниц,— спешно доделывает Басов нам крышу, в первую зиму только на две трети покрытую... И уже не чужие мальчишки, а свой внук, хмурясь и покрякивая баском на сестру, чтоб не мешалась, кидает и кидает лопатой — делает завалинку вокруг стен избы. А у восточной, где вход в сени, над их дверью — вилла курорта: по стене вьется воздушная кудрявая гушина зеленого хмеля... Из тех двух корней, с девочкой в лесу выкопанных (она научила)! Как сладко, роскошно учиться простой, дикой человеческой жизни, мимо которой жил в молодости в городах — всю зрелость! Старость распахнула объятья познанию земли, которая до сих пор только романтически замечалась. Хотя и трудилась в разруху до поту, а голодать задолго до этого своего гнезда научилась. Теперь и голодать и отъедаться научилась — иначе: теперь в обнимку с землей! А весной мне пришлось покупать задорого картошку, и не удалась и в эту зиму оконные и дверные щиты.

Радостный день, когда мне воздвигали на длинной жерди скворечник! Теперь моя изба «как у всех»! И весной прилетели грачи, поселились, вывели и учили летать птенцов. Сказка! Через год как волновалась я, прилетят ли они снова и — это уж со всеми ребяташками улицы — прилетят ли вновь *те же* грачи в наши скворечники? Щемило сердце: в мой скворечник уж вселились воробьи — выгонят их грачи, бедняжек... Но грачи выгнали их — без раздумья! А Вовка кричал громче и грачей, и воробьев: «Бабушка, *ваши* грачи! Я помню, у того черного-черного нога косая... Он! Он!..»

А с теплом пришли еще две радости: из дощечек, снятых во вторую зиму с крыши, где не было теса (для дощечек этих я полный день разламывала и корежила ящики, притащенные из села), Басов (умолила — был занят, копал людям колодцы — восьмой ему шел десяток!) сделал мне палисадничек перед окном, южным, и я там посадила цветы. Сколько было войны с курами! Сколько счастья, когда расцвели цветы... И еще: у меня настоящая лестница! Приставная! Своя. (Всю округу

избегала, вымаливая продать по дощечке, по жердочке.) Больше не таскаю чужих лестниц, еле дыша. Ягоды смогу сушить на крыше! Палочки прибиты от края крыши к трубе — вроде трапа, чтобы по ним шагать, ползти, когда будешь чистить трубу. Я не знала, что можно избушку любить, как живое существо... Может быть, я никогда не захочу выехать из нее? Ну что ж, и хорошо..

ГЛАВА 19. РИТИНА БОЛЕЗНЬ. РИТА И ОЛЬГА СЕМЕНОВНА

...Было утро, когда после благополучно закончившейся в больнице Ритиной болезни я пришла посидеть с ней еще этот денек, на завтра детврач выписал ее в детсадик. Был последний холодный предвесенний день, с ветром, хлещущим изморосью, когда мне, еще на пороге, сказала соседка, что мать уже сегодня увела девочку в детсад. А я шла! И такая погода...

— А мать шаль ей надела?

— Шаль? Нет, шали будто на ней не было... Шапка-ушанка...

— Ох, не простудилась бы...

«Может, снести ей в сад шаль? — подумала я, но тут же: — Не надо так во все вмешиваться... Ведь мать одевала ее...» Шел диалог: «Но мать молодая... Корь — коварная вещь...» — «Уж и так мать обижается, что я...» Я не понесла шаль. И как потом каялась!.. Ошибка была — моя!.. Когда надо было действовать, я рассуждала!

Смирняя тревогу за Риту, я возвращалась к себе.

...В тот же вечер (я пришла второй раз) Рита сказала:

— У меня ушко болит...

А через два часа она громко плакала, а еще через несколько срочно вызванный доктор Райт, в свое ночное дежурство придя на дом, осмотрев ребенка, сказал:

— Воспаление среднего уха... Если нарыв прорвется наружу — справимся! Ну а если внутрь, — он развел руками, — сами понимаете... — И велел утром нести Риту в больницу.

Температура была сорок. Рите было четыре года. Я осталась ночевать у Нины. Рано утром мать понесла ребенка в больницу.

Что будет? Что я отцу напишу?

Вовек не забыть следующего утра, когда, пройдя пустырями, селом, лесом, я подходила к больнице. Издалека доносился смутный — что это, крик? Женский. Он рос. Все яснее: плач, почти вой... Все во мне замерло. Кроме шага. Запинаясь о корни, сойдя с дороги, напрямик... Нина? Далеко. Не узнать. Вой рос.

Кто-то по дороге шел навстречу.

— Что это? — крикнула я, перекричать гущу ветвей, бросаясь в сторону шедшего.

Это была женщина.

— Мать, — сказала она, — умер ребенок...

— Девочка? — спросила я, казалось, одними губами.

Но она услышала.

— Мальчик! — сказала она.

...Не загладить вину перед ним, перед воем.

За радость во мне в тот миг.

* * *

К старушке моей, у кладбищенского леса живущей в уютной крошечной хатке (чуть больше домика «кошкиной мамы»), доброй простой Ольге Семеновне Рита в первый же наш поход к ней привязалась с какой-то страстью. Если бы по природе была ревнива, мне бы пришлось бороться в себе это чувство. Сколько я отдавала сил и стараний на воспитание и обучение внучки, а эта «чужая» старушка без всяких усилий обрела Ритино сердце! Одной ласковостью многоопытной своей души, одной любовью! Она ничего от ребенка не требовала, только давала. Куда было мне, с моей резкостью, усталостью, раздражением, со сложностью подхода к детству и задачам его, тягаться с этой простой душой...

ГЛАВА 19. МИША И ФЕЯ. ПЕЧЬ

С гибели песика моего Домки от собачьей чумы я жила без животных. Однажды девочки, крича и волнуясь, принесли мне большого кота, тигрового, покалеченного собаками. И я взяла беднягу.

Двенадцать дней он не ел, только пил, а в воде я

растворяла ему гомеопатические лекарства; лежал, закрыв глаза. Думала, не выживет. Но с помощью арники, силицеи (от ран, воспаления), лахезиса (от гноя) он встал и медленно, качаясь, вышел на солнце. Я перебирала в избе овощи и пошла посмотреть, *как* он; я нашла его в другой части огорода; он лежал на глине, на солнце, у колодезной ямы и сладко спал. С этого дня он стал есть, мурлыкать, ходить, прыгая на трех лапах. Имени у него не было. Ветеринар, осмотрев сломанный плечевой сустав кота, присудил ему век скакать на трех ногах. Кот в союзе с гомеопатией не послушался и вскоре стал слегка наступать на четвертую.

— Да это наш Мишка! — сказал, увидев его, мальчик с другой улицы. — Егособаки угнали!

— Ваш? — грустно сказала я.

Мальчик понял.

— Он нам не нужен, бабушка, у нас кошка! Вы его, бабушка, возьмите...

И зажили мы с Мишкой, все больше любя друг друга.

Кот был очень умен, глядел в глаза желто-зеленоватыми очами, как человек, и делал ночью вид, что покорился — лежать в ногах. Затем, решив, что я сплю, тихо-тихо (и бесшумно, и медленно) полз вдоль стены, чтобы мне лечь на живот. Видимо, он понимал, что весом своим — разбудит, и процедура укладыванья на меня, как на подушку (хоть и был мой живот худ, но все же — живот, не нога!), занимала у кота много осторожности и времени: он пытался стать невесомым...

Фея — дымчатая кошка, приходившая ко мне уж давно от своих хозяев, живущих домом, полным детей, скота и еды, здесь уж который год, — Фея сперва не признала Мишку, шипела и выла по-ведьминому. Затем смирилась и спала иногда поперек Мишки — тонким серым ковриком через его темное тигровое великолепие.

Так прошло лето. Они ныряли по густой зелени грядок, скакали — кто выше, и исчезали в соседнем огороде, где царил пестрый кот Жулик.

Помню лунную ночь. Я вышла на нечеловеческие — но и не на кошачьи! — крики, мешавшие спать, и у лесенки на сеновал стала, при голубом блеске лучей (каждый раз вновь, точно в первый, поражающей своей сказочностью луны). Мишка, сидя на одной из средних

перекладин лесенки, орал отвратительным голосом, глядя вверх. А с верхней перекладины на него, изогнувшись и прижав уши, став скорее моржом, смотрел Жулик, выражая мордой предельное негодование. В тощих деревьях, привезенных себе из лесу соседом, в воспоминание о родине, заливался — это была гордость соседа, звал слушать — самый настоящий соловей!

Лена Добрая, хозяйка — не мне чета, в Молдавии правившая большим каменным домом, хвалила меня, любовалась плодами моего трудолюбия (все летние ночи я стерегла наш с Ниной огород до свету, так как скот и спал и пасся на свободе и мог войти). Однажды я шла по огороду и всем, что попадало под руку, — палки, комья земли, веревочки, — укрепляла плетень, смотря, где может пролезть гусь или курица. Вдруг вижу: по тот бок плетня (я давно заметила, что что-то мелькает белое) ходит курица и с той же бдительностью, как я, неутомимо обходя огород снаружи, заглядывает во всякую дырочку, где ей можно пролезть. Билась я и с птицами, — повышая плетень от домашних соседских, я оплатила два воза тальника и, засунув зеленые, шумные (а потом шелестящие сухостью) прутья в верхние слои плетня огорода, получила ветром гремющий лесок, воробьев пугавший — чтоб не норовили поесть весь горох! Как хотелось деревьев! Но их не было ни одного на бывшем болоте. Пыталась выкопать и посадить ветлы, полить раз-два — нет, увяли! Тогда я стала разводить коноплю и кукурузу — за высоту. И пол-лета и осень у меня были «деревья» — нежные, гнущиеся рощи, дававшие кружевную тень. «Я в России», — думалось мне.

Однажды летом Яков Иванович удивил меня и (по закону зеркальности — неблагополучный это закон!) вызвал во мне — протест. Помогая мне где-то возле дома, где понадобились грабли, я указала ему место, где надо было их положить. К моему удивлению, он воспротивился, поясняя, что и там, куда он положил их, им — место. Тон его возмутил меня. Я вскипела:

— Будьте добры, Яков Иванович, положите туда, где я сказала!

Он возразил. Тогда я, теряя в этом вздоре терпе-

ние, часто не изменявшее мне в серьезных вещах, позволила себе недопустимым тоном крикнуть:

— Я прошу вас положить их на их место! Я решаю, где им быть!

Не забуду, как в его ответном удивлении — пожал ли он плечами? — согнув их в сразу ставшей старческой позе, он пошел выполнять мое требование. Бормотал ли он что-то в свои длинные седые усы? Как могла я себе — с ним! — позволить такое?! Где было *мое* «Feinfühlung»?

А потом пришла осень. Убранный в подполье урожай обещал сытую зиму. Но коты смотрят на овощи с сомнением: еда? И как я ни убеждала Мишку — примером! — он глядел на картошку задумчиво, предпочитал хлеб. А хлеба было так мало... Признавал и сухари. Грыз — с увлечением. А от супа, забеленного молоком, часто уходил, не доев. Зато только я, со вздохом, брала крынку и наклоняла ее двухдневное содержимое над кружкой (кружка, знал он, сейчас наклонится над его черепком), как оживал кот! Точно он учился быть котом у самого Москвина в его роли Кота в метерлинковской «Синей птице»: он прыгал — шел на задних лапах, складывал передние, ловя что-то в воздухе, кружился вокруг собственного, змеей извивавшегося хвоста и мяукал совершенно как Москвин!

Он понимал и слова. Не делая шага к крынке, я говорила: «Мише, Мише молочка...» — и он просыпался из самого сладкого тигрового сна, бежал к черепку и ждал. И еще многое он понимал и умел, чем всегда заново поражал и меня и Риту в ее у меня субботы и воскресенья — у них была упоенная дружба! Будь здесь Дуров, он бы похитил у меня Мишку — так явно он превышал умом и талантами обычные котовые мерки!

Давно сказано, что, чем глупее выдумываемое слово ласки (домашние словечки, клички), тем оно нежней. Мишка знал все свои «глупые» имена. И может быть, как и мне, слаще всего ему было слово «Мех-Мех», извращенное из Мих-Мих (Михаил). На этом нелепом имени мы с ним уносились из избы, из Сибири — в сибирскую сказку — не к самой ли Бабе Яге?!

Уже давно стало ясно, что печь моя — не бедняцкая! Пожирает слишком много дров. Сосед пожалел, согласился переложить. Шли холода, и, как два года

назад, он (как и тогда клал печь) пришел переключать ее — в самый последний срок.

Когда избушка моя наполнилась кучами кирпича, Мишка скрылся. Коты беспорядка не любят. На тигровой морде его, мелькнувшей у двери, было выражено отвращение к творящемуся. Тщетно я кис-кисала его — исчез. Назавтра я ждала печника и накануне заказала старику Басову (он был и жестянщик) духовку: будем с Михой печь... пироги!

Наставал вечер. В условленный час я должна была прийти за ней. «Знай наших!» — потрескивала будущая печь. Путь к Басову шел пустырем, затем через дорогу и — до начала села — улицей, далекий. Взошла на крыльцо, стучу. Шмыг у ног что-то: кот, темный. мурлычет! Нагибаюсь погладить — вот чудно! У Басова тоже кот на трех лапах, вот гады собаки что делают!..

— Да у тебя, Василий Иванович, не меньше кот, чем мой Мишка! — сказала я, восхищенная величиною и ласковостью кота, входя из темных сеней в избу.

— Ко-от? — удивился, раскрывая дверь, Басов. — У нас кошонка махонькая... Да это ж твой кот, своего не узнала!

— *Мой?* Ну и дела! — смеялась я, схватив Мишку в охапку. — Значит, за мной шел, как пес.

— Он, должно, решил, хозяйка переселяется, и пошел за тобой, на новое на житье...

— Ты гляди, гляди, с котом бабушка-то пришла! — удивилась хозяйка квартирная Ольга. — Ты что ж, как с собакой, с им ходишь?

Как смеялись все, как умилялась я. «Голубчик! — гладила я Мех-Меха. — Думал, я, как он, ушла из избы, заваленной кирпичами, и пошел со мной бродить по свету на трех лапах...» (На четвертую наступал только при тихой ходьбе.)

— А как сложат тебе печь — от нее кота и не выгонишь... — уютно, как кот, приговаривал Басов, вручая мне законченную духовку. — Таперича на пирог приду!..

Расплатилась, благодарила растроганно; не обманул, в срок сделал, завтра придет печник!..

Ночь — хоть глаз выколи! Где-то лают собаки... Ну как учуют кота? Посадить в духовку? Заорет, забьется... Того хуже! И побрели мы с Мишкой в покинутую избу, до которой, на мне сидючи, дошел со мной, но никакие ласки и ухищренья не убедили его, что в

такой избе ночевать — можно. Только что по черной ночи верный спутник, не дал себя убедить. Когда, силой внеся (на улице подмораживало), пустила его на пол меж кирпичей — предупреждающе зарычал, угрозой переводя звук в завыванье. Нет, под такое не заснешь! И выпустила я Мех-Меха... Дня три уж ходили мы с ним по горам разобранной печки прежней, с трепетом ожидая прихода соседа. Теперь, должно быть застыв, Мех-Мех грел меня своим мехом — бесцеремонно, знал, что не прогоню!

Перекладка печи — дело, может быть, еще более сложное, чем в первый раз; поломка кирпичей, докупанье их, страх, что не хватит... О, когда мы наконец ее затопили — с духовкой, высоким подом, когда через десять минут закипела вода — какой это был праздник!

Пришла зима. Бураны, морозы — враги избушки, затерянной в снегах... Лишний раз открыть дверь и вторую сенную — значит, не уснуть, может быть. Найдет в плохо топлennую каморку холод... Мишку я выпускать стала редко, когда выходил заодно со мной. Ящик стоял ему в уголке — и тут началось горе: возненавидел Муха ящик лютой враждой. На свежую золу было — из любопытства — вошел, обнюхал ее в первый раз и — как в пух лег в нее: думал, постель! Но когда я его согнала и, скребя золу его задними лапами, стала внушать ему ящико-вое назначение, Мишка зарычал, прынул от меня и надолго спрятался между дровами. И больно мне помнить — теперь, когда давно канула в Лету наша с Мишкой одинокая сибирская жизнь, — как глупо и жестоко — по-человечески поступала я с Мех-Мехом, насильно вгоняя в него свой здравый смысл, пренебрегая котиним, которому принесение этого гадкого ящика, видимо, представлялось барской блажью, ему, вольному сибирскому коту, — враждебной и даже — смешной... Но помню, как я возмущалась его упорством и била его, держа за шиворот в воздухе, и швыряла в угол с испачканной в пакости мордочкой. Он знал вину и молчал, но взгляд его из-за печи вижу и сейчас: изумленный и огорченный до недр, жаркий, испуганный (почти во весь глаз — зрачок). Яро облизывался... Запачкали кошачью красу! При всем уме и близости нашей знать, как я, цену дров и трудность их добывания было вне Мишкиных возможностей, и там, за печкой, исправляя

мое надругательство над его шерсткой, он, быть может, мучился смутным вопросом — почему ему запрещают прыжок в снег, сибирский, или на чердак, наконец... Зато, когда в первый раз, осторожно (и грустно) Миха вошел сам в ненавистный ящик, как я бросилась к молоку, к черепку, как ласкала сдавшегося кота и как он звонко лакал, как ходил вокруг черепка, намекая: не мало ли? — завивая радостный хвост... О, я была не одна: *Мишка* был со мной, это было не «я» — «Мы»! Да вой выюги в трубе, да огонь в печке... Как оживлял, наполнял жизнь кот! Сколько же от него было ласки...

ГЛАВА 20. ЕЩЕ ОДНА ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Ей было 5 лет, когда она его увидела в первый раз. Он был худ, черен (т. е. черноглаз и черноволос), он смеялся, и он шутил — и во всем этом было — неизъяснимое. Это было счастье, и это был страх. На это нельзя было поднять глаза, при всей ее детсадовской прославленной смелости. Ее звали — Рита. Его — Игорь.

Она стояла, опустив голову, как от солнца, — если только так опускают от солнца глаза! Ее голова с туловищем образовала прямой угол, она глядела прямо на пол. А он был актер, племянник Ермоловой, он чуть позднее нас прибыл в село и, как человек бывалый, энергичный и театральный, сразу же принялся за дело постановки спектаклей в маслозаводском клубе. На эти спектакли мы и стали ходить с Ритой: что иное может сделать для нее ее бабушка, как не дать ей лицеизреть то самое счастье, про которое говорят, что его нет на земле? Его лицеизрела Рита, теперь уж подняв глаза — на сцену. (Потому что — издалека!)

При встречах же неукоснительно опускала голову под прямым углом к телу, видя перед собой только пол. Потому что так когда-то опускала голову Психея — перед Эротом. Точно так! Хотя Рита о них не имела понятия...

А Игорь — что мог делал, Игорь, племянник Ермоловой? Он играл! Он так играл, что весь зал смеялся. А потом — так играл, что весь зал — плакал. Он делал с залом все что хотел, Игорь! И не только с залом — а с Ритой, о которой все говорили: «С этой девочкой ничего сделать нельзя!» И единственное, чего он не

знал,— это как ему поступать с пятилетней и потом с шестилетней Ритой, когда она стоит перед ним, как приговоренная, в ужасе опустив глаза! Но так когда-то стоял Эрот над стихшей перед ним Психеей. И хотя, в отличие от Риты, он знал об Эроте и Психее, но ему совсем некогда было о них думать, потому что жизнь летит сломя голову и от нее нельзя отставать. Все ведь было на нем: репетиции, режиссура, все тайны постановки, освещения, отопления, заготовка дров, конференс; и надо было сыграть так, чтобы дамы ощутили себя — девушками, а девушки — дамами, мальчики — партизанами, чтобы все начальство повскакало с мест первого ряда и хлопало бы, как мальчишки. А что могла делать пятилетняя Рита? Она только умела глядеть на сцену своими большущими глазами! И Игорь, отличив этот взгляд среди всех взглядов зала,— что мог он? Он мог только смущенно передавать мне с улыбкой контрамарки на следующий спектакль. Три? четыре? — года длилась любовь Риты к Игорю,— может, перейдя в другую сразу после его отъезда? Мне не удалось узнать по некой скрытности Риты. Она оберегала свое детское чувство ревниво, и в этом опять было сходство ее с Мариной, моей сестрой. Я узнавала себя в той же отстраняемости, как в детстве, когда была младшей, теперь, в старости, в новой мне роли — бабушки... И кошек Рита любила с той же страстностью, как Марина. Как она была счастлива в зимние визиты Феи! В немыслимый снег, когда все гудит и воет, и завтра не открыть ни сенную дверь, ни калитку о белые горы,— раздавался за окошком «кухонным» (над плитой или за дверями — как же громка она была...) Феин голос, и уж тут и дрова забудешь, и тепло, все на свете, только крючки дверные щелк-щелк; отряхивая снег в балетном прыжке, она влетала, подтверждая свое имя, сизо-серая, как вербная пушинка, легкая, как Екатерина Гельцер, веющая морозом Снегурка! И когда наставала ночь, все сыты, посуда вымыта, постель постелена, закрыты книги, лампадка потушена — ночь... как мирно, тихо — в этих буранах, в глуши — мы все трое засыпали в блаженном тепле кошачьем, в построенной на болоте избушке, после доблестного дня труда...

В феврале, совершенно неожиданно, в самые бураны начала рушиться моя печная труба; размокший от снега кирпич (на пихтовском кирпичном заводе делаемый

без песка, песок на стройку домов привозили по 1 руб. 75 коп. за килограмм) сдал, и ввиду опасности остаться без крова я пробралась через летящие белые вихри в село — заказать, умолить мне сделать железную трубу, нашла с трудом печника, одолела мороз в избе, и стало звонче гудеть в печи от новой тяги!

«Помни: февраль — уже весна: света... (март — воды, апрель — зелени)», — писала мне, утешая, сестра Лёра еще в зиму ту, у хозяев. О, какие слова! Как вновь и вновь они помогали! А мы с Мех-Мехом так свыклись, будто век жили вдвоем. Дни — светлели... А за февралем — март! Стал проситься Миша гулять: котовое право! Станет у двери, глядит на меня и мяучит. Вздохнув — не пропал бы, собаки бы не загнали, — стала его выпускать. Приходил. Как кидалась к дверям на царапанье и мяуканье! Как бросались друг к другу! Как Мишка мурлыкал! Точно орехи катал. А когда засыпал — пришепetyвал, от нежности...

Было утро. Я вышла открывать ставни. (Да, уже были скромные ставенки из горбыля!) Влезла на завалинку (внук и на эту зиму засыпал землей и дощечками ее заколачивал). Смотрю, как Миша подходит к воротам. Уйдет? Вдруг стал и смотрит на улицу. Постоял и — прыг ко мне на завалинку. Взяла на руки. Унесла в избу... запросится, все равно... отпустила! И ласкается, трется... Соскочил и уж твердо вышел на улицу, и пошел.

Его не было ни к обеду, ни к вечеру; я звала — громко, на всю улицу. Не пришел. В тоске проспала я ночь. Еще день нет его... Хожу и зову... Тишина. Еще ночь! Наутро, принеся молоко, девочка говорит:

— Серого кота какого-то убили... вроде коричневый. Не ваш, бабушка? В капкан к дяде Семену попал кроликов у него таскать наловчился...

Обух по голове!..

В тоске, горе, степени коих трудно многим людям поверить, я вхожу в дом к Семену.

— А я не знал, что твой кот... Знал бы — не тронул... — говорит Семен.

— А может, не их, дядя Семен? — Ванька, подросток, племянник.

— Покажь им... Прибил я его, в капкане... Жалко, бабушка, кабы знал — не тронул бы...

— Да я бы тебе — картошкой, за всех кроликов...

Стою, жду. И выносит Ваня за лапу, вдвойне зако-стенелого (смерть и мороз), — Мишку. Мне стыдно — и непонятно вспомнить, как я его от Вани взяла тоже за лапу (висел, твердый и неподвижный, как вещь). Как могла? Только потом уж, сказав понуро «Мой», взяла на руки и понесла; и тогда увидела, как Миша умер: лапа, попавшая в капкан, сильно вытянута, задние — в разлете (рвался... может, на мой крик!). Сколько часов так? Сколько часов так слышал мой голос... Не мог! Мордочка — будто назад рванулась: по *ней* — удар, смертный. Немного крови у рта. Глаза зажмурены. Какой холодный... На этом холодном дотла теле — шерстка Мишина — непонятна. Мех-мех...

Ваня за **недорого** выкопал в замерзшей еще земле ломом могилку — недалеко от дома, в углу овощного огорода, маленького, у плетня. Как в детстве мы хоронили птиц в Тарусе — Марина, брат Андрюша и я, — так я во что-то закутала Мишу. Чтобы не прямо в лед.

А весна наступала, как в первый раз. И Рита поднималась над своим прошлогодним ростом, как елочка подымается светлыми, шелковыми верхушечками над прошлогодним темно-зеленым мехом, колючим. Уже не голубые были, как в детстве, ее глаза большущие, а таинственно-серые, с какой-то легкой сказочной зеленью, и волосы из льняных, как у Нади, стали русые, как у Ритино отца, чуть пепельнее. И она понимала теперь многое, с ней было легко говорить, и манера ее грустить — о прошлогоднем, о Мишке, о Домке (о Домке по моему рассказу о нем — она приехала *после* него, на следующее лето), о каком-то мне неведомом коте и о псе, жившем у них без меня на Урале, — напоминала Марину и меня в детстве, в событиях невозвратно канувших. Они возрождались как во сне. Но были в ней вещи совсем нам чуждые, это были «знамения времени», с этим ничего было нельзя поделать, как ни старалась я их заменить героической романтикой, неопровержимым для нас... Мы теперь общались уже по-английски, я читала ей легкие книги, которые мне присылала Верочка Молчановская, подруга моя, по английскому языку.

...Как три года назад на широкой улице нашей, нами выстроенной, нюхала воздух, в котором слились запахи талой земли, отсыревшего под снегом плетня, пригретой у дома травки... И мычанье коров, бляенье овец, сельский концерт, любимый. Даль была в сизой дымке, как год назад...

...Я стою на маленьком лесном кладбище, окруженном кедром. Какая удивительная тишина! Такое небо, синее темной лиловой синевой, было в тот день, когда мы осматривали Неаполь...

На могилах цветут пионы. Разросся шиповник. Летают стрекозы.

Я навестила могилы знакомых, при мне тут умерших. Идя к выходу, огибаю большой свежий холм с широко разбросанной землей. Плотный крест — крупные буквы: «ПАРФЕН НИКИ...»

— А-а... Уже! Не знала...— Острая, бесплодным удивлением, боль. Знала — пошла б на похороны... Давно ли ладил рукавицы из Руслана... Скоро как! Одну оставил старуху! Двойной вздох горя. Не доносил рукавиц, Руслановых... Руслан мой, Руслан!

Как кружатся, сколько их,— стрекозы!

Кладу земной поклон. Я совершенно одна на кладбище. В кедраче — детские голоса, звонкие. Еще больше от них тишины.

Евгения Петровна, вдова его, живет одна, сдает комнату. Она стала очень стареть, глохнет. Слушая, она держит вдруг сморщившееся личико — вбок, и оттого, что не слышит, на нем застыла тоска и тупая усталость. Она улыбается виновато. Она ждет к себе какую-то племянницу, всем говорит про это: один свет в окне! Может быть, если та придет и поселится с нею, то у тетки, глухой, старой, бессильной, появится новый свет, в другом окне: всем рассказывать о своих обидах — легче, когда скажешь...

Овец у нее во дворе не видать. Ни гусей... Куры — есть. Кот шмыгнул во двор — пестрый, все тот же.

Лето без Миши! И пуст огород, зеленый, по которому не прокрадывается маленький тигр. Не остановится, подняв лапку, нюхая воздух... Ни Домки, ни Миши. Одна!

Тем жарче жду Ритиных приходов, наших все дящихся рассказов о моем детстве, наших уютных бесед перед засыпаньем при свете лампадки. А наутро — целый день с девочками-соседками, лежанье в гамаке с детской книжкой и с огромным, для нее сорванным, подсолнухом. Привычно выколупывают пальцы крупные, свежие, полосатые семечки, они похожи на — закрытые лодочки... Шумят вокруг плетня всунутые туда ветви тальника, пугают воробьев — как год назад. Но все этим летом подернуто дымкой печали, как даль: безвозвратное отсутствие Мех-Меха...

Невестка и внук разделявали мне дрова, обрабатывали мой огород, сажали на нем и себе. Они делали тяжелую работу, но и мне работы хватало. Засеяли мне целую сотку подсолнухами — выросли почти в два метра, лесок. Мы теперь растили и помидоры, и сладкие болгарские перцы. Все здесь росло очень высокое. Горох и конопля — рошицами. Достала я и вырастила кольраби (полукапуста-полубрюква) и карликовые лески фасоли, а горох трех сортов: низкий ползунок, обычный, — и сахарный. Не все вызревало — снимали перед морозами, вешала я через всю избушку, над головой — на веревочках, вниз плодами, выдернутые с корнем помидорные кусты, и круглые огоньки помидоров атели и раскалялись до спелости в засыхающей до хруста листве. Рубили, солили капусту, закапывали до марта морковь: лечение моим глазам и усиленное питание Рите — морковный сок.

Рита начинала говорить по-английски; я приводила ее к себе с ночевкой; как это было уютно! По пути продолжала рассказывать ей свое детство...

А на «Даче на Рейне» поговаривают об отъезде Капы — очень уж мучает ее климат Сибири, участились сердечные приступы. Ей шел 74-й год.

В близком будущем — говорили, будет возможность отъезда — собиралась и Тоня: скоро я останусь без них, и это трудно себе было представить...

Моя Нина тоже привыкла к ним, даже сдружилась. Однажды, по-дочернему провожая откуда-то Капу, она остановилась с ней перед большущей лужей. Капа стояла, перебирая на берегу старыми маленькими ногами в ботиках, когда Нина, присев, схватила ее, как ребенка, в охапку и, посадив себе на плечи, пошла с ней в сапогах по воде... Сколько смеху было потом, в обоюдных рассказах...

Елка! Собственно, две, как каждую нашу сибирскую зиму: одна — у меня, другая — у Нины с ребятами, — тогда я опять у них ночую: рядом с Ниной и Ритиной кроватью на матрасе впритык — уютно... Помнить, что игрушки самодельные, нам их помогает мастерить почти уже взрослый Геля, ему 16-й год! К елке я берегу полученные в посылках конфеты, а из набранных там, далеко, для нас и купленных предметов одежды, из книг присланных, игрушек для Риты я устраиваю опять «лотерею»: мы с Гелей пишем двойные билеты с номерами, честь честью кладем каждый номер на предмет, а их двойники — в мешочек, а можно и в шапку, и каждый тащит на счастье, а потом такой крик Ритин, когда ей достались большие Нинины варежки, а брату ее — кукольная посуда! Она кричала: «Неправда, мое, мое!» — а брат делал вид, что завладевает посудой, доходило почти до слез! Как она волновалась, получив братнины сандалии или когда мать надевала на палец ее летний башмачок! Зато какое блаженство и успокоение, когда наступал размен и каждый отдавал вещь, у него погостившую. Любопытна жадность ребенка; правда, это было вскоре по приезде моих ко мне. Рите было еще года четыре, когда, положив вокруг себя все сладкое, что получила в посылке, и все сладости домашнего жалобного изготовления, от нежданного изобилия и волнения она вдруг — расплакалась.

Время шло, Рита росла, все больше знала английских фраз (я не словам учила, а фразам — вопросам, ответам), и незаметно мы начинали говорить — на двух языках. Но она уставала. И, со вздохом видя ее тягу к соседским девчонкам, я, уводя ее от малограмотных, дурных навыков детей у ее жилья, плохой речи, приводила ее к себе, на Куйбышева, где звала к нам, в «Ритин садик» (он год от году рос под восточным окошком), Надю-чувашечку — умную, своеобразную, выдумыв-

вавшую небывшее (я учила ее читать, и она, в пересказах прибавляя свое, была интересна! Откуда в ней что бралось?). Это росла в маленьком теле индивидуальность! Она осуждала черноглазую подружку Лиду, а свою младшую Верочку-кубышечку учила по-своему уму-разуму, *не* с материнских слов. Иногда они играли втроем — Рита, Надя и Лида; Лида обижалась, стеснялась, не попадала в ритм. Между Ритой и Надей реял зачаток дружбы. За столиком, сколоченным Басовым, они играли, рисовали, ели. Надя сдавалась на угощение после долгого боя. Ее светлые глаза (она была старше Риты) многое уже понимали. Капризы Риты с едой — осуждала. А потом ее звали, она убегала, мы шли в дом, в уют вечера, укладыванья, продолжения бесконечной (импровизация) сказки. День кончался полутьмой, моим голосом, певшим ее любимые песни, лермонтовскую колыбельную... Спит!

Как это случилось? Что двигало мной в этой внезапной жестокости, в какой-то перемене угла зрения на Якова Ивановича? Отчего бывает, что не узнаешь себя потом в том поступке, который, происходя, кажется осмысленным, убедив в себе твою совесть?

Смутно помню я, что в то время что-то показалось неожиданным в нем и в каком-то приходе его к Капе и Тоне. Я согласилась с ними, что он повел себя — странно. Такой трогательный, добрый, невинный — и вдруг... (в чем было дело — не помню). В те же дни я обратилась к нему с предложением набить на мои стены, все же тонкие, ряды колышков (мне посоветовали), на которые затем я буду кидать замешенную с навозом глину: колышки будут крепко держать ее слой, и стена потолстеет. Так делалось. Он согласился. Проработал, должно быть, дня два. Расплачиваясь, я дала ему столько, что была уверена, что он будет доволен. Больше я не могла, не было. К моему удивлению, он выказал недовольство, даже обиделся. Я сказала, что больше не могу, что советовалась с людьми, мне сказали, что плата хорошая.

Горько он отвечал мне:

— Пусть так. Как хотите. Я с вами не рядился и требовать не могу!

Ушел обиженный. А я вместо того, чтобы устыдиться,— возмутилась. Его слова «не рядился» пока-

зались мне грубыми, не из нашего словаря. Как могла я не понять, что ими он отдавал себя на мою милость? Как могла я не почувствовать, что факт его обиды важнее любых расчетов о плате? Советов соседей! Что не они важны, а важно, чтоб он за свою работу получил столько, сколько он ожидал! Я осталась в несправедном негодовании. Не пожалела *такого* бедняка! Денег у меня не было. Но работа его у меня *оставалась*. Добавив затем свою, я получила *толщину* стен! Как могла я не обещать доплату? Так и не доплатила...

ГЛАВА 22. ОСЕНЬ. ВАСЯ. ЗИМА. ИСКУССТВО ТОПИТЬ ПЕЧЬ

Осенью в подполье обнаружались мыши — слишком серьезная угроза для овощей. Мне пришлось взять кота. Я несла его из села в мешке, чтоб не видел дороги, не убежал. Это был большой белый с рыжим кот, и звали его Вася. Боясь, что он убежит, потеряется в снегах и погибнет, я не выпускала его, как год назад Мишу. Он просился, скучал, но легко покорился затворничеству, с ящиком освоился быстро, ел кротче, чем Миша, невкусную для кота пищу. Он не отходил от нее сумрачно, как Миша (за что я тогда называла его «кушайте сами...»), и никогда ничего не трогал без спросу, даже вкусного,— Миша был тут анархичнее. В Мише вообще была гордость, стать. Он был мужествен.

Вася был сама нежность. Он ласкался лапами, как ребенок — руками; обнимал меня за шею. Мурлыкал не так громко, как Миша, но пришепetyвал, засыпая, дольше. Не полюбить Васю было нельзя, и я его полюбила. Как и Фею. Только она дольше не сдавалась, сердитей, чем на Мишу, шипела, даже била его серыми легкими лапами, но Вася понимал, что так должно быть, прощал Фее, и скоро Фея перестала злиться и лежала снова в своей любимой позе поперек Васи, сизым ковриком на его белизне с рыжими пятнами. Я зарисовала их сонный уютный ком, вздыхавший, как тесто. Горе о Мишке жило, но рядом с ним жила нежность к Васе и Фее и радость, что мыши заставили меня взять Васю, который прекратил мою горькую одинокую жизнь, превратил ее в ласку, заботы, в «беседы». С кошками и собаками говоришь не меньше, чем с человеком. Рита, не изменяя Мише, полюбила Васю. И осень и зима наши следующие

были в ожившей избе. Верно сказал девятилетний Шурка, что живет напротив: «Изба без кошки, бабушка, мертвая! Я так считаю».

Зимняя лесная дорога. Усыпана хвойными иглами — ветер сибирский рвет ветки. Иду на укол в далекую больницу села. У входа в село беленькая собачка. «На, на, на!» — я кидаю ей кусочек сахара. Она взвизгивает и, поджав хвост, уносится со всех ног. Обидела собаку — видно, подумала: я ей — камень... (Мои глаза не находят куска, — жаль: ни собаке, ни мне — затопчут...) Но вот вторая: рыжая, большая, худая. Я сперва маню, затем, невысоко взмахнув рукой, кидаю кусок. Недоверчиво косясь, она воровато подбегает, убеждается, что сахар, хватает его — и мчится от меня во всю прыть!

Иду по зачарованной тишиной дороге: на темно-зеленой хвое — тяжелый ослепительный иней; небесная синева. У входа в лес меня обгоняет третья собака — коричневая с белым, пушистая, хвост — страусовым пером. Ей летит третий обломок. Она ловко схватывает его на лету, останавливается, сгрызает и, догнав меня, бежит рядом, заигрывая и пытаясь лизнуть. Затем она вспоминает, верно, что шла по делу, и спешит вперед, но, решив, что это — невежливо? — останавливается, ждет меня. Так мы идем с ней добрую часть моего пути. Она идет гордо и весело, благодарно бежит рядом, прыгает на меня, бежит вперед, закатывая глаза, — пока я не сворачиваю к больнице.

Собака останавливается и смотрит вслед.

Настала пора наружной обмазки избы — для тепла. Холодало. О, я теперь научилась у Лены Доброй, у меня спрашивали «рецептуру», видя, что нет трещин у тех стен, где я в 52-м мазала... С каким рвением собираю я и таскаю без усталости (спину ломит — ташу, надо...) ведро за ведром конский навоз, ликуя, что — свежий! Не жалея ног, с конца улицы (глину копать не могу — 15-летний Гена или ребята соседские), и толку, заливаю водой, мешаю — глины четыре и шесть, а то и больше навоза (иногда коровьего, под коркой жидкого и вонючего), поднимаю его по всей поляне (коровий — для гладкости!) и мешу, мешу таз за тазом, руками растирая каждый комочек, чтоб «как масло» (слова Лены Доброй). И — мажу, до темноты! Темнота — что!

Мороз... Уж послезавтра покров, когда я «еле чующими» от холода руками кончаю кидать, и размазывать, и приشلепывать, и ровнять слои месива, совсем шелкового на ощупь.

...Идут соседи — жалеют меня и любят вид из избы. Да, вид! А тепла сколько несу в избу этими — от мороза отнимаются! — руками... И не чую боли в спине — жар радости! Преодоления! Одурь, опьянение... В чаду! На сегодня — кончила! О, как чуден час отдыха в избе — с ночником, за кружкой сладкого чая! Лампадка, тихо... И впереди — ночь, сон... А наутро — опять мазка. Смеси — точной пропорции — для первой и второй мазки, и глины с водой и коровьим навозом — для третьей. Надя и Лида помогают мне: я хожу с ведром и старой железкой по нашей широкой и тихой улице от дома к дому, приседая у каждой кучки конского зеленого золота — навоз нужен самый свежий — и перед огромными темными вонючими коровьими плюхами, а девочки бегают взад и вперед и кричат возбужденно-радостно: «Бабушка, вон плюха хорошая, ба-альшашая!.. Нет, не та, дальше, дальше — ага!» Или: «Ту не берите, бабушка, — корка на ней...» И провожают меня с моей добычей до самых сеней, где, как у Бабы Яги, котлы, тазы со смесями... И пока я до изнеможения мешу, они — то одна, то другая — рассказывают мне новости села.

Мешу я руками (в ногах силы нет, и смесь быстро стынет, а у меня ревматизм), и, когда я несу, сгибаясь, неполный таз на улицу, Надя или Лида открывают мне калитку, кряхтят и сочувствуют.

Они убегают домой есть, покачать своих младших, и наступает мой отдых от них. Любимое одиночество... Тяжелые шлепки месива хлопаются — надо с силой кидать, — и, пока рука их оглаживает, ровняя, мысли гостят в прошлом, в далеком прошлом: взрывы солнечных морских волн в Канне, возле Ниццы... Шварцвальдский заколдованный лес детства... Перламутр парижских утр, ослик с тележкой (молочница)... Коктебельский закат над Карадагом. И уже бежит, еще в его зареве, пересекая сибирскую улицу, Надя и кричит: «Хватит вам, бабушка! А вон еще плюха лежит...» Кончала я часто при высокой уже луне. А утром девочки снова бежали ко мне, крича про плюхи.

Борясь с опасностью потравы, пересаживая, рыхля

землю от появляющейся после поливки корки, мешающей овощу в росте; подвязывая помидоры, собирая, луща горох, бобы и фасоль и суша подсолнухи — утром раскладывая, вечером собирая их: чеснок, лук, все бобовые (на листах газет, на тряпье, мешках); к ночи убрав их в сени, спеша укутать все, что может замерзнуть (помидоры, огурцы, все нежное); проделав весь труд по срезанию ботвы с корнеплодов (одной моркови до шести мешков, часть в подполье, часть в землю до предвесенья — вынешь ее свежую, как клали!), — я оправилась только к октябрю, когда Нина еще рубит и солил капусту; я, все прибрав в избе, кончила.

И снова вечер. За кружкой сладкого чая... Трижды мытые руки не без трепета берут кусок хлеба (пахнут все-таки навозом...). Греет мое одиночество память о вечере, когда, оставив на Гелю Риту, наскоро похлебав после целого дня труда, прибежала ко мне — урвала! — помочь Нина (три версты туда и назад!) — вымесила семь ведер! Я их вмазывала уж одной ощупью, когда по улице — огоньки...

Теперь уж, как год и как два назад, каждого возчика — за полы: дров! А когда, Ниной и Гелей разделанные, я таскаю их к себе в избу и укладываю — это целая мозаика, искусство! — для сушки: сперва — на плите, догорающей, следя, чтоб не задымились, потом — между стеной и полкой, потом — им на смену другая россыпь поленьев, кладу их у печки. Чтоб ни одно полено не давало воды, которой полно, помня: 100% сухости в дровах дает 50% в количестве их надобности!.. Соседи дивились, как мало у меня идет дров.

Правда, ночи мои с половины были свежи. Утра — холодны: —3°—6°. Но ведь это и хорошо! И еще — искусство вложить в печь: крест-накрест, чтоб тяга! Спичек — мало. Разжигать научилась одной: завиток бересты, лучина, два самых сухих полена (а там — чуть сырые) — и пошел полыхать добрый «пожар» печки... А тогда трубу на три четверти закрываешь — гуденье в трубе тише, — и начинает нагреваться изба!

Зимой появились щиты — заподлицо со стеной на окне и двери. Мал запас дров, а в избушке — тепло... Если я теперь говорю, что три года жила совсем одна то огородные «деревца», то бураны — в моем домике на повороте дороги — до соседей не докричать, на широкой сибирской улице, то надо вычесть из

этих трех лет время, прожитое с Мишей и с Васей. Это теплое, мурлыкающее, полное уюта и ласки — «мы»... Когда на ночь мы с Васей, заложив на вертушках щиты, отдалив вой вьюги и холод, оставались вдвоем — как же были хороши вечера эти, с книгой, с тетрадью, письмом, хлебом и овощами, забеленными молоком.

Зима застала не мое «я» в звуке буранов в избушке, а наше с Васей, под вой вьюги, — «мы». Но во второй половине зимы Вася стал так проситься наружу, что мне пришлось уступить. С тоской и страхом снова потерять друга я открыла ему дверь сеней — в белый хаос летящих вихрей, и он исчез в нем. Грустно я вернулась в избу. Не могла спать. Убирала, прислушивалась. Нет и нет... Долго! И — вдруг! Не почудилось ли? Нет? Удар в дверь! Но не мог кот так ударить! Чем? Всем собой? Я открыла первую дверь, за второй затаилась.

— Кис-кис-кис... Ксс-ксс...

И из хаоса, воя «Бесов» пушкинских — голос:

— Мяу... Мяу...

Я рванула крючок, и из белой бури — Васин прыжок об меня снегом и шерстью, и с земли — прямо мне на плечо, и ласкается, обнимается... Я от радости чуть не заплакала — так уж к горю готовилась! И стал Вася гулять, стучать, возвращаться — как человек. Прямо с полу — взял он привычку — ловко прыгать мне сзади на шею. Но — царапал ее. И когда я, оборачиваясь: «Нельзя...» — он не прыгал, а виновато мигал, нахмурясь. Был очень послушен. Никогда не крал. Только однажды не смог удержаться: хвост сырой рыбки висел из пакета на краю стола так низко! Вася съел рыбку! И был ужасно сконфужен (неужели я не дала ему еще одну?).

Уж прогорели елки, как и год назад, и в моей избушке, и в Нининой комнате, и дважды порадовались огням ее Рита и Гена, дважды я готовила подарки, разделив присылки посылочные и украшения, бережно хранимые в коробках.

Однажды так занесло наши избы (мою и Тонину), что они почти скрылись под нанесенной насыпью. Тоню пришлось откапывать (это сделали соседские мальчишки, разделявавшие ей дрова) — дверь ее открывалась наружу, и самой бы ей не выйти никогда; моя, рукою Басова навешенная, осмотрительно открывалась вовнутрь, и я просто не выходила во все дни бурана: трудно мне было пробраться через высоту снега, который бы

стал мне в дверь падать при открыванье. Снова через снег прокопал себе путь актер Сергей Тихонович, шедший меня навестить. Расчистил лопатой вход.

ГЛАВА 23. СНОВА ВЕСНА. УПУЩЕННЫЙ ДРУГ. КОНЕЦ ВАСИ

Апрель рвался в окна. Западное, то, у которого прощался со мной год назад Миша, уже было раскрыто. Снег и тот пахнул землей, которая побежала ручьями, которая просила семян. Фея сердилась на свой живот, мешавший ей прыгать легко, как любила. Но появлялась все так же внезапно, по-феиному. Соседского кота Жулика не было уж: не вынес болезни, и хозяин, с моего разрешения, закопал его в уголке моего огорода. Теперь держал он кошку Коку, и у обеих — у нее и у Феи — родились рыжие дети. Был ли этим сконфужен Вася — не удалось понять.

...Весна! Точно такой же день был, синий, из беспредельного шатра неба, где ликовали, стрелами носясь, птицы, когда Миша в первый раз вышел лежать на солнце. За последнюю зиму он вылечил лапу, которую ветеринар назвал неизлечимой, уж не на трех скакал, а ходил по избушке в бархатной стройности поступи — и погиб в первые дни весенней свободы, не успев побегать на четырех... Капкан схватил его за то, что он не был, живя со мной, сыт. Но, прыгая через плетень, под которым он лежит в земле, летит, мяукая, Вася — и я беру его на руки, вытирая тряпкой грязные борющиеся лапы, и радуюсь! Потому что жизнь всегда сильнее смерти!

Но с некоторых пор Вася стал как-то трясти ухом, держа его набок, и был грустен. Не мог помочь себе — лапой, ни я ему. Нести в ветеринарку? В ухе ничего не было видно. Казалось, кому легче? Уже шло лето.

А потом Вася пропал. Я искала его по всей улице, заходила в дома, вспоминая судьбу Миши. Все падало из рук. Я бродила по картофельному полю, клича его, заглядывая под кусты, не лег ли где, заболев, под ботвой... в которую так рвался — умереть — Домка. Везде было пусто. Мелькали чужие кошки — не он... Я совсем одичала от горя. Шли дни. Васи не было. Погналась за пестрым котом — думала, Вася... не он!

С кем-то прощаясь у моих сибирских ворот, сделанных из прибитых к тонким жердям прутьев, я увидела за ними черного с желтым пса, извивающегося от ласковости, тщетно рвущегося пролезть через прутья.

— Нельзя, песинька,— привычно оберегая вход в огород и рассеянно, потому что договаривала с человеком, сказала я в ответ на собачью ласку, но пес не внял слову, а, восторженно взвизгнув от человеческого голоса, к нему обращенного, удвоил, удесятирил приступ на жердяные ворота.

Откуда он взялся? Я знала всех собак на отдаленной улице. Но — камнем на могилу погибшего моего щенка Домки — запрет нежности к собакам. Еще не зажила рана. И все-таки, когда сосед отошел, договорившись о каком-то огородном деле, я, не в силах оттолкнуть собачью ласку, через прутья, присев у калитки, стала ласкать визжащее от радости существо.

Розовый язык лизал мне пальцы, собачьи глаза, закатывая в игре белки, трепетали под вздрагивающими бровями. Он валялся в пыли от счастья!

Будь я одна за своим плетнем, как и он, лаской не избалованная, я впустила бы его в мое овощное царство, много ли вреда принесет собачий восторг по грядкам — с зари до зари гонишь чужих кур, гусей, ждешь овец и коров. Но у меня был кот. И я не могла впустить в тихий кошачий уют заклятого врага кошек. Два дня назад пропал мой любимец — белый с рыжим. Я искала его везде, и все меркло от страха, что погиб (разорвали собаки?). И мое отзыванье, и мой ответ на собачью ласку — было изменой интересам кота. Я еще не потеряла надежду, что Вася вернется. Слишком долго я жила, чтоб не знать, как любовь превращается в ненависть: изнемогающая от нежности к человеку собака вмиг станет хищником. А Вася мерещится мне за каждым забором и кадкой вот уже третий день... Нет!

Малодушно отвечая на с рожденья обожаемую собачью ласку, я сурово твердила: «Нельзя, песинька...» — и, как утес — волны, выдерживала мольбу убедиться в его праве на вход ко мне. Может быть, он говорил и о том, что добр, не хищник, что он — белая ворона меж собак, кошек не трогает? клялся? Интонации его взвизгов кончались взываньем. Были ли это отзвуки моих мыслей? Он обещал сторожить дом?

Пришелец не знал и других моих опасений: снова

взять собаку — повторится то, что уже было: он, после моей пищи, будет бегать к более богатым соседям на съестные запахи, шkodить, его будут гнать, грозить, что убьют... Пес не знал, что греющее, как печь, счастье дружбы зажато в горьких руках нужды.

Я гладила его, делаясь все печальней. И Вася... Нет!.. Я встала с колен, а он неистово рвался в ворота, крича, что я не вправе отнять уже было данную ласку, а с ней — корм, дом... Запрещая себе трусливое желание один раз покормить (приучить, обмануть и прогнать!), я вошла в избу, закинула щеколду, открыла тяжелую западню в полу, достала из подполья картошку и села перебирать ее. Обрывая длинные ростки, я прислушивалась, не мяучит ли Вася, не визжит ли собака тем особым тошным визгом, когда, припадая в прыжках к земле, они лают на кошку. Было тихо. Я сидела на краю западни над подпольем и обрывала ростки последней кучи картошки. Скоро уж подкапывать скороспелку... Как быстро летит время! Насколько быстрее, чем в детстве! Это вовсе не возраст, не субъективное ощущение старости — *объективность*.

Я вышла из избы. Уже совсем иначе лег свет в огороде. Тень от гороховой сквозной легкой рощицы — почти до плетня. На грядки бобов пала тень от высоких подсолнухов. С волшебных, гнущихся в ветерке кружевных «елочек» конопля пронеслась стайка воробьев, задев по стене хмель. За молодым картофельным полем, там, где было раньше болото, за сухими шелестящими кукурузами чиста, как хрусталь, даль... Как тихо... Ох! Васи — нет!

Я спешно заперла на всякий замок сени. Книгу (читать в очереди) под мышку, палку, да еще вынести картофельные отростки! Я шагнула к воротам.

Там уютно и прочно, точно у своей будки во дворе хозяина, спал черный друг. Лапы с кротко спящими в шерстке когтями отдыхали вовсю. Он мгновенно вскочил, заходил ходуном, желтые его подпалины засияли на солнышке. Отряхивая с себя недоснившийся сон, голод, жажду, он приветствовал меня всем собачьим азартом. Дождлся хозяина! И, торжествуя, с готовностью сопутствовать на край света — «понимаю, спешим» — побежал (точно годы так со мной ходил) — пышный хвост крючком, «как страусовое перо», — по дороге.

Это был средней величины пес, полудворняга, уже взрослый, с жизненным опытом, с кротостью прожитых лет. Увидев, что я остановилась (не вылить ли ему в черепок остаток супа? — Нет, ведь придет опять! *Нельзя же!*), видя меня, идущую, — он побежал, торопя — спешим! — лизнул руку и, зовя, помчался вперед.

Он бежал, отдохнувший, успокоенный обретенным жильем и службой рядом с хозяином, вдоль своего огорода, по-деловому лаял при встрече с бегущей собакой, с гусями, телятами. Он был счастлив.

Я улыбалась ему, горько стыдясь обмана, и через явь *его* чувств тянула явь моих: не бежит ли по полю белое с желтым Васи? Наперегонки бы бросились с тем черным другом защитит от черного врага... Но везде было пусто, и зной.

Булочная закрыта, хлеб еще не привезли. Я пошла дальше по делу. Друг бежал впереди, оглядываясь. Одно ухо поднято, другое висит. Кивает мне мордой пощеничьи! — уже не по возрасту, — закатывая от счастья глаза.

Я вошла в калитку, пригрозив: жди, если хочешь, но в чужой огород ни-ни!.. Вслух: «Долго тут буду, лучше не жди меня...»

Но кто-то вошел со двора — раскрыл и калитку и дверь, — и в комнату ворвался мой пес.

— Куда тебя несет? — закричала женщина, замахиываясь полотенцем. Пес выскочил, она — за ним: — По грядам полетит теперь!.. Вон отсюда! Все потопчет!..

Выбежала соседка. Убедившись, что пса не бьют, я сама, как побитый пес, вошла назад в комнату. Сердце ныло...

А когда я спустя некоторое время прошла в калитку на улицу — улица была пуста. И вот тогда сердце зануло по-настоящему... «Ну и хорошо, что ушел. Ведь взять не можешь? Найдет себе другого хозяина...»

На почте писем не было. В амбулатории было душно. Пахло лекарствами. Я вышла на крыльцо как раз в ту минуту, когда по мосткам, ведшим от почты в амбулаторию, пробежала черная собака. Нос к земле, растерянно нюхая... Мои следы?! Близорукость моя не давала уверенности, что это мой пес.

Уже не было видно собаки.

«А может быть, и не тот пес! Ты ж не уверена...» — «Да, я так близорука». Ум так привык утешать себя и

лукавить... Сердце сжало... Ну и ничего. Жизнь шла дальше. Я *упустила* друга.

Вот и все — о моем псе. Стою у калитки. Вот тут он лежал и ласкался...

— А какому-то коту дядя Семен в ухо стрельнул,— сказала мне девочка, пробегая,— ага, попал, я видела. Нет, не сегодня...

— Ну, это давно было — если Вася!..— пыталась я утешить предчувствие.

А потом прибежал Вовка:

— Бабушка, вон у соседей наших на огороде, позадь нашего, кот ваш лежит...

Синие мальчишеские глаза полны жалости.

— Белый?

— Какой-то такой не совсем, пятнами.

— С серыми? (Последняя надежда, что не Вася...)

— Ага. С желтыми вроде...— упавшим голосом:— Ваш...

На задах незнакомого огорода, на теплой июньской земле лежит неподвижно Вася, на боку, передние лапы — согнуты, на шкурке — земля.

— Катался, видно...— говорит Вовка.

Присев, не видя от слез, глажу холодную Васину шерстку.

Вовка вырыл ямку в самом конце огорода картофельного, где год назад сажали с Ниной помидоры, и туда, в глину, положили Васю. Тоже в тряпочке, как Мишу. Вовка бросал глину лопатой. Вспоминая, как он сказал, когда у них кошка пропала: «Когда кошки нет — изба мертвая...» — я шла к себе полумертвая тоже.

А у двери — Фея. Переминается с лапки на лапку, делает горб, вертит хвостом, мяучит. Ждет меня. Смотрит зелеными глазами волшебницы, трется о косяк...

ГЛАВА 24. ЛЕНА ДОБРАЯ И БАСОВ. СМЕРТЬ ЯКОВА ИВАНОВИЧА

Согнутая спина Якова Ивановича исчезала, огибая угол моего плетня. Как похудел! Как состарился... Жалость острой духотой сжала дыханье. Я выскочила за ворота. Ему вслед (услышит!):

— Яков Иванович, урожай хороший! Смогу всего вам дать, не только картошки...

Будто оглянулся? Кивнул? Почему не крикнула вслед: «Получу пособие и доплачу вам за колышки!..»? Как мне было бы легче — теперь...

Моей жизни в моем домике шел уже четвертый год. С февраля по апрель замерзала вода в колодце. И я таскала всеми посудами снег. Да, у меня был уже настоящий колодец, давно уж я получала сто рублей (до реформы 61-го года) в месяц пособия, как нетрудоспособная. Все шло на доделки, ремонты — в старой конюшенке и в углу плетне. Колодец глубиной в два метра, вспомнилось, как Басов, 72-летний, узнавал, где рыть: потребовал сковороду, с ней обходил участок; положит — и ждет, запотеет ли. Где всего скорей запотела — там стал рыть. Над отверстием сделали крышку, чтобы не утонули соседские дети. Но в воде (зачерпнешь ведром) плавали лягушки и белые черви. На следующий год я достала горбыльных обрезков, и мне обвели ими земляные стенки колодца. Это сделал сосед, он же вывел наружу помост, выше и от детей к крышке приделал замок. И теперь у овощного огорода была калитка, крючок, и была укреплена стенка плетня, через которую три года назад была потрава. У меня в доме все было в порядке, так же как и вокруг дома, еще раз сменена сырая дверь — ее все «велю», — куплена из сухого дерева и еще одним отрывом сахара и масла ото рта — обита дверь соломой и мешковиной. И оплата труда. Под западным окном — не поверишь, что бутафория, как ей радуется, придя посидеть, Сергей Тихонович — из камыша и цветного старья смастеренный «старинный диван», натуго сшитый «подушками» (шпагатом, цыганской иглой) — спинка в три полукруга (средний — выше) перед щитом окна, и Юров садится тут на затянутый в цветную тряпку камыш — как в кресле ложи; держа стакан чаю и унесясь от своих физически непосильных работ в Москву, — кейфует...

В эту зиму родился наверху мой чердак: забили досками треугольники меж разлета стропил и потолком — затишье сверху. Теперь на засыпку — смазка глиной сперва, слой земли и слой еловых игл. Сверху не пройдет в избу ни мороз, ни снег, ни вода...

В эту осень, помня, как трудно с таяньем снега, я заказала Басову то, что видела в детстве в кухне отца московского дома: «коробку»! Глубокую железную коробку, которую мне вмазали в плиту,— и теперь можно было одновременно таять снег — и варить в котелках суп и овощи...

Из снятой двери Басов выпилил мне круг, приделал на ящик, и я покрыла его присланной мне старшей сестрой Лёрой в посылке чўдной небесно-голубой клеенкой, и в моей избушке красовался круглый стол, как когда-то в Москве, в московском доме отца, в столовой в Трехпрудном. Посылки продолжались. Чего Лёра только не слала! Какой восторг был их открывать — все самое нужное, самое радостное: и абажур, и книги, и самодельные вышивки, и посуду,— как расцветали и сердце и комната! И каждый месяц — от пенсии подруга Верочка Молчановская аккуратно по сто рублей. И Лёра от своей маленькой пенсии — аккуратно, ее часть в месяц, который год! Как я благодарна им, как волнуясь, получая!

Напротив меня живет молодой эстонец Освальд, у него фотоаппарат «Любитель» — как поздно я это узнала! Он снимает мой домик за крайне скромную цену со всех четырех сторон — может, и я уеду? — а вот Васи у меня не будет на память, ни Миши, ни Домки... Как пышно цветут в Ритином саду тарусские дары Лёрины — кусты золотого шара и рыжие лилии, скоро расцветут лиловые мелкие астры на высоких кустах, а на будущий год — в первый раз розовые и красные розы на гордо поднявшемся оперении, их тоже прислала мне сестра Лёра — корешки в надрезанном ящике.

Вася *живой* заслонил мне Мишу. Но теперь он ушел, и из тьмы вышел Мишка, и оба снова со мной — в поднявшейся, как роща, памяти о них и тоске. И Рите скучно без них, когда она сидит в своем садике за столом и грызет подсолнухи... Красиво рисует буквы... Но однажды, шести с половиной лет, стоя у двери в мои сени, под разливом хмеля, она вдруг сказала — и было удивительно слушать:

— Вот и кончилось мое детство...

— Почему? — удивилась я.

Она не могла пояснить, что произошло с ней в ту минуту.

...Немного раньше этого времени влетела хохочущая Лена Добрая:

— Слыхали такое? Мне Басов делает предложение! Ты, говорит, хорошая хозяйка, а и я, кажется, хозяин неплох! Твои молодые скоро отделяться хотят, так я слышал! Так вот и складно у нас с тобой будет — твоя изба, мой труд! Тебе, как хошь, без хозяина — никак! — Она говорила и хохотала. — Хорошо придумал? Это я буду за стариком, за мужиком ухаживать, портки стирать? Угождать мужику? Мой муж сколько лет уже умер, а я — замуж пойду?

Пылавшее лицо ее, смеявшееся и гордившееся — и предложением (знай наших!), и отказом своим (знай наших вдвойне!), — было живописно вне мер — восхитительно! Это был такой час жизни, когда в жизнь врывается — Театр! И Лена, эту роль принявшая в грудь, как удар кинжала, играла ее, как Ермолова, крепостью истекающей из ее раненой жизни, еще живой, крови, безошибочно в каждом движении и интонации. И я (одна — зритель) не отрывала от нее глаз и души. Хотя с тою же страстью мне было жаль Басова, так верно выбравшего себе подругу, — другую по себе не найдет!

Совсем неожиданно, в какой-то июньский день, вбежала к невестке моей бывшая актриса Ванда. Лицо ее было искажено горем, под глазами — тени. «Она худеет, как Яков Иванович!» — подумалось мне.

— Умер! — закричала она, бросая на стул шаль, которую сдернула с головы. — Яков Иванович! Сегодня, в больнице! От заворота кишок! Наверно, поел плотно, где-нибудь накормили... Завтра похороны! Вот бедняга, вот бедняга... И никого у него нет на всем свете, кто бы его пожалел...

Не скажи Ванда этих последних слов, я бы, как она, погрузилась в безутешность ее страшной вести. Но сила удара *этим* словами, ослабев, устремилась к тому, в чем *было* это утешение: ей, ей, той единственной, которую он звал Друг, — *ей* сообщить горькую весть, написать ей, как он ее вспоминал! Я шла к Тоне и Капе, еле видя от слез дорогу, но была светлая утешенность в душе.

Право, в глубину от широкой, почти сровнявшейся

могилы Парфена Никитича вырыта яма. Тут ляжет Яков Иванович. Он лежит еще между нас, в открытом гробу. Это он? Неузнаваем от тяжелой смерти. Не знаем, как умирал, ничего не знаем. Он лежит — каким никогда мы не знали его: спокойный и строгий, успокоенный на веки веков, ни о чем не тужит, ни над чем не старается, никто никогда уже его не обидит — это все отошло — назад. Строго, почти гордо лицо — не его. Куда делась веселая сперва, потом одряхлевшая мягкость черт? Лежит вельможа. Худой, торжественный остов горбоносого лица, слегка лишь напоминающий то, живое, теперь отстранившееся, над нами поднявшееся, хотя лежит почти у земли. Он все знает уже! Перестрадал столько, насколько изменился. Как бела рубашечка, смертная! Почти наряжен. Еще с нами, но он уходит! Вот он какой был, а мы... И почти уже не точит боль, его увидав, боль, что вчера еще... — о моем грехе перед ним — деньги, тогда недоданные, — так далек он от нас, так высок, так повелителен к нам, в тайне смерти.

ГЛАВА 25. МОЙ ОЧАГ РУШИТСЯ. ПРОЩАНИЕ С ФЕЕЙ. НОВЫЙ ОЧАГ

Был конец лета. В полутора верстах от моей избушки, в самом селе, близ артели «Северный луч», там, где в пимокатной работала Нина, была ее, артелью ей данная комната. До той поры за моей внучкой Ритой в детсад ходил ее брат. Он через лесок приводил ее — уже три года — домой. Мать их, как и все работники артели, работала то на посевной, то на уборочной, и она приходила к детям не ранее девяти-десяти часов вечера. Я проводила у них вечер и возвращалась к себе в темноте, мимо канав, полных воды; фонарей на моем пути не было.

Это было трудно, но возможно. Так шло почти три года. Но однажды Гена, перед началом ученья, пришел из школы с новым расписанием, лишившим его возможности заходить за сестрой в детсад. Я стала перед дилеммой: или пускать девочку одну через лес, подетски небрежно укутанную, в морозы и вьюгу, и где будет она до матери — одна среди чужих? Или ежедневно ходить за ней в детсад и до ночи быть в полутора

верстах от своей избушки, без возможности ее протопить вторично (многие тогда в сибирской деревне топили и по три раза в день) и ложиться в холодной избе (на ночь топить соседи бы не разрешили, слишком велика опасность пожара без пожарной команды), — долго ли выдержу я такое сама? А если слягу, тогда что? Ребенок — брошен? И была еще одна невозможность: по пути из детсада к жилью невестки ежедневно под вечер мчался на водопой к реке целый табун коней: ребенка бы смяли — вмиг. Вопрос ясен: мне надо продать избушку (такую маленькую, но кто ее купит? А если — да, то за такие деньги? Разве я смогу купить другую, куда бы забрать невестку с детьми, жить вместе возле артели?).

Стою над сладко запахшими к ночи маленькими лиловыми цветиками — как крепкие духи вокруг дома, — думаю. Нет выхода! Продавать дом!.. И искать что-то вблизи Риты, вблизи Нининой работы. Перетащить их туда, жить семьей... А дверь дома скрипит: «Останься, на кого ты нас...» Конопля кланяются... Фея стоит на пороге, вопросительно смотрит. Сердце — на части! Надо уехать... Но где взять денег на больший дом? Надо — и негде. К ночи — череп на части!

Положение было безвыходное. Я написала о нем всем, кто мог посочувствовать, посоветовать. Помочь же не мог — никто: все близкие и друзья жили трудно, еле сводя концы с концами.

Год ли прошел? Кто вспомнит? После рассказа Лены о предложении ей Басова Василия Ивановича, одиноко жившего на квартире, куда я тогда пришла к нему за духовкой с Мишкой, его разбил паралич. Сын приехал за ним и увез его в город — в самый разъезд. Спустя год — не ошибаюсь? — смутно пошла весть о его смерти...

...Кое-кто ведет переговоры с близкими об отъезде, но так страшно тронуться в гадательный путь с трудностью поселиться где хочешь. Скоро, скоро отнимется у меня радость дружбы с Тоней — Капа не в силах переносить сибирскую зиму, едет в Ташкент, тут прожив у сестры три года. Да и Тоня скоро, верно, сможет уехать.

Шел август. 1 сентября начиналось ученье. Я запомнила 28 августа, памятный день, перед началом ученья. Это число в семье нашей всегда проводилось вместе.

Мать любила его. И в моем отчаянье я убедилась: в этот день мне должно прийти что-то! Медленно поползло время в труде и тревоге.

Словно напоминая мне о скором будущем, выпадали то дождливые, то холодные дни, и сердце сжималось тоской о том, что нет выхода, жизнь не может предложить ничего, что бы вывело меня из настоящих тисков: ребенок будет предоставлен на волю случая и опасности. Зрелище скачущих по дороге коней, от которых шарахались прохожие... Вид моста, где вместо перил была протянута толстая жердь, укрепленная лишь изредка поперечиной, над глубоко внизу текущей речкой. Уж темневший лес по пути из детского сада в село, где в метель сбиться — одна минута. Ни мать, ни брат помочь не могут. Одна я. А что я смогу, если, как два года назад, слягу в плеврите? А ведь плеврит начался в избе протопленной, ни в одну из зим я не ложилась спать в холодной, да и никто не жил, не топя, — а придется! Как обеспечу я внучке безопасность, присмотр, своевременный отход ко сну (вставать в детсад ей — рано...) — еду, наконец? Приходили письма — сочувствие живое и теплое. Кто-то в письме советовал запереть мою избушку и перебраться на зиму к невестке. Увы! Ласковые, убеждающие слова были потрачены даром: разве дело было в том, что нелегко жить не у себя, в тесноте? Мое подполье было набито картошкой — мешок за мешком спустили мы туда с невесткой и внуком весь плод моего огорода, надежду сытости семье на целый год (у них огородик был мал, плох, внук отсюда таскал по ведру). В подполье много моркови (я терла ее и носила внучке сок). Кочаны капусты висят великаньим ожерельем вокруг всей внутренней завалинки. Вместо помощи семье стать нахлебником, погубив урожай? Я сложила письмо. Глаза были сухи. Лучше бы плакать... Отчаянье было немое. «В тесноте...» Кабы так! Но невестка с детьми жила в проходной комнате, мать и дочь спали вместе. Внук — на узеньком топчанчике. Оставался проход между ними, проход к соседке. Если б и была раскладушка, ее было бы разложить — где.

Первое сентября близилось. Все валилось из рук. Погода стояла тихая, жаркая. Было 27 августа. До начала ученья оставалось пять дней. У огородной калитки, закончив свой день труда, еле чуя ноги и руки,

бесцельно глядя туда, где маленькая — не больше муравья — точка двигалась через пустыри, минутной стрелкой незримо ползя, пересекая пространство. Муравей теперь уже был с божью коровку. Удлиняясь, росла, превращалась в очертанье человека. Идет к нашим выселкам. К кому-то... Надо идти домой! Я повернулась — и в тот же миг раздался далекий крик. «Бабушка!! Те-ле-грамма!..» — кричал женский голос, и над головой подходившей в воздухе полыхало заходящим солнцем что-то похожее на крыло мотылька — загоралось рыжим и тотчас потухало серым, и опять, и опять... уже видно было очертанье бумажки. «Не волноваться... — сказала я себе, — и ничего не ждать! Просто — кто-то высылает посылочку — детские платица, угощение ребятам!»

И я пошла навстречу почтальонше. Но ее лицо расцветало при каждом шаге.

— Тыщу тебе шлют, ба-буш-ка! — уже не кричала, а говорила она. — Сестра, должно, подпись на ту же фамилию!..

Смуглое худое лицо ее было освещено закатом и — счастьем! За *другого* счастьем! Она несла человеку чудо, в первый раз в своей рабочей жизни, в первый, в единственный! Она никогда не узнает, что была в эту минуту — красива! Как в свой свадебный час... Запыхавшись, она протягивала мне телеграмму.

— Завтра, как встанешь, сразу иди на почту! А оттуда, как деньги получишь, — ни в магазин, никуда — в сберкассу! Сельсовет пройдешь — и пекарню. И рядом с пекарней — сберкасса... Книжку тебе там заведут — и береги ее, по книжке тебе выдавать будут, на что тебе надо...

Она мне была — как дочь сейчас! Но, может быть, у нее была дочка, как у меня внучка Рита, и что мелочи в кошельке у меня было, я все сыпала ей в руку, которую она было отдернула, за спину спрятала, но я обняла ее, и мы смеялись и плакали обе, и я радовалась, что в этот вечер она высыплет на обеденный стол — конфет! И расскажет детям своим про волшебную телеграмму...

Она уходила, а я смотрела ей вслед, пока она вернулась за угол плетня, и, сжав чудо в руке, пошла в дом.

Щедра была жизнь: увлекшись идеей сберкассы, заботой о бабушке, почтальонша ушла, не заставив прощенья при себе текст. Он был нацело мой.

Я развернула на почте распечатанную телеграмму: «Шлю тысячу задаток избу селе остальное почтой Цветкова». Зоя! Друг с 32-го года! (Ее фамилию, с моей сходную, приняли за искаженье моей!) Господи! И это — не сказка?

Как я прожила этот день? Как дожила до 28-го? Что снилось мне в эту ночь?

На другой день на почте мне улыбались, расспрашивали, поздравляли. Из сберкассы я прошла к невестке, в артель. Она вышла ко мне в пимокатном цехе — в майке, пот струился по ней.

— Нина! Переедешь ко мне с ребятами, если куплю в селе другую избу? — Я рассказала про телеграмму.

— Перееду! — просто отвечала невестка. — Только одна не покупайте, с понимающим человеком надо!

— Ну, еще бы... Будем вместе смотреть! Только найти бы!

— Теперь многие уезжают, найдем... Прораба позвать, пусть все осмотрит...

— Письма подождем, обо всем — в письме! Мою избушку продать нелегко — наспех...

Ее звали. Я шла по селу, глядя на избы, не чуя ног под собой.

Я стою на поляне, на нее выходит знакомый участок: тут я бывала в гостях у трех женщин, со мною приехавших в село тому назад годы. Сложившись, они купили эту большую избу и, недавно уехав, продали ее, говорят, каким-то старушкам. Стою, люблюсь, дивлюсь. Жившая тут Светлана ткнула в землю тополиные прутики — пять лет назад. Вымахали выше крыши, шумят тополя! Да, удачно они купили тогда — изба теплая и большая.

Моя перед ней — ребенок... Иду дальше, смотрю, мысленно прицениваюсь, пугливо... «Остальное — почтой...» Чтоб купить семейную избу, мне надо к богданной тысяче прибавить неплохую цену за мою кроху... Кто даст? Но в такой день мрак не идет в душу! Раз чудо началось — то продлится! И я — куплю! Переедем все — и я буду с Ритой! Кончены хождения по темноте мимо ям, полных водой, кончен страх за ребенка, я буду возле нее, не страшны кони с их водопоем, ни лес, ни мост!

И когда меня вдруг схватывает за сердце расставанье с моей избушкой — даже это, даже эта сплош-

ная — насквозь! — боль сегодня какая-то светлая — точно во всем сейчас рай.

На обратном пути, идя мимо избы с тополями, я увидела на пороге — старушку. Вспомнила: а ведь эти три сестры — староверки! Они купили избу!

Но день этот — не простой день: они *продают* избу, уезжают... Дрожа от волнения, вхожу во двор, в сени. Нет, не может быть! Такую избу не поднять!.. Три старушки и я, четвертая. И творится непонятное волшебство.

Бледные глазки младшей смотрят в мои незряче. «За сколько? А это уж как старшая наша сестрица Хеония скажет!» И зоркий серый взгляд средней, провожая идущую по избе третью: «Это уж как сестрица Хеония решит...» — «Заходите! Тысячи коло трех... Дом крепкой, продухи в землю вросли, теплой. Русская печь, сами видите (младшая)». — «А размер — 20 метров изба! (средняя). Притом же — стайка и сени...» — «Колодец пять метров рубленой (младшая), а земли огородной семнадцать соток, богатство!» — «А кустов смородинных тридцать два куста! (средняя)». — «А задумала сестрица Хеония на родину ехать, стало быть, продаем...»

Жарко мне стало, даже пить захотелось! Чуть было не попросила — вовремя удержалась: дать-то дадут, да потом, по своему закону староверскому, будут мыть-отмывать чашку чужого питья...

Я иду Первомайской улицей, а в глазах — все сразу: изба трехконная, печь, как домашний божок, посередине, и колодец, и смородинный лесок перед домом... А Светланины тополя шумят круглым шелестом — так до самой почты дошла. А на почте заказное письмо: легким, молодым почерком, свободным и своевольным, Зоино письмо. Цветковское, шелестит листами. И читаю я его — как в бреду: «Шлю Вам тысячу телеграфом, а две тысячи — почтой. Торопитесь подыскать дом. Вам, обдумала, нет другого выхода, Ася, как купить дом в селе и перевезти к себе невестку с детьми... Деньги я выиграла и считаю грехом их оставить в семье, где все дочери и мужья их работают. Разделила тем, кто в них нуждается. На Вашу долю — три тысячи».

Письмо это я получила 28 августа, в наш памятный семейный день.

...Первого сентября начиналось в школе ученье, первый день нового расписания внука.

29 августа я подписала со старушками-староверками договор. У них уже было все готово к отъезду — так торопились на родину, и первого утром они выехали, а Нина с детьми вечером въехали в дом.

Моя последняя ночь в моем доме! С памятью о моих дорогих дружках, зарытых в земле, покидаемой: Домка, Мишка, Вася. И Чернобурик... Моя последняя ночь!

День прошел. Сколько вещей связано, перетаскано... Это все увезет артельская лошадь.

В узелок — последний скарб. Почти вечер. Надо спешить... Острым взглядом — все: *чтоб запомнить!* Глажу дверь, щекой о нее — как о мои ноги Фея. Выхожу. Знобит.

За далеким лесом — сизая мгла. Первые огоньки в селе... Какой торжественный час жизни! И как страшно — одной.

Закрываю замок, ключ занесу соседу. Гляжу на конец огорода — болота, мной поднятого. Двадцать две культуры тут у меня жили! Прощайте, пустые грядки! Вспоминайте меня по весне! (Розы мои, зацветете?) Я шагнула, а Фея за мной, из сеней... Прощайте, Вася, Мех-Мех, прощай, Домонька!.. Одни остаетесь, в земле... У х о ж у! А навстречу, в ветре, — кланяются гибко конопляные «елочки», *прощаются!* Это было так потрясающе, молчаливое их мне «прощай» и поклоны, что я, узел бросив, погладив их ветки двумя руками, схватила, прижав к себе, Фею и побежала, спотыкаясь обо что-то. Длительное прощанье — не могла. Прочь!

Вот что вспомнилось — о моей целине...

...Говорят, нет чудес? Тракторист МТС, бедняк, эстонец Лемберт Йохеллес покупает мой дом. Дает за мой дом — больше не может (стоил мне с доделками, с оградой и огородом, за годы — 4500) — 1700. Единственный покупатель! Что делать? Деньги платит частями, а часть — мукой. Совал деньги в руку на улице, расписки не брал. Не понимал: «Расписка? Зачем? Я дал — вы взяли...» Эстонец! Жену его зовут как-то Зайка, Вайка? Двухлетняя дочка. Он их выпишет! Он прирубит вторую комнату... Ему еще долго не удастся уехать отсюда. По рукам!

Как во сне, перевезла свои вещи. Фея от меня не

отходит. В далеком селе огоньки загорелись,— Фея терлась у ног, понимала, ластилась, провожала, помнила, как и я,— все... И тогда я, поцеловав ее, спустила на землю, она побежала за мной — в первый раз! — никогда до тех пор не бежала! По октябрьской траве, уж подмерзшей, и не Феиными прыжками, веселыми, а побегом беды. И долго, как, должно быть, бежал на трех лапах, «перебираясь» к Басову, Мишка мой, тогда невидимый спутник, по осенней черной ночи. И мне пришлось изобразить гонящего — топтать ногой о дорогу, замахиваться на Фею, делать вид, что нагибаюсь, бросаю в нее землей... Чтобы шла домой. Чтобы не украсть друга,— пока она, остановясь в недоумении, смотрела на меня и не двигалась...

Я пришла еще раз по делам к соседу, но его не застала и добрела по пустой осенней улице (четыре года — *моей!*) к Дусе, Феиной хозяйке. «Глядите, глядите, как бабушку узнаёт!» — крикнула Дуся, синеглазая, когда-то красotka, желтая от болезни печени, вышедшая меня встретить,— меж поднявшегося леска белых гусиных шей, качавших янтарные клювы, перекрикивавшие хозяйку. Потому что Фея, меня увидев, прыгнула на перила крыльца и уж готовилась с них — мне на шею: уж пружинилась! Когда же я стала прощаться с ее хозяйкой, побежала она первая к двери, побежала за мной по такой грязи — дымчатым привидением. У соседа Кока кричала истошным голосом — он с женой только что уехал, а поселившиеся в его доме люди кошку его не пускали. Увидев меня (до тех пор меня не замечавшая), она узнала и удвоила крик.

— Еще раз *приду*,— сказала я ей,— и если тебя тогда еще никто не возьмет, я тебя *заберу*, Кока!

Путь шел мимо моего бывшего домика, ветер трепал еще не облетевший у двери хмель. Фея остановилась. Затем, удивясь, что иду мимо, забежала вперед, прыгнула через плетень и, танцуя у двери, стала мяукать, звать: *д о м о й же!*.. Сжав сердце и память, я понесла ее назад, в ее дом.

Г Л А В А 26. ВТОРОЙ ДОМ. КУТОРКИ

Мы теперь живем у самого леса хвойного, в противоположном конце села, на Первомайской улице.

Рядом с нами живет украинец с семьей, из Полта-

вы,— жена и три дочки, родившиеся все уже после отъезда с родины. Дальше — врач и медсестра, соединившие свои жизни, у нее дочка — моложе Риты — тоже Рита! Две Риты! Ходят в один детсад. Напротив — семья из Западной Украины. Жарко и быстро построил он дом, ожидая жену и красавицу дочку трех лет (тезку мою, Асю). Работал на двух работах, все впроголодь, потому что все слал им и достраивал дом, и как счастлив и горд был встретить своих в срубленном своими руками доме! А налево от нас — семья, здесь давно живущая, как и все тут крестьянские семьи. Эти уже обжились — корова, хозяйство,— и жадность уже замечается...

Дом, таким чудом доставшийся нам на выигрыш моей героически-доброй подруги З. М. Цветковой, куплен мною за две с половиной тысячи, а полтысячи ушло на ремонт: сжали кое-где выпиравшие бревна стойками на винтах, подправили крышу, подняли четвертое окошко (на запад). «Тридцать лет еще простоит!» — сказал прораб. Перед окнами южными — три тополя (выше крыши — Светланины). А у Риты — это же рай! — тридцать два куста смородины и малины...

Дом — широкий, вросший в землю, без продухов, жаркий! Большое подполье. Но, увы, в нем «куторки» (сибирские — мыши? крысы?). Я так и не увидела ни одной, но сколько горя они принесли! Как избежала от них гибели Тонино наследство мне — кошка Жанна? (С Тоней прощались наспех, в разгар моего переезда. Возвращается в свой Ташкент.) Но Жанна ушла — и не вернулась. Может, искала путь на старое место? Я еще при соседе там, на улице Куйбышева, взяла котенка от его Коки — трехцветного Барсучка. Трехцветных котов, по общему убеждению, не бывает — только кошки. Но Барсучок был белый, серый и рыжий, красавец и весельчак. И когда я, сходяв на старое место, забрала оставленную моим бывшим соседом Коку, мать Барсучка, возле «чужого» (родного ей) дома, куда ее новые хозяйка так и не пустили, плакавшую на свою судьбу, и принесла ее к нам, то Барсучок потянулся к матери, от которой был взят дней за 10—15. А мать его не признала: зашипела и завывала угрожающе. Барсучок (и мы за него) огорчился. Но он не мирился с такой неестественностью, продолжал ласкаться о мать, и однажды мы

увидели спящую Коку, обнявшую лапами сына. Я зарисовала их, сонных. Мы — Рита и я — радовались кошачьей семье (они играли и нежились). И вот заболела Кока: перестала есть, лежала; потом с ней сделались судороги, и пришла смерть. Барсучок резвился, но через несколько дней слег и он, проболел точно так же, как мать,— и умер. Мы с Ритой зарыли его в углу палисадника, возле матери. Печально вернулись в пустой дом.

— Это от куторок! — говорили соседи.

— Теперь мыши одолеют! — сказала Нина и принесла кроху кошечку, пушистую, белую с серым, тут же наименованную Мяушкой за женственно жалобный голосок.

Будем зорко следить, чтобы не скользнула в подполье. Но дух же кошкин куторки учуют... Росла. Носилась с кровати на стену, повисала когтями на Ритиных картинках, с разбегу прыгала на нас и кувыркалась. Мы с Ритой, и Нина, и Гена — берегли ее от подполья. Но от подполья как уберечь! Постоянно открываешь западню (крышку — доставать картошку, и наши грубые руки не могли поспеть за восторженной любознательностью кисы. И хоть мы понесли ее к ветфельдшеру, Мяушка погибла точно такой же смертью, как Кока и Барсучок. Долго не хотели мы кошек!

Спешка и суета переезда, горе от куторок, новизна жизни в большом доме с Ритой, в семье сына, посылки от сына, волнение от так внезапно изменившегося всего вокруг; знакомство с соседями, постоянное любованье добротностью владения (широко разлившийся за домом огород с «настоящим» забором, невероятность обладанья пятиметровым рубленным колодцем, уют совместности с Ритой, с утра до вечера английский разговор с ней и спокойствие за нее при моем присмотре) — все это не сразу дало осознать, что со мною, внутри, происходит: оно проступало как бы пятнами на стене, как бы неясно звучащей минорной мелодией — в шуме вожделенных тополей, широко шелестящих над крышей, еле намечающейся сединой печали у ягодных великолепных кустов, где, сияя, паслась Рита (после жалких «Ритиных садиков» у меня на улице Куйбышева...). Но в какой-то час, ночной может быть, я поняла вдруг во всей несомненности, что я тоскую — и как! — по моему домику, по моей жалобной крошке, любимой,

четыре года из ничего появившейся на пустыре, мною рожденной, где столько счастья и столько горя незабываемо пережито!

И в этом семилетняя Рита понимала меня с полуслова, со взгляда — родное мое дитя!

Вспоминать — было у Риты тем свойством, которое роднило ее с Марининым и моим детством. А ее третий год длившаяся любовь к племяннику Ермоловой — как сходно было с моей к репетитору брата, студенту Ласточкину!

(Прошли десятилетия — сколько городов, поездов, людей, домов, — ей все виделся наш домик на Куйбышева, и с ней долго шла мечта поехать в то наше село, уже во мне погасающее, но живое в детской памяти...)

Но не только тоска моя еще была в том, что порвалась моя связь с землей, кончилась радость и страсть выращивать, охранять, собирать урожай, особенно трудный в дни копки картошки, срезания кочанов, засолки капусты... Все делалось теперь не моими заботами и тревогами, *ушел трепет общенья с землей!* Все шло складно, как надо, без надрывания сил — но из дней ушло волшебство растущего познаванья, слиянья, овладеванья... Огород, тайнами коего я дышала все эти годы, отступил от меня, как отступает что-то во сне, — хотя кругом была явь, трезвая и полезная. И в часы, когда Рита была в детсаду, Нина — на работе, Гена — в школе и я одна оставалась в доме, и я ощущала себя непонятно постаревшей, отстраненною, не у дел и бродила по дому как неприкаянная — в неожиданной и ненужной мне праздности...

Куда же канули часы моего счастья — в труде над моим огородом?

Я огороду оказалась ненужной. Кончился *труд* мой... Другие руки трудятся — и в совсем другой усталости, чем восхищенная и бредовая — моя... Не моей любовной заботой вырастут по весне конопляные «елочки», зашелестят заросли кукурузы... Кончилась моя волшебная, одинокая жизнь — с разноцветной зеленью огорода, поэзия ушла из дней! *Полез*а вошла в дом, безлюбовная проза... Я отодвинута опять к книгам... Это моя старость пришла!

Это правда не сказка? Уезжают? Все переменялось. Вечная ссылка кончилась. Справа от нас, недалеко

по улице Первомайской наш сосед, молодой украинец Полтава, уезжает к матери на Украину. Сияет! Дом, им выстроенный, продал — дешево, распродал все: птицу, корову, хозинвентарь разбросал по соседям — «домой еду!».

Старшие из трех его маленьких дочек прощались с детьми соседскими, радостные — к бабушке едут! У бабушки — сад, сливы, вишни... Оставшиеся — кто с завистью, может быть, кто с сердечным сочувствием глядели вслед...

ГЛАВА 27. ПОЛИНА. ВИТЯ. ЕЩЕ ОДНА ЗИМА. СВИН

Однажды на почте, увидев у стоявшей там женщины книгу о помидорах, я разговорилась с ней. На мой вопрос отозвалась охотно, весело, и мы выходили вместе, обе повеселев. Худенькая, пожилая, в необычайно широко раскрытых и необычайно ярко горевших глазах сверкало такое доброжелательство, такая жажда общения, такая легкость вхождения в другую жизнь и такая молодость восприятия, такая страсть повернуться — ах, и на эту еще? тему, что мне как ветром волосы ото лба сняло — через четверть часа пути с ней уж не меньше десятилетия с плеч. Десятилетия!..

Как девчонки, мы шли с ней, перейдя с выращиванья помидоров на все огородное дело, с него — на природу, на детей, на детское воспитанье... Удивительно было во всем этом — наши взгляды, и не они, а манера отношения к вещам! Эта легкость зажечься от схваченного на лету слова, от упоминанья о чем-то, о ком-то! Чувство дружества ко всем явлениям, с которыми сшибал день; ее желанье учиться английскому. Новизна жизни не в городе (линотипистка в «Гудке»), открыванье новизны увлекательных тем, где другие вешают нос! Да как же я до сих пор жила во всем этом — одна? Без нее, сияющей, отдающей себя в помощь любому! Ее воспитание внука (ему пятый год) было мне о Рите — мечтой. Страсть к музыке. Рояля нет? Она будет учить Витю на мандолине (играет один человек, она умолит его давать ребенку уроки!). Помидорами оплатит! Каждый ее помидор — великан! Идем, счастливые, в каком-то ветру юности, — а шаг моей спутницы — легкий, как у цыганки, но те ступнями стелются. А в

этом шаге есть отроческая взлетность — от избытка сил! Она — бабушка? Я смеюсь, как давно не смеялась. Да, с ней живет внук! Дочь учится и ей переслала мальчика. Витя, Рита — еще до того как дети наших детей встретились, в них и о них перекликнулись два человеческих опыта, две убежденности: закалка воли. Закалка тела (обтирание, обливание, хождение босиком). Одна из основ питания — овес. Важность воздуха. Важность сна (сон на воздухе). Бабушка Вити это осуществляет: ее внук спит днем в снях, на морозе. (Важно следить, чтоб не раскрывал рта, дышал носом!) Бабы злословили: заморозить хочет ребенка! Можно жить без денег, если своими руками поднять целину! Как я! Капуста, морковь без химикалий, один фосфор и бережная обработка каждой горстки земли. Помидоры вдвое, втрое больше обычных. Часть пола ее пока еще земляная, ничего, к зиме наложит там досок, понемногу их достает. В избе пока — ничего: топчан и стол. Не важно! Разве в годы после тех лет, когда фашисты жгли в печах толпы людей, можно думать о неудобствах жизни? «Говорите, заморозили помидоры? Научу, приду, покажу, сделаю!..» И вот уже мы в нашей избе, знакомлю с Ниной, и вот уж беседа взасос, смех, радость, и вот уж убегает она, сказав, где живет, — через десять минут надо подымать внука, живет по режиму — разве можно ребенку жить кое-как? И исчезла, наполнив нас радостью бытия! Имя осталось: Полина!

Пришла зима. Так мелко, что целые стены снега! Нина и Геля разгребали, чтоб хоть как-нибудь пройти. А он валит и валит. Был вечер. Нина шла за ворота — к дровам, что ли? Видит — справа — холмик. Не было! Что такое? Остановилась. Шагнула в снег всем валенком, наклонилась. Подозрение ее взяло! Копнула. А потом как закричит: «Генка!» И пошла разгребать, и разгребла — человека! Пьяный. С ее работы парень. Мать на соседней улице живет. К ней ли шел? Гена вышел на зов Нины, и вдвоем с Ниной поволокли парня до матери. Ох, не выйди она за ворота — и не встать бы ему никогда, не спасла бы и водка — пролежать ночь в такой пуховой постели...

Человека спасти удалось! А гибель кошек в нашем доме продолжалась. Нина снова принесла кошку! Тиг-

ровую. Жила, росла, свыклась с нами, мы уже успокоились. Какое же горе было, когда мы увидели нашу тигровочку, вылезаящую из подполья! Вскоре она заболела: не ела, глядела в одну точку, и с ней сделался паралич. Ничего не помогло.

Что за проклятье жило в этом подполье!

В Сибири прошло три года детсада, для Риты и нас — незаметно, и вдруг «грянул гром в ясном небе»: когда Рите исполнилось 7 лет, неожиданно, среди года ей сказали, что ее время там кончилось, что она больше не будет ходить в детсад! Отчаянье ее — как рассказать? Оно было по силе — взрослое, не детскими слезами безотчетности — от кого-то обретенной обиды она плакала. Разлука, встреча с разлукой, как при отъезде с Олюшкой (так она звала Ольгу Семеновну), пала на нее. В один из первых дней мы шли с ней через лес, я что-то рассказывала. Вдруг Рита остановилась. Перестав слушать, она с криком рухнула в беспросветное горе: слева от нас за деревьями показалось очертанье ее детского сада. «Было» — «прошло» — этого стерпеть не могла.

Как Витя спит! Его бабушка, молодая, синеглазая, большеглазая, над ним наклонилась; думаете, любит-ся? Нашли у нее время — терять! Радуетса здоровьем его — закалке, тому, что она дает ему. На всю жизнь. Вы понимаете, что это — на всю жизнь быть закаленным? Веселый рот расплывается в улыбке... Сияет! Витя спит во всю мочь пятилетней своей жизни, укутанный, на морозе!

Село потрясено вестью: Полтава, Ленька Полтава, вернулся! Жена, дети — плачут... Он (вина в рот не берущий — озорник на слова, но трезвенник) мрачней тучи. Великолепные глаза гневно сверкают:

— *Мать* не приняла, понимаете? — Он это говорит каждому встречному. — Жена, мол, ждала тебя, а ты с оравой детей вернулся, с другою... А я той писал: не жди! (Три года с ней жили, — да, я семью строил, а какая семья без детей?) Я до отъезда еще с ней расходился! Да добро бы — она! А то мать! Куда я теперь? Разорен... Дом был, корова была...

Поселился он рядом с нами в темной лачуге, пошел

в артель, начал лес вывозить, заново дом строить... Все жалели его!

Но работал он — зверски. С утра до ночи стучал топором. Лют был в горе — и лют на работу. Дом рос, как только в сказке растут.

На маслозаводе, обнаружив хищение, заведующая пригрозила своим подчиненным, что она доведет до сведения об их проделках — в область. (Это мы узнали в виде слуха — она в пылу происшедшего рассказала об этом кому-то.) А через несколько дней городок был потрясен вестью о самоубийстве заведующей. Вместе с выехавшим на место происшествия начальством приехал брат самоубийцы, старший милиционер. Вечером в день приезда он пришел на квартиру к одной из ее помощниц — слушать ее рассказ о всех обстоятельствах происшедшего. Расстроенный, он стоял у двери, облокотясь о косяк двери, и слушал рассказ работницы маслозавода, изредка задавая вопрос. Застал он ее готовившую ужин. Она говорила и чистила картошку, бросала очистки в ведро. Чистила и бросала... Прослушав взволнованный рассказ, гость внезапно обратился к ней:

— Ну а теперь передайте мне это ведро!

Женщина, пораженная его повелительным тоном, попыталась было спросить о причине его требования. Но он взял у нее из рук ведро. Под грудой картофельных очисток лежали на дне ведра кровавые тряпки — противоречие с рассказом о том, что погибшая — повесилась. Милиционер арестовал служащую. На следствии она созналась, так же как и вторая помощница: ими была убита его сестра, затем инсценировано самоубийство. Сколько лет заключения получили преступницы, я не помню. История эта надолго смутила мир села.

Но остался вопрос: как же врачи-то удостоверили справкой ложный факт смерти от удушения заведующей маслозаводом? Ответ напрашивался невеселый. Доктор Р. бы такую справку не дал...

У наших соседей слева собирались колоть свинью. Слышались голоса.

— Ну, я пошел за ножом! — сказал баском племянник хозяина.

Женский голос кричал вслед парню:

— К тете Паше сходи, нет ли? У Мироновых — тупой... Слышишь?

— Не глухой. «Сходи, сходи»...

Плечо толкнуло сенную дверь, та лениво распахнула мне навстречу низкую сибирскую пасть. В эту минуту я входила в их двор — отдать сито.

— И что у тебя за манера, Афанасий, толкать человека?

— Толка-ать еще! Да кто вас толкает, кому вы нужны?

— Дурак ты...

— Зато вы умная...

Ветер рвал голый тополь, трепал ледяные ягодные кусты.

Никого. Озираясь, я открыла тяжелую дверь в стайку. Он шел, хрюкая, на открывшийся мутный свет двора; свиная бесшея голова пыталась подняться. Смешной в детских книжках пятачок был почти грозен в ледяной темнице, в неотвратимую предсмертную ночь. Но он шел и нюхал — и то, отчего я пришла сюда, — боль смерти смолкла вдруг перед болью жизни: голодный, он ждал пищу. Он не знал, что завтра — убой, перед убоем не полагается есть (чтобы легче было колоть? Не знаю — не свиновод). Но и эта боль — о его, виновника завтрашнего торжества, невинном незнании, что перед смертью свинью держат в голоде, сменялась болью другой, близлежащей: он привычно встречал, я шла с пустыми руками и несла в хлев — невесомую свою жалость, бесплодную, как ноябрьский лед под ногой!

И меня знобило стыдом. Ибо уже было поздно — исправить было нельзя: сейчас вернется Афонька, миг упущен...

Кто подумал бы, что и эту волну боли перегонит другая? А она уже была тут: он топтался на коротких ногах по морозному хрусту, и он был не свинья, а дикобраз, еж или еще кто-то, потому что щетина на нем (спина, голова, уши, ресницы) была обведена густым инеем, как узор чугунных садовых решеток. Вместо щетины на нем был — лед. Тот мороз, из-за коего его решили прирезать: а ну как замерзнет? в недоотеплен-

ной стайке? Мороз рухнул сразу. Первая, верхняя стадия замерзания была налицо. Глубже мерзнуть нынче — мешал жар голода, страсть жевать, жить — и именно ей было, именно в эту ночь отказано в пище. Ровно на те часы, в которые жажда жить, сила голода будет бороться мороз, — до часа убоя. Крючок надевался на петлю точно: неустыдимый человеческий расчет! От пышности инея на щетинке он казался гротескным свиным чучелом на карнавале. Свиной саван!

Он был бел, как маленький белый медведь.

Сраженная зрелищем, забыв страх, что меня тут застанут, в чужом хлеву, забыв про раскрытую дверь, я присела возле него, переставшего топотать, тяжело неподвижного, ледяного памятника свинье.

Буря хлестала нас в широкие щели острой сибирской изморозью. От мотнул мордой, мигнул — словно ткнул меня свиными седыми ресницами. Он молил об охалке соломы, в которую он до сих пор, в более теплые ночи, — зарывался.

Вокруг был заледенелый навоз. В эту первую лютую ночь солому не принесли, потому что это была его последняя ночь: авось не замерзнет! Охалку соломы, уже снятую, подняли вилами на чердак, от ветра.

На короточках на ледяной коросте, в шубе, от тоски или от холода меня трясло. зуб не попадал на зуб.

— Я тоже умру, Свин... — еле выговорила я, не смея тронуть лед его щетинки.

Он тихонечко ее потряс, и она зазвенела.

Внезапно стукнуло. Я шарахнулась вбок, и за мной к двери метнулась свинья. В страхе, что выпущу чужую свинью, я, выскакивая, нажала дверью на свиное тело, борясь с ним. Грубость этого ошарашила меня позором.

Не ища ему оправдания, я летела в дом. Не мой голос кричал в жаркий сон женщины: «Навоз как стекло! В стайке бушует! Нельзя оставлять живое животное...»

— Замерзает!.. — кричал с разбегу из сна проснувшийся голос старухи. — Утром колоть будем! Ишь, сердобольная! — мстя за нарушенный жар сна.

Ты одеяло сбросила, тебе жарко...

Дуэт длился:

— Ты за ним не убираешь и не в свое дело не...

— Обледенел! Понимаешь? Хоть маленькую охапку!

— Ничего я не понимаю!

— Ты все понимаешь! Солома у тебя есть? Ну хоть тряпье, мешки...

— Мешки??. Ишь что выдумала! Чтоб она их в навоз втоптала? Нет у меня для свиньи мешков!

Старушечье одеяло укутывалось. Говорить было не с кем. Но угрожающей змеей поднялся мой победный голос:

— А тот мой мешок, что я под мох дочери твоей давала? *Где* он?

Притворный или естественный (что гаже — неведомо), шел тоненький свист храпа.

Была не была! Я нашла мешок ощупью в темной кладовке, ликуя, что большой, толстый (уехавшая из Сибири хорошая женщина подарила: та бы не бросила так животное, ох, та... — и пьяная радостью, что отняла, что есть где-то та Лена, моя, я несла в стайку мешок, жалкую помощь мою, точно несла жизнь).

Но тот, кто бы мог осудить суету торжества о такой малости, стоял у двери — ждал? — и его скромность принять этот нищий дар была величава. Он дал себя накрыть, словно отродясь ходил в попоне, и потрянул под ней всем своим льдом сильно, но осторожно, как бы понимая, что попону нельзя уронить.

Он хрюкал и подымал ко мне бесшеюю голову: он что-то говорил, и я говорила что-то — я бы, кажется, заночевала тут с ним...

Яростный ветер рвал и кидал дверь; по двору шли, круша лед. Я успела ухватить дверь; парень прошел, не заметив.

— Говорил, нечего к людям ходить загодя! — кричал он уснувшей тетке. — Утром дадут нож...

Я нащупала в кармане корки, обломок овсяной лепешки и бросила жалкую кучку на мерзлый навоз перед свиной мордой.

И как каждую ночь, когда все спят и я выхожу отдохнуть от них, от себя, от всего, — я стою и смотрю в небо, на голые сучья, на далекие огоньки на земле.

Мы больше не брали кошек! Но однажды я шла по лесу и увидела, как мальчишки мучают маленькую кошечку: посадив ее в яму, где была вода, они сталкива

ли ее туда палками, а она кричала и цеплялась за узенькую полоску земли у спуска. Я бросилась на зверят, как лев. Но тут же мне стало ясно, что сама я достать кошку из глубокой ямы смогла бы, только круто наклонив голову, корпусом влезши вовнутрь, под навес земли; а моему глазу с испорченной сетчаткой такой наклон — прилив крови — был запрещен, потому что мог дать слепоту. Что было делать? Не знаю, в какой роли стояла возле мальчишек девочка лет десяти, но времени не было:

— Гады мальчишки, — сказала я ей, — противно смотреть на них! А ты — девочка хорошая. — И гипнотическим тоном: — Тебе жаль кошку! Я буду тебя держать, а ты нагнись и достань ее. — И, видя, что она колеблется: — Ты со мной дойдешь домой, и я тебе дам денежек...

Девочка соскользнула в яму, я крепко ее держала — и уж в ее руках маленький испуганный зверек, тигровый, как Чернобурик, и мокрый.

Кошка дрожала и цеплялась за руки девочки — я еле ее отцепила. Куда же было девать ее? Оставить здесь — мальчишки, только от вида моей палки отошедшие, снова ее заберут! Как я ненавидела в этот миг этих детей! (И почему многие считают нормой эту «возрастную» жестокость у мальчишек? Я бы воспитывала их «примером»: повтореньем над каждым из них того, чем они хотели мучить животное, — это, может быть, помогло бы...) Мы шли с мокрой беднягой — девочка и я. И как трогательно контрастно с только что виденным зверством — мне было неожиданно узнать, что девочка шла со мной вовсе не за деньгами: денег она не взяла. Значит, прошла далеко — просто так, за компанию! Мне стало весело жить... Она поглядела, как я закутала кошку, поболтала с Ритой, долго не хотела конфету — и ушла.

Слишком ли вымокла кошечка — отчего заболела? В подполье, кажется, не спускалась, но и ее мы не выходили.

ГЛАВА 28. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИТИ. КРОЛЯ. ЕЩЕ ВЕСНА

День рожденья у Вити! Вите шесть лет! Уже несколько недель учится он играть на мандолине у пожилого музыканта (теперь он работает агентом Госстра-

ха). Мальчик имеет способности, его молодая бабушка сияет. К дню шестилетия она испекла из овсяной муки (единственно сейчас доступной) сладкий пирожок с повидлом и принесла, постояв в очереди, полкило леденцов — праздник!

Но самое главное угощение — не это! А то, что Витя, пригласив в гости человек шесть соседских ребят, сыграет им на мандолине все свои пьески (устают маленькие пальцы прижимать твердые струны, и хоть терпит, не жалуется, учится силе воли — настоящий бабушкин внук! — но решено концерт его мандолинный сделать в двух отделениях!). Приглашены и мы с Ниной, и Рита, готовим жалобные подарочки. Витя — музыкант будет? Так пусть не забудет потом свой первый концерт в избышке с прямо на землю положенными досками, с овсяным повидловым пирожком!

Но не забудем и мы, как сидит, только что не пыхтя, маленький, крепкий, круглоголовый Витя, большелобый, сосредоточенный, крепко держа большую для него мандолину, и как серебряно частит послушный ему медиатор, как мелькают по грифу уверенные — и все же волнуются! — пальчики, и как слушают, раскрыв рты, его товарищи по играм мальчишеским — чудо его игры!

— Это что, Неаполитанская песня Чайковского? — шепчу я Полине Михайловне.

Нина смеется, а семилетняя Рита очень задумалась... О чем?

Весна... Опять весна! Пятая в нашем селе. И зачем их считать? Так и пойдут они одна за другой, пока — кончатся... Это не мысль — вздох. А о чем? Разве мне плохо тут? Мне тут — прекрасно, столько полюбилось всего, чего совсем не знала. Теперь, если в городе жить, еле бы доживала до весна, самой ранней, — уезжать, сажать и стеречь, как растет хоть несколько грядок, радоваться... Что же я делала все те весны, до?..

Соседи наши разводили кроликов. Я брала у них молоко. Спешить мне теперь было некуда. Сяду, люблюсь кролями. Один из них был как-то особенно

серебряно-бел. Он сидел в сенях среди подмороженных кабачков, брюкв, реп, меж кочанов и листов капусты. Это был последний из плеяды кроликов (надоели!), на шкурки коих с пункта несли муку, сахар, пекли сладкую сдобу, хваля ее и нежное кроличье мясо, но жалуясь на суету ухода.

Их забывали кормить (поить — еще чаще), но кроли как-то жили, бегали легким топотком по чердаку, плодились, росли и весело, деловито, жадно поедали все, что попадало.

Этот последний был — совсем белый. Он шнырял, маленький дух, меж загнувшихся листьев гигантских зеленых капустных роз, и, исчезая и появляясь с кинематографической скоростью, успевал ослепительно вспыхнуть на солнце — почти просиять, — и кувыркался в тень, как в воду. Что-то грыз, по-беличьему быстро-быстро вода подвижными ноздрями, клубком укатывался за рыжую тыкву, шуршал зеленью и нырял, сверкая на солнце то мячиком хвоста, то длинным ухом. Он жил восторженной, почти вдохновенной жизнью среди вдруг доставшегося изобилия овощей, в шумном от его бега, душистом кроличьем раю.

Распахнув дверь в синий осенний двор, в мечущийся в солнце ветер, я нагнулась к белому шару. Испугавшись меня или ворвавшегося солнца, кролик забился в угол, но я стояла и тянула морковку, и дрожь радости оказалась сильнее дрожи страха: ушастый пушистый мяч перекатился вперед, засияв в луче, уши заходили, и жадный пугливый нос потянулся к любимому овощу. Он получил его, уронил, испугался, умчался, спрятался за кочан, с почти кошачьей резвостью примчался вновь к морковке и, наконец, занялся ею с предельной поглощенностью, двигая лапками и ушами, как вязальщица — спицами.

Я стояла и любовалась умильной красой волшебного существа с рубиновыми глазами. Час был так добросолнечен, ветер рвал с веревок белье, как в детстве, на Оке, в Тарусе, маленький тролль был так праздничен, как картинка в сказках о Рюбецале, и все это так было похоже на натюрморт старого мастера, что, прислонясь к косяку, я бездумно благодарила за миг передышки, радуясь кролику, как он радовался морковке. (Почему я не принесла ему их целую груду, не устроила ему — пир?) Так в усталости труда, впечат-

лений и возраста — человек недодумывает, недочувствует...

— Кролинька, — сказала я, протянув руку к царьку овощей. Мне хотелось погладить его, как котенка, но, непривычный к ласке, он резиново отпрянул назад, испугавшись до самых недр кроличьих, и я поспешила уйти, чтобы не стать врагом.

На другой день было пасмурно, и, когда я с пустой крынкой вошла в соседский дом, пробираясь к хозяйке мимо печи, таза, где мокли чулки, нагибаясь под развешанное белье, я наткнулась на ее сына. Мальчик лет одиннадцати стучал молотком по гвоздю, от которого шла бечевка, пахло луком, и — так бывает — внезапная тоскливая скука обуяла меня. Я беспомощно оглянулась, потянула воздух.

— Чад! — сказала я, шагая мимо печки. — Ты, верно, сильно задвижку задвинул...

Напевая, мальчик не давал мне дорогу, поправляя что-то у гвоздя, и не он, а другой кто-то тронул меня за плечо. Я повернула голову, и — задвижка, чад, усталость — все остановилось.

Очень длинно и совсем неподвижно, очень узко, непомерно вытянув вверх — задние, вниз — передние ножки, подведя маленький, худой красный живот под синеватые ребра, висел вниз головой голый остов, и кровь капала в таз на его внутренности, принятые мной, по слабому зрению, за чулки.

Он был очень худой, легкий, пустой, весь из косточек и глянцевитой мертвой кожи, а пушистость и белизна, нацело и навеки отнятые, висели поодаль, чтобы их не запачкать кровью, и над ними, растягивая их булавами и гвоздиками, старался, напевая песенку, мальчик.

Ноги рванулись, но глаза не пускали, потому что, опрокинувшись с гвоздя вниз легкой тяжестью неживого тела, тот трогал мое плечо голой кровавой мордочкой, и очень выпуклые глаза его, с выкаченным беловатым ободом, столько знающие, что уже молчали обо всем, глядели на меня без взгляда. И я не смела уйти.

— Кроля, — сказала я одними губами, одним вздымавшимся горем — и ноги вдруг оторвались от пола, шагнули и бросились прочь.

И много ли прошло времени, как опять — «на ловца и зверь бежит» — я услышала кошачий жалобный крик с конца огорода, что простирался позади нашего. Там живет пожилой человек, взявший себе в жены молоденькую хорошенькую девушку: мать ее, с которой она приехала еще девочкой, живет в двух километрах в поселке, где работает. Таня — хозяйкой в богатом доме (мы заходим к ним, берем молока), родила ему сына — весь в него, и он играет с сынишкой. Но у Тани заплаканные глаза, и мать ее — в тревоге о дочери: не записывается с ее красавицей дочкой противный богач. Вот из их огорода — плач кошачий. Напугала ли собака цепная? Слышу близящиеся звуки с содроганьем: не могу больше кошек, их смертей! Но к ночи заглодало, ветер рвет еще голые ветки, куда денется бедный маленький кот? Чей? Точно зная мои колебания, котик бежит (по не вспаханной еще земле, кувыркается и плачет) — ко мне. Беру на руки. Но, и попав на руки, не мурлычет, не успокаивается, кричит. И когда я, принеся его в дом, ставлю на пол — он ходит как-то странно, все кругом. Ночью кричит, мешает спать. Явно — больной. Терпим день, терпим два. Ест плохо и кружится. Со вздохом (в который раз!) я иду в ветеринарку. Фельдшер сказал, что что-то безнадежное с мозгом. Мучается, не поправится. Усыпить надо! И пришлось согласиться. («Все-таки как-то живет — и убить? Но не сможет жить, раз такое...») Ластится и кричит. Глажу — не глядя. Ухожу со стыдом, как вор...

Процвела весна, леском встал огород, шелестя каймой кукуруз вдоль плетня: помогала нашим помидорам наш друг Полина. Увлеклась она уже не первый год способом выведения помидоров и трудом рук и колдовством фосфора выводила такие громады румяные, что твой апорт! Пожалуй, что одними помидорами и питалась — и книгами.

Жила впроголодь; весело, заботливо — лучший кусок — внуку.

Однажды, никому не сказав, Витя отправился в местную школу — к директору.

— Мне шесть лет, — сказал он тому, удивленно раскрывшему дверь такому просителю, — но я умею читать и пишу печатными буквами. Мне скучно учиться одному, без ребят! Примите меня в школу!

Может быть, умиление и тронуло сердце директора, но выше подобных чувств — установление Министерства просвещения, и он был принужден отказать Вите.

Гневно уходил посетитель — плотный, круглоголовый, светловолосый мальчуган с большим лбом и отважными голубыми глазами. Уходя он сказал директору что-то поучительное и даже, быть может, таинственное (запомнилось нечто вроде: «Вам же хуже!..») и гордо прошествовал по улицам, с двойным воинственным пылом поглядывая на детей.

В эти годы он любил сжимать — изо всех сил — кулак и подымать его самозабвенно. При этом он изрекал неизменно одно и то же:

— Как дам... (кому — не уточнял).

Глаза его были сощурены, и брезжились ему стрелы и лук.

ГЛАВА 29. СЕДЬМАЯ ВЕСНА. БЕЛЯНА. СМЕРТЬ ВРАЧА

В дни получек от Верочки, Лёры или пособия моего я позволяла себе пообедать в столовой. Шли нам по-прежнему и подарки детям, и обувь, и платья, и курточки, и коробки конфет, даже — финики... (Косточки их я потом сунула в горшок с алоэ, и у меня выросли пять финиковых пальмочек.) Да, друзья — не забывали! Их посылки и письма, жданные и неожиданные деньги...

Как год назад, умытый стоит плетень, будто новый, без снега, и, сырой, пахнет — лесом, древесиной, и земля пахнет — собой, снегом, солнцем, отдыхает — перед семенами. Неужели не чувствует так — последняя хозяйка Якова Ивановича, стоя на своем крыльце? Не чувствует? Как же может она в его вещи вцепиться (заикнулись продать их и послать деньги — Другу. Накричала: «Право мое, я ходила за ним!»)?

Растворилось в воздухе «Feinfühlung»? Вздох. А ты? Колышки — позабыла?

Как и в первой моей избушке, мне перед окном вбили столбики выше человеческого роста, и я на них вешала тускло-рыжую, грубого рядна, занавеску (за грош купленную в селе), образуя террасу,— так

я повторила это и здесь. В солнце у нас была тень, мы с Ритой вылезали туда из нашего с ней окошка, пили чай, говоря по-английски. (Годы спустя эту занавеску я засунула лютой зимой в павлодарскую собачью будку — нашему дорогому Джульбарсу. Как он был рад! Там морозы ниже 40°...)

Доктор наш, незабываемый Тобиас Яковлевич! Дверь в перевязочную приоткрыта, я жду в очереди в коридоре. Он сидит в белом халате, худой старик, еще темноволосый, с проседью, а перед ним сидит деревенская старушка, сгорбленная, в чем душа держится, — и, глядя в ее сморщенное личико: «Так, так. Понимаю. А не бывало ли с вами?..» И, весь уйдя в дебри ее болезней, он всматривается, вслушивается в пациентку, эту древнюю больную старушку, душу отдавая, чтобы хоть сколько-нибудь ей помочь. Призывая весь опыт свой, все книги изученные, советы всех своих учителей... Достойный их ученик, могикинин! Ведь у него таких, как он, училось следующее поколение! Отчего же тоже здешняя женщина-врач, почти средних лет, в другом кабинете, ведет свой прием в совсем другом стиле? Мне, шестидесятилетней, спешно выписывая рецепт: «Три раза в день по порошку. Эмфизема легких у вас, бабушка! Старческое.— И, бегло окинув себя взглядом в зеркальце, быстрым привычным жестом полунаклоненное в открытой сумочке: — Следующий!» (И ему скажет: «Не помогает? Ну что вы хотите? Другого сердца — не вставим!»)

И вот доктор Райт перестал выходить на работу. Через две недели случайно мне встретился.

— Я слыхала, что-то легочное у вас? Воспаление было?

И его ответ уклончиво — о себе — лаконичный:

— Хуже... В город к специалисту еду...

Была осень. Рита пошла в первый класс школы. Однажды Нина, войдя в дом — с работы, молча поставила на пол что-то белое, крошечное, не больше трех вершков. Белую как снег!

— Ну, берем, что ли? Может, *убережем* от куторок? Ведь мыши же донимают!

И взяли... Как-то всех сразу кошек наших погибших напоминала Беляна. Мы не чаяли в ней души. Одна из всех *не лазила* она в подполье, и мы были спокойны: эта не заболит! Она тоже носилась по постелям — и на стену, гремела кухонной утварью, кувыркалась в солнечных лучах — и к весне стала почти взрослой кошкой. Совсем белая, без отметки. И тогда появился у нас в доме кот: Вася, совсем черный. Большой, ширококостный, но не пышный, потому что бродяга. Как ни приучали — жить не пошел: ходил в гости. Он приходил — вдруг, в окно и ложился к нам спать.

Ушей у него не было: отморозил, должно быть: невысокие полукружия у начала ушей. Мурлыкать не умел — а шептал. Засыпал сразу, навалясь на грудь, живот, где попало. Был ужасно нежен, до умиления. Никогда не сердился. А с Беляной иногда спали в обнимку — белая, черный; мягкие, как гусеницы. И уют от них в доме был, как будто сел у камина, и греешься, и сказку читаешь, где у Бабы Яги — всегда кошки.

Стояли теплые летние ночи, и шелестели наши тополя. Просыпалась оттого, что на меня из окна прыгнул Вася безухий, черный как сажа, из лунного жерла ночи; морду — в ноги, хвостом покрылся, уж спит. А в ногах Ритиной постели потягивается Беляна, тянет передние длинные лапы, и на них — голову — белая, как крахмал...

Я не помню, когда и как заболела Беляна. И не хочу длить рассказ. Она болела терпеливо, покорно, сразу став взрослой, печальной. Не ела, лежала. Потом начались судороги... Я понесла ее к другому ветфельдшеру, жившему недалеко от нас, сделали укол. Мы принесли лекарство. Беляна боролась за жизнь. И как-то прислушивалась к болезни... Терпела. Кротко дотерпела до конца. Две белые лапки свои вытянула у мордочки — и не то стон, не то вздох... Как удивительно прощаются животные — с жизнью: без ропота, точно знают: пришел час!

Приходил ли после Беляны черный Вася? Мне кажется, он исчез.

Мы закопали Беляну в коробке, чтоб земля не сразу — на кошеньку. Мы знали, что в этот дом мы больше не возьмем кошек.

...Я пошла навестить жену уехавшего Тобиаса Яковлевича. Она была в тревоге, но держалась достойно. На работе в больнице (она была старшей сестрой) исполняла свои обязанности, как обычно. В этот вечер она казалась спокойнее: муж сказал ей по телефону, что предстоит операция, что нисколько не боится, что она необходима, не опасна; «Не бойся, пожалуйста, все будет в порядке!». Я ободряла ее. Мы расстались. Девушка, помогавшая ей по хозяйству, вышла за мною во двор. Оглянувшись назад, не идет ли хозяйка за нами, она приложила палец к губам. И горячим беззвучным шепотом:

— Рак...

— О-о!.. — только смогла я.

Что-то в сенях застучало, девушка бросилась в дом.

Я принесла домой эту страшную весть. Нина не знала, пойти ли к жене, побыть с ней на всякий случай или... я посоветовала не идти: может быть, усталая, уснет... Ясно что раз девушка знает это, — то из больницы. И что, стало быть, от жены пока решено скрыть. Как ужасно: убеждают, что все хорошо, скрывают страшное слово, а потом как? А если неудачная операция и его привезут...

На другой день в больнице в присутствии всех врачей жене сообщили: ее муж скончался на операционном столе до операции. От шока.

Так, может быть, и не сказали ей тогда диагноз его болезни. На похоронах Тобиаса Яковлевича трудно было подойти к кладбищу: толпа провожала его... Не хватает духу писать о том, что было с женой.

...Нина, простудясь, пошла в амбулаторию. Принимала прилетевшая из области женщина-врач, народу привалило множество. Вернувшись, Нина легла, я пошла в аптеку заказать ей лекарство. Принеся его вечером и дав Нине воды запить его, я услышала решительно, что такого лекарства она больше принимать *не* будет! Я укорила ее за капризность и убедила продолжать принимать.

— Ведь эта врач столько лет училась, она же понимает, что дает!

Проглотив и отплевываясь, Нина закричала:

— Так пусть она сама его и пьет, раз понимает! А мне не надо такого лекарства, от него сразу — тошнит!

— А-а, это, может быть, Доверовы порошки,— сказала я,— они — да, иногда тошноту вызывают, я слыхала. Дай мне рецепт, посмотрю!.. Позволь, что это? Больной Демидовой! Это же не твой рецепт! А я-то не посмотрела...

— Не мой? Ну и хорошо, что не мой,— отвечала Нина, еще содрогаясь от проглоченного,— мне такого не надо! Это она меня с той женщиной перепутала! С ней говорит, а мне рецепт подает... Я, говорит, на самолет спешу...

— Бессовестная! — с аппетитом выговаривая слово, воскликнула Рита.

Я помчалась в аптеку. На мое счастье, я встретила по пути Дору Исаковну, лаборантку.

— Демидова? Ее рецепт — у вас? Мы же ее готовим на операцию язвы желудка! В область ее направляем! А у Нины, говорите, бронхит? Я Демидову видела, она еще не заказала лекарства. Сдайте ее рецепт аптекарше и скажите, чтобы, когда придет Демидова, у нее отобрать ваш рецепт! Обидно! Ей-то «cito» написано, а Нине сегодня уже не сделают! Нет, давайте мне рецепт и лекарство, я сама это все сделаю. Зайду к Демидовой, скажу, чтоб она сейчас же шла в аптеку, а аптекаршу попрошу и вам сделать — зайдите вечером перед закрытием, будет Нине лекарство...— И Дора Исаковна заспешила в аптеку...

Она тоже часто бывала в домике над Баксой, нами прозванном «дача на Рейне», у Тони и Капы. Дора Исаковна не раз подавала Капе медицинскую помощь, совет и, как я, отдыхала часок после трудов дня в уютном мирке сестер. Капа, поджидая из артели Тоню, допекала что-то в духовке и готовила чай или кофе, а закат стелил длинные алые полосы, отраженные в подражавшей Рейну Баксе, и нам оживали «Алые паруса» Грина,— все их ждали тогда...

Да, там, откуда мы приехали, жизнь начинала налаживаться. И мы получали возможность уехать. И транспорт и материальные условия были трудны. И все-таки многие уезжали. Среди поднявшихся ехать была — еще ранее Юрова и Таисии Еремеевны — «кошкина мама». Она назначила за свою избушку цену,

которую ей не давали, — восемьсот, и ни копейки меньше. Предлагали пятьсот. Возмутясь, она на них не согласилась и, уезжая, бросила — кому на разор? — свое лесное жилье.

— Лучше уеду без копейки, чем дать себя эксплуатировать! — сказала она.

— Как можно быть такой принципиальной? — удивлялись ей вслед.

Но на аэродроме ее — с корзинами кошек — не приняли. Мужественно вернувшись, она тотчас же пошла к начальнику, Т-ну, с выписками из соответствующих пунктов законоположений. Доказав свое право ездить и летать — с животными, она получила специальное распоряжение Т-на о ее кошках и улетела с ними навсегда из села нашего в синий осенний день. Кто разграбил ее избушку? Но можно ли назвать разграблением унесение из брошенного в лесу ни на что не похожего жилья — печной плиты и колосников, кошачьего столика и оконной рамы маленького, там уже ненужного, окошка?

Годы спустя до нас дошла весть, что Ольгу Захаровну встретили в центре Москвы оживленную и в лаковых туфельках. И почти следом шла весть: заворот кишок — отказ делать операцию — смерть в больнице. И маленький кошачий коллектив ее детей разбежался, попав в многотрудную жизнь бродячих котов...

ГЛАВА 30. ПРИЕЗД СЫНА. ДВЕ СМЕРТИ

Сын собирался к нам. Путь был неблизок. Рита, помнившая отца в раннем ее детстве, ждала его с замиранием сердца.

Лето кончалось. Он приехал, по моде тех лет — с бородкой, изменившийся, возмужавший, навез с трудом наработанных нам подарков. Помню их встречу с Ленею Полтавой — так друг другу понравились!

Иду с сыном на улицу Куйбышева, еле уломав его: не понимал зачем! В доме столько дела, помочь Нине, к чему это? Идти туда, где нечего делать? Увидев, что огорчена, пошел. Но, усталый и взрослый, он шел, не участвуя. Чтоб не обидеть. *Ему* это было не надо: какая-то *прошлая* (уж переделывают ее!) избушка, какие-то *прежние* соседи... Я шла убитая. Одной благо-

дарностью что — пошел. Пошел *все-таки!* Идет — для меня. Но душой далек от моих тут четырех лет. Приехавший, чтоб помочь — в *настоящем!*

Сын уехал, оставив в сердце дочери — обожание. Обещал скорее устроиться в городе, куда бы мог принять нас всех; советовал свертывать хозяйство, продать дом с выращенным огородом и готовиться к переезду в Башкирию, в новостроящийся городок Салават, где он надеялся прочно обосноваться. Сибирь наша — кончалась...

Никто тут не знал, откуда мой сын приехал. Чудом к сроку его освобождения Илья Эренбург прислал мне — выхлопотал у Союза писателей — единовременное пособие в пятьсот рублей. Я поспешила их переслать сыну. С их помощью он из лагерника превратился в джентльмена — костюм, шляпа, обувь. Кто бы принял его на работу в лагерном облачении? Присланное мне старое мужское из серого драпа, английского, пальто он сам — золотые руки! — перелицевал, лишь петли не смог обметать, отдал портному. И явился к нам в блеске своих сорока лет.

Я несла кошку Беляну к ветфельдшеру и встретила Леню Полтаву, красавца и умника, водкой не разоряющего жену и трех своих девочек, глотающего только книги. Словесный озорник и задира, неотделимый от крепких выражений. Его карие глаза лукавы, смуглое волевое лицо красиво, кудри — что у лорда Байрона.

— Да вот бревна для сеней кантовать начал!

— Дом-то кончил?

— Заходите смотреть! Такого дома во всей Пихтовке...

— Ладно, не хвастайся. Лучше Беляну мою пожалей — и она заболела!

— А их лечить не умеете! За хвост — и об угол дома! К ветфельдшеру небось?

Не слушая (Леонид добр — притворяется):

— Заходите попоздней вечером, потолкуем.

— Зайду...

Крепко я с ним сдружилась. Жена его, Вера, рассказывала, что, к нам собираясь, говорил: «К невесте иду!»

За бесценок продал отличный дом, плод своих рук,

и корову (утварь разбросал — «домой еду!» — даром!) — и теперь, обеднев дотла, живя в низкой тесной хибаре, лихорадочно достраивал новый дом — лес близко! — отчего жил с семьей впроголодь. Вера заработать не могла — от детей да огорода куда пойдешь? И — беременная...

Я входила в кедрач. Высота, ели, запах — как не воздух будто с ног бьет! Снег внизу и по лапам веток; уже весенняя синева с облаками. Тихо... В просторном лесном бараке я раскутала дремавшую Беляну, понесла ее к фельдшеру. А он, Петр Иванов, шел навстречу, и что-то необычайное было в его походке: точно шел не человек, а что-то легкое, эластичное: он шел — а его уносило, и он настаивал на направлении, но не грубо, как пьяные, а легко, резиново, — у него будто не было весу! Пьян — не был, сразу видно. Понял мой взгляд.

— Хлоралгидрату принял, — сказал он с виноватой улыбкой, — хорошо, знаете, все забываешь... От дому куда поедешь? Чтоб как Полтава — назад? Кошечка заболела?

Он дал мне лекарство.

— А знаете, это дело опасно, — сказала я ему, — будьте осторожны, больше — не принимайте! Один случай я знаю — чуть не умер лекпом!

— Откачали?

— Откачали-то откачали, да долго болел...

Он вдруг остановил меня (я уходила):

— Постойте, хочу по книге проверить, не много ли сказал дозировку. У нас о кошках — нет, ну, я по собаке взгляну и — сбавлю...

И он пошел через барак, и его относил, невесомость его шагов — поражала.

— Заходите, — сказал он мне. На добром пожилом лице светились ясные глаза. — Почему не заходите? Покажу вам новые сени — окончил... Поговорим о жизни, будем рады...

Проходя мимо его дома, по пути к своему, я было шагнула зайти к жене его — сказать, что он так. Или не надо? Обижу его, — та разлетится туда, а он совсем в норме, и я ведь сказала, что еще добавлять — опасно... Зачем в семью соваться? Что пьет — она знает, каждый день может где-то засесть и вовсе без памяти... А он умом — трезв, к чему объяснения с женой? Вечно я в чужие дела лезу, «спасаю», когда вовсе не надо...

Вечером Полтава не зашел, допоздна доносился стук с его огорода — кантовал бревна. А наутро пришла женщина с вестью, что умер ветфельдшер, — помощник жив, но болеет, а его нашли мертвым в ветеринарке! Сменный заходил вечером и наткнулся на помощника, лежащего, и его отходил. А того — не увидел... Жалость какая! Вот дела...

Сердце заныло всю: значит, *надо* было зайти, сердца послушаться, а не ума, — проклятые рассуждения! Беяна, о которой он о дозе заботился, еще жива, а он... Себе не думал о дозе! Прележал, незамеченный, в дальнем углу барака, темно было, сменный не знал, что он тут, было поздно, он увидел, что барак не на замке, и зашел. Занялся тем, кто меньше хватил, — вот ведь судьба! На него наткнулся, а о том, кто, может, еще умирал, мысли не было, тот должен был давно быть — дома... Бранил помощника — и спасал. Спас. По рассказу того, умерший куда больше принял хлоралгидрату: «Я уж не хотел, говорю — брось, хватит, а он — еще да еще... Все забыться хотел — вот и забылся, насмерть...» Все жалели погибшего: хорош был человек. Жена убивалась. Я не находила себе места. Вечером к нам пришел Полтава. Сел у печки, сняв с кудрей кепку, потер руки.

— Дурак был, что умер! Меры не знал. Я таких людей не жалею.

— А он кошку пожалел... Добрей тебя был! А ты, Леня...

— А меня кто жалел? Мать, понимаете, мать не пожалела!..

Поник, кудрявую голову в руки, опершись о колени локтями. Пили чай. Невестка моя Нина говорила:

— Ты, Леня, чудить брось, иди снова в нашу артель, и ссуду дадут, и скорей дом кончишь... Очень гордиться любишь — а дети без молока! Тебе всего раньше надо на корову работать! Без коровы тебе — никак!

— Знаю... — отвечал Полтава, — к мужику нанялся, лес ему вывозить. Из-за больной спины ведь ушел я с артели, а бригадир, паразит, не верил...

— Не ругайся! В мае Вера родит — четвертый. Об этом ты думаешь? Ругаешься все?

— Как не ругаться? Я согнуться не мог, а он... Потеплеет — пойду в артель. Дом надо кончить, переберусь с девчонками, тогда...

— Дом у тебя — дворец, что говорить!

А потом смеялись, Полтава шутил, в карман за словом не лез никогда.

— Пойти к соседу, в баке помыться, звал,— встал он и взял кепку.

Наутро, в воскресенье, в избу вбежал внук Геля, бледный:

— Полтаву зарезало! Под тракторные сани попал... В больнице! Сказали, умрет.

Бежала соседка:

— Люди видели — вскочил в сани-то, мужик уж сидел! Тракторист не видел, что Ленька сесть не успел, дал знак трогать — он и провалился меж перекладин-то, санями его прокатило. Выругался матом — теперь из меня, мол, толк кончен... Позвонки, говорят, с первого по седьмой!

Шла, еле двигая ноги, Вера. Умывалась слезами, шалью стирала с лица.

— Ты не плачь,— сказала Нина,— а звонить в город надо!.. На самолете его...

— Звонили. Сказали, без пользы. К вечеру помрет,— захлебывалась плачем Вера.— *Пальчиком* двинуть не может! Все Валю зовет, меньшую... Меня, говорит, кольцом прокатило, спину-то! Будто и сейчас круглый! Врач сказал, от ног опух пойдет, как до сердца дойдет — конец...

— Ровно знал, что помрет,— дом-то как спешил строить... Почитай, кончил... Все бабе полегше...— говорили соседи.

Алексей Полтава (оказалось — не Леонид, никогда не спорил, когда так звали) прожил еще полтора суток. Боролся! Поясняли так: головной мозг был цел, сердце работало. А ведающий движениями спинной был вскрыт. Он лежал совсем неподвижно и медленно умирал. Вера была при нем. Я что-то носила, тщетно, в больницу, редкое какое-то лекарство, московское...

В гробу он лежал — прекрасный. У гроба — жена и три девочки, ее мать. В мае Вера родила долгожданного сына. Назвала Алексеем. Как его ждал Леня!

Горькое утешение, горькая улада удалась друзьям: в осиротевший дом, где скоро, опоздав увидеть отца, родится ребенок четвертый, заместитель его, хозяин, долгожданный сын! — ведут большую белую козу.

Беляну! Молоко у ней — что мед... Вместо задуманной Леней — коровы...

На сельском кладбище меж старых кедров две свежие могилы рядом: Петра — Алексея...

Как жалел о смерти Лени мой сын Андрей, только один раз его у нас увидавший, но так хорошо, дружески с ним поговоривший глубоко в ночь...

ГЛАВА 31. НАЧАЛО РАЗЪЕЗДА. СЫН

Долго собиралась и вот — собралась уезжать и старушка Ольга Семеновна. Услышав об этом, так расплакалась Рита, что невозможно ее было утешить. Нечем! Уезжало самое доброе, самое терпеливое, самое ласковое из того, что довелось встретить ей в ее почти семилетней жизни. Ни заменить, ни отвлечь, ни утешить. Растерянная, такого не ожидавшая, я нашла в своем арсенале только одно, горькое, утешение:

— Если ты перестанешь плакать, мы пойдем ее провожать — туда, где вы три года назад с мамой сошли с аэроплана, — на аэродром! Хочешь? Или не хочешь?

— Хочу... — захлебываясь слезами, кричала Рита.

И мы пошли.

Мы еще успели, почти бегом через лес пробираясь, боясь опоздать. Она увидела нас и бросилась навстречу. На ней было что-то странное надето: широкое и длинное, какое-то пальто-крылатка. Похожее я когда-то, в детстве, видела на тарусском земском враче, моем дяде, когда он в дождь садился в тарантас ехать в деревню к больному. И еще — на монахинях в Страстном монастыре, в раннем детстве. Ее звали. Она метнулась назад, потом к нам, схватила свою корзиночку, люди толклись, кто-то плакал, кто-то смеялся. И Рита смеялась! Она не понимала, что это уже посадка, что вот сейчас... Она видела свою волшебную подружку, та целовала ее, совала что-то в руку... Все произошло так быстро — загудело, как мельничные крылья, взметнулось — и уж самолет, как гигантский кузнечик, бежит по земле, поднимается... И опять отчаянные слезы! Мы одни — и осенний лес... Недолго продлилась наша переписка, болезнь груди гнула ее и согнула. Худенькая, длиннолицая, в светлом (зимой — темном) платочке, некрасивая, улыбчивая, с тихим весельем в глазах, она стоит в памя-

ти на фоне своей крошечной крутокрышей избушки посреди большого огорода — рядом с кладбищем, среди кедров и елей — огонек маленького окошка согрел суровый пейзаж...

Стоит автомашина, и Тоня подсаживает Капу... Последнее объятие, слезы разлуки... Она одна в «вилле на Рейне»...

Должно быть, именно в эти дни отъездов Игорь передал Рите маленькую фотографию-удостоверочку — или чуть больше удостоверочки? Она будет долго жить в альбоме фотографий Ритино детства, когда Рите будет уже 15, 20 и 25 лет... Может быть, в 30 — как тогда было Игорю — она перелистает альбом, и ей в глаза попадется эта, чуть больше удостоверки, фотография молодого мужчины восточного типа. Удлиненный овал, нос с горбинкой, взгляд гордый и сладостный, как в иллюстрациях в «Шехерезаде», и немного прочтет взрослая Рита возле этих губ — чего-то — скорбь, что ли? «Ах, это было в военное время...» — вспомнит она.

Отогнув, сколько позволит вверху клей, держащий карточку не слабее, чем это делает память, она прочтет: «Моей милой юной поклоннице Маргариточке...» Подпись — стерта, на нее сверху попал клей!

...Прослушав эту страничку, замужняя Рита сказала:

— Ты не сумела дать *силу* того чувства... Оно ведь и до сих пор не повторилось. Это не ложится в слова!

В отъездах, охвативших наше село, одним из самых видных, хозяйственных, обстоятельных, самым, может быть, видным был отъезд сестер с фамилией немецкого сказочника. Самым уютным отъездом! Они возвращались туда, где у их родных все уже было вновь устроено, где в просветлевшей стране нужны были совсем другого тона силы, чем те, что они употребили здесь, чтобы строить маленький макет жизни. Годы прожили они почти в сказочных усилиях воссоздать хозяйственность, сытость, осмотрительность дней, протрудились в них,

как пчелы над ульем, и, медом своим прокормившись, весело и умно распродавали все хозяйственные принадлежности, составлявшие опору лет. Так ко мне попала сложная самоделка (с заказом кому-то металлических частей, большая, в полтора раза больше уличного станка точильщика), сложная машина — картофеле-, нет, не «чистка», потому что она терла картошку для крахмала, кто ее знает, как она называлась? Она состояла из станка, широкой проволочной гребенки, как для волос великана, и, овладев ее техникой, я перевезла ее к себе (как везла я, увы,— может быть, от волнения, перекрывшего перевоз,— не помню). И я стала тереть картошку. Помню детское увлечение производством крахмала, противни (их мне делали из тонкого черного железа, где сох промываемый до белизны крахмал, и весь дом, заполненный киселями (когда не из чего было — из чая, из сока черного хлеба, из любой подсахаренной и подкисленной жидкости). Но сестры Г. уезжали. И к ним шли и шли оставшиеся и уносили тайны их мастерства; ежедневно ходила и я и уносила посильные покупки, из которых каждая остроумно (как в журнале «Труд и забава», мне когда-то выписываемом родителями) разрешала домашними способами трудные коммерческие проблемы, и мой дом, сам почти на колесах, принимал ежедневную хозяйственную помощь, в которой сливались забава и труд.

Сестры, уезжая, встречали меня, оставшуюся, приветливо, и я сроднилась с ними за эти дни. Было непонятно, почему мы не сошлись — раньше, они, так охотно учившие — всех (в мою вечную жажду учиться!). Но они уезжали, и я не забуду их уезжавших: строгую и приветливую, высокую и худую старшую, ее точеный профиль и аккуратную, на пробор, седую — еще не совсем — прическу, и младшую, полную, добродушную — с проседью (обе в фартуках), сажавших за чашку чаю даже съеди разгрома.

ЭПИЛОГ

Мы ждали вести от ее отца, что он устроился прочно,— чтобы (как он настойчиво советовал) продавать дом и ехать. А сердце — сжималось... Уже два года мы в этом доме...

Разве позабудешь свой огород, огромный, пышный, растущий, окруженный леском шелестящей кукурузы, где уже зреют початки... Зеленеющий и желтеющий разноцветной красой различного, словно птичьего, оперенья,— рощи гороха сахарного, приземистый лесок «ползунка», причудливые очертанья (что-то от бабочек) фасоли с хризолитового цвета стручками; резную зелень морковных гряд (скоро она вспыхнет огненными стрелами!); матовую цветную капусту и малахитовые кочаны простой (наливаются, стараются, хотят наградить — за горькую поправу первого лета!). А репа, а брюква, а черная редька, а белая свекла, из которой я в первой избушке моей гнала патоку взамен сахара! А кольраби, а болгарские перцы, а помидоры — ужели мы все это покинем и будем жить в г о р о д е?.. Выстрадавший колодец — пять метров глуби! — рубленый, с крышкой! Перестанем понимать все, забудем. И наши тридцать два куста ягодных, последний свой «Ритин садик», Рита забудет... как паслась в красной и белой смородине и в малине меж широко шумящих тополей, за семь моих лет тут выросших из Светланиных прутиков... Продадим Нинину будущую коровушку, черную с белым нетель... Не будем кормить кур... Петух не пропоеет больше! Крик петуха, еще в детстве, как и тут заново, зазвучавший, смолкнет...

Прошло два года с самого начала разъезда и более полугода с приезда ко мне сына. Ему удалось устроиться в том самом маленьком городке Салавате, о котором он нам говорил. Теперь он звал нас. Наступал и наш отъезд!

Я шла на улицу Куйбышева. Все было как будто бы то же, и все же неуловимо — другое... Я уж была не та — не этих мест житель... *чужая уж, вот что!* Шла, приглядывалась, оживала и умирала, страшилась встречи с Феей (ведь — *узнает! Как оторвусь?!*).

Вот дом, где жил Басов Василий Иванович... Я иду пустырем... *Мой плетень!*

Но что случилось со мной, когда я, обойдя его дальний угол, угол моего бывшего огорода, увидела, что он снесен там, где был «Ритин садик» с посадками роз! Что — сердце замерло, — где стояли кусты роз, которые весной должны зацвести (Лёрины, розовая и красная, морозоустойчивые, — я их покрыла сеном, обвязала веревочками, на зиму приготовив, молоденьких), — столько

труда! столько радости ожидания, прервавшейся внезапным переездом, — ровная земля, столбики для ворот? Въезд? Стою и реву, тихо... Меня утешило смущенное горе Лембита Йохеллеса, схватившегося за голову! Если б он знал! Не понял, не разобрал в спешке, в перепланировке участка... Жена и он — да все эстонцы! — так любят цветы... Я — утешала!

В жаркий летний день вошли к нам на Первомайскую покупатели: старички, муж и жена. Длинная белая борода истово поклонилась.

— Нынче петров день, сегодня мы познакомимся, для обговора, а завтра придем договор подписывать.

Худой, очень старый, он имел деловой вид. Жена, низенькая, вся — коричневая — и лицом и платьем, улыбалась всеми морщинками, уютом подходящей к случаю улыбки. Цены с каждым днем падали, и купленное два года назад за две с половиной тысячи (дореформенными деньгами) с ремонтом на еще полтысячи сейчас шло за тысячу девятьсот.

Как — недавно — старушки-сестры, так мы теперь, пытались продавать хозинвентарь — не покупали. Почти все переходило из дома в соседний дом, к Вере Полтаве. Сыну Лениному, будущему хозяину, было теперь полгода. На козьем молоке он рос крепышом. Старшую, Тоню, немую, определили в областное заведение для глухонемых. За Алешей смотрела четырехлетняя Шура; Валя еще была мала. Соседний с ними дом — доктора В. — стоял тоже осиротелый. Я пошла на кладбище — проститься с дорогими могилами — Якова Ивановича, Лени Полтавы, ветфельдшера Петра Иванова. Остановилась над широко развалившимся холмом — поправить некому — Парфена Никитича, Русланова хозяина. Странно, что я не помню могилы Тобиаса Яковлевича, — не могла я ее позабыть!

Но жить спешила. Уже не было ни красавицы Кармен — Аси (уехала с родителями на родину), ни Вити — он уж давно был с бабушкой своей молодой у еще более молодой матери. Их отъездами нам подготовлен путь — отрываться. Лошадь к железной дороге, везущая наш багаж, трусит рысцей, а мы оглядываемся назад, где столько оставляем, навсегда поселившееся в сердце. Ритиных глаз не видно, один блеск слез...

**СТАРОСТЬ
И
МОЛОДОСТЬ**

...Но раньше всего: «писать» — это не «сесть за стол» (еще когда дорвешься! — и тут, вбок — мысль Розанова об удивительности механизма сего: шел с одним, сел — написал другое!) Нет — целый день — пристальность уха и глаза, глотающих. Точнейшим ситом упускать и задерживать (золотые песчинки в золотоносном песке). Напряженность процесса! Блаженное утомление дня... Но и не об этом сейчас, опять не об этом. А о том, как это становится словом, заключительным актом лихорадки? ясновидческой? (Видение Карлайля!)

Это начинается так: идешь — люди, дела, еще и не виден дом, куда, войдя, будет дверь — стол — лист, — еще и часа не брезжится, когда, дверь закрыв... Нет! Это не начинается вовсе — это не прекращается. Этим трясет, это летит и тебя уносит, это составляет страданье, что люди, дела, а ты сквозь все — с тем — в горелки, руки вперед — схватиться, не упустить — и уж споткнулся о тину памяти, у п у с к а е ш ь — как в том первом сне детском, с коего все начало называться, — недогоняемость! ужас неповторимости — и вот, в черном отчаянии, — молния! свет! слова легли светлым зигзагом — назвал!

Поезд замедлял ход. Кокчетав, город. Но над городом — медленные холмы, и меж них уходят дороги, плавно потухают о даль. (Так было 55 лет назад, меж Коктебелем и Феодосией. Марине и мне было 18, 16 лет.) Полукруг холма. По его хребту идет человек. Картина Марка Шагала?! Весь — в небе, только ступни по земле. И в закатный час — туда выбежал мальчик, и за ним — прыжками, взвиваясь — бумажный змей!..

Взглянув на низкое, захолустное здание, внучка Рита:

— Ну и вокзал!.. Воображаю — город! Фу-у... Не хочу тут жить! (Непередаваемая гримаса.)

И мой зеркальный ответ:

— А ты — кто? Примадонна? Ты учиться приехала!

А мне очень нравится вокзал!.. Как не стыдно тебе перед папой! Ни слова такого ему! Он взял отпуск, поехал нас проводить...

Пока сын сдавал на хранение вещи, мы смотрели — тщетно, не встречает ли нас тот человек, которому мы послали телеграмму. Нас не встретили. Сумерки прикрывали закат с быстротой, странной для Казахстана. Ждать было нечего. Такси не было. Автобус везет нас улицами, на которые мы глядим тремя разными взглядами: сын — деловым, оценивая удельный вес города, Рита — с брезгливостью ее 18 лет, моих 72 — с радостью. Одно-двухэтажные дома, мощные стволы осин, тополей (как люблю клокочущий шелест крупной листвы! Так в Тарусе шелестели в детстве крупные лесные лиловые колокольчики, точно в лупу увеличенные полевые...). В пединституте не было никого.

Оставался один адрес. В гостинице, вероятно, нет мест.

Пересадки, расспросы, и по колеям и ухабам разрытой для труб окраины мы подходим к четырехэтажному зданию — ряды и ряды таких... Уж почти темно. Отсутствие фонарей. Кое-где квадратики окон. Холодает. Усталые ноги шагают в кротком разочаровании. Узкая лестница, мгла. Адрес верен. Но того, кто мог встретить, нет дома. Четыре этажа — вниз. Стало совсем темно. Кучи земли под ногами. Город — и тот, первый, милый, уютный, и новый — из спичечных коробков, — все пропало во мгле. Я жила благодарностью сыну: что бы мы делали без него! Он везет и ведет нас. Площадь. Претенциозные колонны гостиницы. Мест — нет: делегаты. В городе — одна гостиница? Да. Остается вокзал. Мы направляемся к выходу. В эту минуту — так бывает во сне — раздается моя фамилия.

— Цветаева? — спрашивает в телефонную трубку только что нам отказавшая. — Я не знаю, надо узнать.

«Однофамилица? — думаю я с горьким юмором. — Значит, устроилась. А мы...» Но сын уж стоит у трубки.

— Цветаева здесь! Мама, вас спрашивают.

Незнакомый, согретый сожалением голос:

— Простите, я запоздал. Отлично. Я сейчас буду в гостинице. Через пять минут.

Через десять Добрый Дух в образе высокого круглолицего человека в близоруких очках ведет нас к себе. И в глубокую ночь — в том четвертом этаже, теперь

светлом и теплом, разговор о пединституте, городе, местных условиях, факультетах, отделениях, кафедрах. Засыпая, Рита говорит увлеченно:

— Только бы мне сдать...

На другой окраине, там, где старые дома и холмы, высоко над озером Копой — на Чапаевской улице — маленький дом. В нем — хозяйева. Мы — во дворе, в совершенно отдельном домике: вход через что-то похожее на гараж, полупустой (бочки, ящики), — в низкую побеленную комнату с пылающей печкой, столом и двумя кроватями. Тут мы будем жить с Ритой. На моей кровати сегодня ляжет Андрей, а я, задыхаясь в такой жаре, уйду к хозяйке на парадный диван под ковром — ослепительно изумрудный лес с ослепительно золотыми оленями. Спит герань, и я сплю, спит черная кошка с тигровым сыном, спят Андрей и Рита. Не спит один Шарик — черный дворовый пес, встретивший собачьей яростью, но быстро сменил ее на собачью милость, почуяв истинную любовь. Скоро выть псу — луна подымается. И не спят олени, застыли, насторожились, слыша собачий лай...

А наутро — веселый двор, заваленный досками, и петух кричит, как сто лет назад, и, как без малого пятьдесят, сын мой возится с хозяйскими удочками, роет червей: в озере, услышал, рыба. Озеро? Значит, мы вместе пойдем! Но, постояв во дворе, увидев его оживление — помолодел и забота с плеч, — узнав это неотвечанье на вопрос, отсутствующий взгляд (острота присутствия в своем, сейчас, мире): «Рита, папу не надо тащить с собой — ни на озеро, ни в столовую! Говорит: «Что-нибудь поем тут, из дорожного», — ты пойми: он как мальчишка сейчас, ему дорог часок свободы, а мы — «вместе с тобой». Мать, дочь — ему это сейчас не нужно!»

Но понятное матери — дочери его недоступно, она тоже еще девчонка: «А я хочу с ним, посмотреть, и сама попробую». И так жарко это «хочу» (жарче его «не хочу») — где мое право всегда настаивать, подавлять?

В ней остаток детского обожания отца — и как ему положить предел: «Стоп! Пожертвуй собой!»

За воротами спуск улицы вниз, и там, верстах в полутора, — синяя полоса озера. Мы идем, беседа не клеится, трудно мужчине, только что бывшему мальчиком,

стать отцом почти взрослой девушки, сыном 70-летней матери... Так же не клеится и обед в ресторанчике «Север», раздражающе медленно подает официантка (когда еще по горе за удочками, червями и снова с горы — к озеру? Много ли останется от дня на рыбную ловлю? Поезд сына уходит в 8 часов).

Так, по скрещению мечты разных типов и смещеньям каждой из них совершаются одна за другой ошибки, и в катящееся их колесо, зовущееся, может быть, жизнью, нелегко вставить палку (и — между каких спиц?).

Озеро лежит глубиною и прохладою, плещет о берег совсем не синюю воду. Запах водорослей — нежданен, как исчезновение синевы, — и откуда морские чайки?

У них те же глаза, 53 года и 18, темно-серые и большие, — но в старших давно угасло юношеское веселье. Я гляжу, как дочь за отцом входит на узкий помостик, отходящий от берега в воду, — одну Риту я бы боялась пустить туда, на конце уже — глубина, но с отцом боязнь снимается, как с доски мел, и я радуюсь: сижу одна на покосившейся лавочке, завернувшись, как она, в старый, лиловый клеенчатый плащ, — ветер... Минута моей свободы — ни страдательного залога, ни сослагательного и условного наклонений (я-то люблю их, но — но, как сказала одна мать о своем ребенке на родительском школьном собрании: «Я-то вас понимаю... да ему-то моей головы — не вставишь?»).

Если прищуриться — того берега нет, озеро почти слилось с небом. Так и не дала мне жизнь того, что так страстно желалось лет 30 тому назад, — ящик масляных красок, складной стульчик, и по тарусским холмам над Окой... Увезли с тех холмов — и надолго!

Удочки взлетают в воздух — то одна, то другая, клекот воды... Давно ли я с 10-летним сыном — на мосту над рекой в Звенигороде, его первая банка с плотвою...

— Рита, поди сюда! На минуту! — И когда она нехотя подошла: — Ты забыла, что надо учиться? Через четыре дня — первый экзамен! Сейчас же идем, слышишь? — (Как я рада, что отец ее этого не может оспорить, в жертву себя сейчас — от отцовского благородства и от вечного против меня бунта и раздражения — не принесет, не сможет настоять, чтоб она осталась, а будет хоть полчаса, хоть час один — с озером...) — У тебя совершенно нет такта, Рита! — Мой голос

жесток. — Ты ж отравила ему его маленькое редкое удовольствие: нужна ты была ему — рядом, учить тебя, объяснять, помнить, что он — отец! Он хотел беззаботности! У тебя один закон — «если мне хочется»! Это очень нищий закон!

Эти слова мои были мертвы. Но как только я их сказала — их удельный вес дрогнул, как те удочки, — и взлетел вверх пушком, потому что Рита шла рядом, отчего-то притихшая, и там, где я уверенно мнила фонтан возражений, была пристыдившая меня тишина. Боль? Ее беззаботный час на мостике в озере — отравила сейчас — я?

...В хозяйском ведерке серебрилась кучка рыб — сын не успел их попробовать, оставил на завтра нам, — поезд отходил через час, и мы не смогли проводить его, как хотели, потому что Рита занемогла, а я — как оставить ее? Уложила и искала лекарство. Сын уходил вниз по улице, унося авоську с едой на дорогу, — единственная радость, что успела ему кое-что завернуть... Как когда-то, провожая его отца у ворот моего отцовского дома, я стою у чужого забора, смотрю вслед. Вот еще мелькает — все мельче — светлый плащ, над ним — ярче — пятно шляпы. Очень холодно! Успею, схвачу что-нибудь на плечи, догляжу его! Бегу, как девчонка, — от души оторвался кусок, летит за ним под гору.

Я прибежала, схватив пальто. Увы! Неужели уже успел завернуть за угол? Дорога тиха и пуста.

В низкой комнатке, где вчера было жарко, сегодня так холодно, что мы кутаемся во все — свое и хозяйское, Рите ноги согрели черная кошка и ее тигровый маленький. Показалось? Или кто-то за стеной тронул гитару? Звук гитары навек — и Марине и мне — мама! «Der Guitarenklang rollte wie eine Perle...»¹ Эти слова Heinrich'a Mann'a повторяла в молодости Марина. Ни Марины, ни мамы... Мама — в 37, Марина — в 48... Мне в Воздвиженье — 72, Лёре — 84. То, что она тяжело болеет скоро уже год, а я все лето с девочками, — не снимется навсегда вина... Но оставить Риту, которую учу с 5 лет, когда нужна ей каждый час перед экзаменами...

¹ «Звон гитары катился жемчужиной...» (Генрих Манн)

«Der Guitarenklang» ... Неужели — такое счастье, что любимый с детства немецкий я смогу начать с Ритой вот тут, в этой комнатке? В пединституте 2-й язык — немецкий, с 3-го курса он обязателен, с кем она его начнет, как? «Баб, я себе не могу представить, чтобы я какой-то язык с кем-то другим начинала! Не с тобой!» В скольких городах мы с нею были! Я, начав, и продолжила с ней английский, затем — французский. Все мои три языка. За что мне судьба шлет 3-й язык, когда в школе один проходят? Когда не было прецедента, чтоб экзаменовывать по двум, за что английский ты получила в раннем детстве, школа начальство запрашивала? И так просто вдруг оказалось, что твоего 2-го тут нет, 2-й тут — немецкий, и мой вздох всегдашний, что так и умру, тебе его недодав, — стал из вздоха — учебной горячкой! Как только ты сдашь все 4 экзамена — сразу же за немецкий язык! И ты каждое слово поймешь с детства слышанном, недоступном (тебя им укачивала, как лермонтовской колыбельной) «Ich weiss nicht was soll es bedeuten...»

— Ну, ну, скажи, Баб, как дальше?

А я уже говорю:

Das ich so traurig bin
Ein Märchen aus alten Zeiten
Das Kommt mir nicht aus dem Sinn...¹

«Uhralt» — поймешь! «Пра-Пра», «незапамятное».

Это было 28 июля. Дни до 1 августа были сплошной горячкой — английской. Дебри грамматик устных и письменных прерывались только едой и сном. Нет, еще моим восхищением городом, хоть и задыхалась, всходя на холм. Через два дня казалось, что давно знаем хозяев, через четыре — что всегда жили здесь...

В углу комнаты — треугольная полка. Должно быть, тут жила какая-то старинная бабушка. Я держу в руках узенькую, в позолоте, дощечку с изображением строгого святого. В его руке — свиток, на нем — слова Что-то

¹ Не знаю, что стало со мною —
Душа моя грустью полна.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна.
(Г. Гейне. «Лорелея».
Пер. с нем. В. Левика)

скажет он нам, мне и Рите, тут поселившимся? Читаю славянскую вязь: «Поминайте чад непрестанно в безвестный и трепетный час смерти...»

Хозяева: Володя, лет тридцати, шофер, добрый и тихий малый, жена его, Анна Ивановна, чуть побойчей, но вежливая и деликатная труженица. Дочка трех лет, Люда, озорная, настойчивая, громкая плакса. Но и она не нарушает тишость дня: только перед вечером приходит из детсада. На квартире у них — столько девушек: кто готовится поступать, кто приехал учиться — в школу товароведов и на поварские курсы. Удивительно: и они тишине не мешают — выходят через парадное крылечко на улицу, а мы — со двора. У Володи — вздох жены! — своя машина, «Москвич», взятый в рассрочку пополам с братом Славкой. Братья невысокие, полные и спокойные, женаты на двух сестрах — Тая Славкина на сестру непохожа; тоже держит девушек-постоялок; их дом — по тот бок нашей с Ритой хибары. Когда мы сидим на нашем холме в нашей низкой (руку вытянуть вверх нельзя) хижине под охраной свирепого для чужих, к нам нежнейшего Шарика — совершенно кажется неестественным, что какая-то есть Москва и что в эту Москву я поеду. Почему бы, собственно, не остаться мне в этом тишайшем углу с горами, озером, церковью (и у церкви — купол, не так, как в Павлодаре), с улицами, где идешь и идешь — никого, одни окна, крылечки, деревья. Озеро издали мнится морем, как оно меняет цвета, если сверху глядеть; на фоне его стоит пединститут, светлое в три этажа многооконное здание. Есть и площадь Ленина с памятником ему, и ряды асфальт-улиц имени Маркса, Кирова, Урицкого, Сакко и Ванцетти, Куйбышева (его родина), и ряды улиц, где колеи и земля, — Пушкина, Пугачева, и дальше всякая старина.

Воду по улицам возят в длинных лежачих металлических бочках с надписью: «Питьевая вода». Люди бегут с ведрами. Нам в проходной безоконной хозяева наливают трехведерный бак с крышкой.

На улице Куйбышева — столовая, самообслуживание, все честь честью. В киосках продают соки и фруктовую воду, журналы, общие тетради, лица актеров, актрис, космонавтов.

В ресторане «Север» цены выше только с 5 часов

дня, а если в магазине «Мелодия» среди музических инструментов в затесавшемся туда писчебумажном отделе, называемом «канцелярские принадлежности», нет и не ожидается авторучек, так необходимых Рите и мне,— то, может быть, лишь потому, что в канцеляриях (повелось еще до Петра) есть ручки с перьями и чернильницы. Все это — вздор. Можно отлично жить в Кокчетаве — фотопленки и гомеопатические лекарства выписывать через друзей по почте. Зато тут можно — в обнимку с Шариком, и в вашу комнату входит, как домой, черная кошка, — а попробуйте ее завести в московской общей квартире — ни вам, ни кошке несдобровать...

Пока Рита учится, я иду за обедом, — я открыла еще столовую, близко, для рабочих-монтажников, с 12 дня до 2-х — цены низкие, и хоть порции отчего-то маленькие, но на 20 копеек я беру себе четыре каши — это обед и ужин. Рите — мясное второе и кофе. Суп варю дома. Иногда мы ходим туда есть, но Рите не нравится, у нее совсем другой вкус, чем мой: я люблю все дешевое, она — все дорогое. Но когда я иду одна и несу выбранное в авоське, по холму под жарким солнцем идешь, будто ты в Коктебеле, и озеро внизу — черноморское.

Только недавно я стала ступать на траву — есть такая травка-муравка, кудрявая, низкая, я ее гущу обходила еще в прошлом году во дворе в Паланге — щадила. Теперь — иду. Отчего? Мало ходить осталось. Она, кажется мне, не сердится. Она — возродится. Я исчезну скорей, чем она.

Маленькая рыжая телка пасется всегда на том же месте. Что за странная почва — не песок, земля, но по всему холму меж низких полыней — камешки, не гравий, а острые, как осколки, — и они всех оттенков — от белых и серых до рыжих, лиловых и розовых — и местами, точно они же, но в миллион раз увеличенные, лежат вросшие в землю — большие, пестрые, и они похожи на скалы у моря. И я нагибаюсь (хорошо, что не суп несу!), подбираю, сую в карман: на московском столе письменном лягут кокчетавские камни. Ах, камни тарусские! Возле ручья нагибались с мамой, подбирали горящие кристаллами сокровища!

Средь суровых серых кривых плоскостей россыпью

сверкал горный хрусталь — он навеки, годы позже, остался тарусским. Окский горный хрусталь в Альпах, в Шварцвальде, в Саксонской Швейцарии...

Палка мешает! Еда мешает! И не хватает рук — целый букет полыни собрался, как пахнет! И мох, лиловый, как в Argentrères собирали с Мариной, и низкорослые сухие цветочки, мелкие и — чудо! ведь сушь! — незабудки...

Деловито: полынь — часть на стол, в воду (обрадуется!), часть — веник, и вот эту горсть — вместо ерша мыть бутылки кефирные — раз нет в Кокчетаве ерша. Стала. Взошла на холм, задыхнулась. Озеро такой синевы — глаз не верит! А вчера, когда закат обвел абрис холмов и город вправо тушью китайской, внизу в фиолетовой дымке зажег серебряные огни, оно лежало светлей стали, острым и легким блеском, и над ним — туманно-розовые облака.

...Рита выдержала! Английский — профилирующий — на пять! И сразу устроили ей и по французскому экзамен, неожиданный, как при окончании 11-го, и, когда среди множества двоек и троек из всего четырех — пяти пятерок две были ее (их прочел в зале декан), у меня в носоглотке стало как в детстве и в горле — и я испугалась, что слезы.

После русского 17-го — история. Неужели — выдержит? Неужели — провалит? Жизнь замерла. Дни измерялись количеством страниц пройденного. Есть ей ходить было некогда. Хозяйка дала починенную Володей электроплитку с черным резиновым шнуром толщиной в палец. Она шла кольцами по полу, и мы через змея шагали, и свет выключался, и спираль перегорала, но все-таки чай закипал, и струя наполняла термос, яйца варились, и хлеб с маслом и сыром Рита ела насильно, зная — не уступлю.

А потом — ночь, и черная кошка в обнимку с тигровым котенком спят у нее в ногах.

Утро и день лили в хибару прохладу, солнце входило после обеда. Точно никогда не жили в высоких домах, так быстро свыклись с дверью ниже лба, лоб не бьем, нагибаемся ловко и вовремя. Крючка нет у двери — мы заматываемся на ночь веревкой.

Анна Ивановна жалеет: Володя придет, крючок наладит, — но уж который день, и, вспомнив ею оброненные слова, что «все вечера округ машины своей, ни к

чему в доме рук не прикладывает, не то что Славик — все Тае в дому делает...» — мы берем у хозяйки висячий замок — и он, Замок с большой буквы, делается членом семьи — живет на чугунной плите печки, на которой стоит таз. И, ложась спать, запираемся им сквозь две тугие, как на амбарах и складах, неподвижные петли наружных дверей проходного сарая. Свою дверку в него — нараспашку и спим в наставшем тепле ночей августа, после кончившихся дождей. Сын уж второй раз шлет деньги — голубчик! И еще есть мои «новомирские» (за публикацию), деньги текут — хоть их и записываю — скользкие, как вода...

Подагра мучит суставы. С теплым журчаньем под лай непримиримого Шарика¹ въезжает во двор счастливый своей машиной Володя, добро моет ее, храня марку и блеск, а она заливает ночь соседских домов — арией Верди... Голоса несутся опьяненными фиоритурами над казахскими и русскими домиками, как над Соррентийским заливом; голос с русской пластинки: «Вернись в Сорренто» (вилла, где жил Горький, 1927-й...).

По улице Валиханова (его имени пединститут), где быстро волшебными стрелами, как во сне, растут асфальтовые тротуары, прерываемые поперечными немощеными улицами, какая услада идти, идти и смотреть на чужое жилье, чужие сады, окна, лесенки, внутренность дворов, — кажется, еще бы 72 — не устал бы! А ворота! (Наши, и их Володя на засов и подпорку, — высокие, как при Иоанне Грозном.) А калитки! А куст, вышедший из пределов на улицу! Андерсеновский, разлапый, жаркий от лабиринта теней. И прилепленный вдруг к простейшему дому — призему — белый алебастровый вход, как фарфоровая игрушка, — легкая крутизна ступеней, два вазона, над ними два белых шара, узкая дверь модерн, и над нею два щегольских завитка, как на старинном зеркале... Это ли не бред? Чьей фантазии? Лечу, палкой — шаги. Откуда — такое? По бокам широкого покоя крыльца с тяжелыми ступенями — две боковых стенки, вырезанные из тол-

¹ Не выносит «машины», как я.

стенного темного дерева — отступившими откинутыми полукругами, переходящими в глубокий навес крыши подъезда. Это опять — сказка, только уж русская. Какой-то дремучий дом! (И дремучий там должен быть сад...) Палкой — шаги. Голубой дом и синие ставни. Это уже — Гримм!

О! Вот такого я давно не видела! Посреди тротуара — большой камень, вам по живот! Лежит себе совершенно спокойно, преграждая путь. И обходишь его, удивленно и вежливо, как живого.

А по Чапаевской (той самой, где, позже узналось, несколькими кварталами ниже, музей Куйбышева) есть понижение среди немощеной улицы, похожее на неглубокую яму. Здесь подъем по холму уж довольно крут, и яма имеет рельеф сложной конфигурации. Тут, в беспорядке, мало назвать живописном — феерическом! — спутаны в хаосе беспризорности и отшельничества от городской и общественной суеты предметы столь разнообразные и столь с виду древние, что веет от них археологией скорее, чем столь желанным для сбора утильсырьем. Пружины, задумавшиеся над брэнностью своего назначения столь давно, что и археологи не помогут; кости — странно больших размеров, несомненно — подарок палеонтологам с их неземного названия эрами; лохмы переродившегося войлока, безысходно спуставшиеся с вервием и даже, быть может, мочалой; велосипедное колесо; разорванное ожерелье консервных банок, раздавленных чьей-то на них плясавшей пятой; поршень, искривленный каким-то винтообразным движением; допотопный, превращенный — временем — в воспоминанье, некогда эмалированный кувшин без дна, — лежат на фоне чего-то совсем уж неназываемого; и венцом зрелища, конечно, пара разрозненной обуви: загнутый венецианской гондолой когда-то сапог и старушечий, серый от пыли и возраста ботик с совершенно целой железной застежкой. Где второй сапог и второй ботик — этот вопрос бесполезный, ибо на него не мог бы ответить даже так много писавший об «Antiquely» — «Древности» сам Чарльз Лэм. По этому, на холм всходящему, концу транспорт не движется, разве повозки

с баками «питьевая вода». Посему дети царствуют на раскопках стихийно-свободно, не связанные никаким надзором.

Рита на консультации по советской литературе. А я, я, как в отрочестве (тогда — еще мало сил, теперь — уже мало) — делаю перестановку: кровати стояли по смежным стенам, под углом, одна — вдоль окна, низкого и разлатого (вместе — два квадратных окошка); стол — у двери и, так как далек от света, наставлен едой и посудой, и негде писать. Оголив железную с сеткой Ритину, свалив с нее матрац, одеяло и огромную голубую подушку, я тащу на себя остов кровати по геометрически — явной нелепице: ракурс поворота короче ее длины. Задыхаюсь. Не выйдет? Но надо, чтоб вышло, — иначе как жить без стола для книг и тетрадей? Тащу, толкаю, молю комнату, чтоб раздалась на йоту! — и в миг полной прижатости железом к печи — усилием жил и ребер — господи, помоги! — подымаю угол кровати над мешающим ему углом печи — и, сняв с нее кусок штукатурки, победоносно осиливаю геометрию — дальше уж можно отдохнуть, двигая понемногу. И когда входит Рита (ни за что бы не согласилась, что такое возможно и нужно) — комната совсем новая: кровати стоят параллельно, разгром постельный убран, и у окна — стол; слева Ритины тетради и книги, справа — мои рукописи. Быт же загнан на полки меж дверью и печью — хлеб, сыр, огурцы (еще Ритиной мамы, в дороге нам), ее же варенье, масло, две ложки столовых, одна алюминиевая тарелка и один (для всего хозяйства!) перочинный нож. Правда, вход стал узок (часть двери занята длиной Ритиной кровати — зато это наша комната, комната экзаменов и работы над «Воспоминаниями», а не хозяйский чулан... Режет глаз розовый ситец (прибит над моей кроватью), зато занавески у окон (в две трети их) — белые, по стеклу. Сверху же амбразуры — тюлевая; со двора (проверено) нас не видеть, мы же сквозь нее имеем достаточно света, отодвинув низенькую сплошную.

Видим Шарика и как кидается на него с воем черная кошка, а он стоит над ней великаном, застенчиво виляя хвостом. И много раз в день лицезреем необы

чайное зрелище: как Шарик, грозно рыча каким-то удушенным лаем, вдруг кидается яростно на свою (тяжеленную) цепь, кусает ее, бьет ее лапами, отбегает, натягивая ее, и затем, с разбегу бросившись на ее исток у столба, силится ее там изничтожить. Картина жалкая и величественная: я такого не видела за 70 моих лет. Ощущая врагом и помехою цепь, не сдается. Говорю: «Шаринька, перестаньте! Вы же старый и мудрый пес! Плюньте на вашу цепь, не обращайтесь внимания, цепь — это маленькая подробность! Вы же все понимаете — и не тратьте на мелочи ваших собачьих сил!» И не оттого, что я вынесла хлебных корок или пошла в «золотой чашке» (банка из-под консервов болгарского перца), Шарик танцует грациозно, как балерина, — Шарик больше хлеба ценит ласковый голос, и, когда Рита или я, не стерпев от муки, выходим, он тотчас, смущенно извиняясь за представление, вызванное младенческими страстями, прекращает их с того же размаху, как начал, — и неистово радуется беседе мудрым собачьим сердцем, и трясет ушами, чихает, отряхивается, как от воды, всем собою, и лижет нас розовым языком, и закатывает от счастья глаза...

И теперь о воде: нельзя носить тяжести, у меня сетчатка глаза нарушена, каждое черпанье банкой или черпаком из стоящего в нашем цементном сарае оцинкованного трехведерного бака вскоре становится мне ощущением болезненным и движение — воровским.

Не зная, входит ли вода в цену 10 рублей с носа — квартирную, боюсь уточнять и пытаюсь тратить меньше воды, но удается плохо. Деликатная Анна Ивановна не говорит ничего, наливает и наливает, притащив из городской бочки с надписью «Питьевая», когда та вкатится на наш холм. Но ее деликатность еще горше делает воду, и она иногда кажется мне тою серебряной водой — влагой, какой в 19-м году века являлась в Судаче в пору гражданской войны: колодцы близ моря — соленые, а за пресной водой было далеко идти по горной тропинке (да еще дадут ли взять?) — и, принесенная, цедилась на полустаканы и отливала целебностью и серебром. Правда, есть другая вода — за калиткой, которая на засове, — по пути в огород

стоит что-то вроде цистерны, но ее колесико над землей туго и неудобно, я боюсь открыть — и не смогу закрыть. И раз, набрав, принесла совсем ржавую воду и с сомнением полоскала в ней бязевую простыню, без того непоправимо желтую. Эта ли неудача? Но я как-то забыла — забываю про эту вторую воду и, полоща по одной-две выстиранной вещи в воде питьевой, мучусь угрызениями совести. Верно, что экономлю зверски и что радость выстиранного, на солнце вывешенного превышает мучение, — но и стирка, и варка еды, и мытье посуды, банок и кефирных бутылок обретает некий оттенок бочки с медом и ложки дегтя, и я не уверена в пропорции.

Что, настроения Свифта? О нет! Уют покрывает усталость, сквозь нее слышно, как Шарик завыл во дворе ночью. Это он общается с луной... Когда вчера мы заперлись на замок и открыли дверку в пасть нашей царственной передней, готовясь ко сну, — вдруг легко, как голубоватая Фея в Пихтовке (имя кошки, мой рассказ о моей сибирской избушке), вошла к нам черная кошка. Настоящая фея? Но осмотр стен показал, что в задней стене — окно (заколоченное? заставленное? Кошкин ход. Ну, а... если б захотел человек? В ночь вошло лезвие страха).

Экзамен русского близится. Грамматические правила, путаясь и перемежаясь в голове с правилами грамматики английской, кажутся много запутаннее их. Сочинение растет горной равниной, классики и советские авторы слились в неразбери-бери-ком. Рита уж не сидит за столом, сидит в постели. Бормотание длится с утра и до ночи, которая тает, как положенный на ладонь снежок.

Уж не в первый раз дети на улице (и до Кокчетова!) кричат мне вслед: «Баба Яга!» Казалось бы, пора привыкнуть, — когда еще это было в Сибири, в мои 56 лет, — я смеялась. Теперь, в 72, мне — грустно. И хуже: я ничего не нашла лучшего, как самому озорному протянуть конфету. И он перестал кричать... Сделать же это практикой невозможно — помимо недостойности такой практики — еще и по простому расчету, что не хватит на конфеты денег — их так любят и Рита и Оля. И — дети начнут вымогать... Но есть еще интерес:

почему я Баба Яга? Не такой уж длинный нос — длинный, но в норме. Очки? Малодушие мое простерлось до того, что на днях я сняла очки. Но так как кричат не в каждый мой выход из дому, то мой (научный?) интерес к тому, какой из ингредиентов, меня на улице составляющих, является бабаягиным, — не смог быть удовлетворен. Здравый смысл говорит мне, что я на себя обращаю внимание более неискоренимыми атрибутами: чем-то не типично старушечьим, не бабушкиным. По-детски и по-мужски короткие волосы из-под шляпы. И самое дорогое — шаг. Вчера, по улице Валиханова, той, где церковь, возвращаясь в сумерках и спеша, потому что жутко идти одной через холм под быстро темнеющим небом, я в обуви на низком каблуке буквально летела — ступня еле касалась земли («профпоходка», как я смеялась лет сорока). Прошло еще 30, а шаг тот же. Правда, не совсем тот, потому что стоит мне сесть, если встать потом, то шарниры боков ржаво стонут и первые шаги — как медведь. Зато вторые и третьи... этот быстрый шаг все замечают. Идти (если без ноши) мне всегда приятнее, чем стоять. Я ничего так не боюсь в себе, как неподвижности или искаженного шага. И, если на то пошло, быть бы мне Бабой Ягой или нет, если дело коснется шага — пусть я прочно, до самого конца жизни буду Бабой Ягой! Палка же не хуже, чем помело, отметаает след... Утешает же то, что Рита, меня лучше тех детей знающая, хотя больше, чем кто-либо, страдала от моей резкости, раздраженности, деспотизма, на днях сказала мне: «Нет более уютного человека, чем ты...»

Значит, Баба Яга во мне — оспорима... В Москве я несколько раз почти попадала под транспорт за эти семь лет. Стремительность или рассеянность? А тут — милая девушка, Римма Рабинович, подруга Риты, так вцепилась в меня, когда я ринулась, не посмотрев, перейти улицу, что, несомненно, меня спасла.

Если стать лицом к озеру, правый край его — плоский. Слева от озера идут холмы и обходят его, уже горами вдали, сзади. И ряд улиц, левых, идет вверх на холмы. Солнце встает над озером, справа. Садится над нашим холмом. И он не один — их несколько, один за другим.

...Между экзаменами русскими было три дня. Рита училась. До головной боли, до засыпания над книгой. Иногда мы из ресторанчика «Север» прямо шли в соседнюю с ним читальню: за комнатой шкафов и полком, где было безлюдно и тихо и милые мирные библиотекарши.

Теперь оставалась история, и на нее всего четыре дня! От древних славян — до последнего съезда! Два толстых тома! Рита уж не вставала — не одевалась, ела полулежа и тут же читала дальше. За материалами в читальню ездила и ходила я. Еще в первые дни Добрый Дух, нас тогда ночью взявший к себе ночевать, рассказал, что есть юноша, маниакально влюбленный в английский язык, — Феденёв Володя (тоже держит, как Рита). Теперь мы с ним встретились в читальне — в первый раз, когда Рита еще выходила, во второй раз — я с ним, за просмотром газет об итогах XV комсомольского съезда. Юноша — примечательный. Я сказала бы, замечательный (может быть, еще и скажу!), если б он более владел материалом, чем материал — им.

Читальня закрылась, выпустив нас. Продолжая беседу, Володя — худой, черноволосый, в очках — шел за мной, гипнотически говоря о предмете экзамена, о том, что он учится днем и ночью, так учился и в школе.

— А она (имея в виду Риту и не имея времени — именовать) — нет? Не так? Голова — не перестает. Болит. Много дней. Знаете, я, думаю, провалю! Я ничего не знаю — это переутомление, да? Как вы думаете? Я так вам о себе говорю, что, может быть, странно? Вы мне дайте совет — держать завтра? Или попросить со второй партией, через три дня?

Он не отвечал на вопросы, говорил свое. Его руки, наверно, дрожали. Говоря с ним, я пропустила овощную лавку, она закрылась. Мы расстались возле прилавка кондитерской. Рите надо было сладкого! Ему — аналгина? Он отверг аналгин. Я дала ему адрес Доброго Духа: «Идите к нему! И сделайте так, как он скажет! И, по-моему, лягте спать!»

Я — с конфетами — полетела домой. Очень мы с Ритой умилялись Володей (но умиление им — впереди). А затем настала последняя ночь перед последним экзаменом. О Рите рассказать не берусь. Но довольно сказать, что я просидела над съездами КПСС и ВЛКСМ — до 4 часов ночи, подчеркивая и суммируя

материал. И заснула (и все-таки себя разбудила!) над пленумом, потому что в голове все мешалось, и был уже 5-й час утра.

Еще о Бабе Яге. Я не досказала тогда, что мое сходство с нею неполно, потому что я — по словам Риты — «уютна», уютности же в Бабе Яге... то есть именно: чего уж в ней не было — так уютности; но, написав это, вспомнила: а ведь у нее же был — кот... Кот — квинтэссенция уюта! Он же путал ее пряжу (клубки), значит, она мотала нитки в клубки, пряла... По-моему, тут надо поставить несколько точек, потому что понять как следует темы — нельзя.

В общем, опасная страсть рассуждать приводит часто к неожиданным выводам: я хотела оттолкнуться от бабаягиного берега, а веслом — за него зацепилась: оказался еще один общий признак, еще одно сходство, кроме детьми замеченных: кошки...

По нашему двору, засыпанному соломой, бродят куры и всегда уступают дорогу. В этом есть что-то жалобное. И оно кидает тень на людей: точно куры предчувствуют... Бедная рыжая бедняга, тогда ты никуда не скроешься, когда тебя наметят — сварить...

Когда Рита сдала историю, мы, отобедав, рухнули в немецкий язык. А Добрый Дух рассказал, как к нему пришел — весь белый, руки дрожат, ночью — Володя и как он его уговорил «непременно сдавать завтра, а сегодня — лечь спать!». (Сдал на «4», удивился, думал — на «2»...)

Но еще не все о воде: куда выливать воду? Хозяйки все не было, на дежурствах, хозяин (смешно — «два Володи»...) все вокруг великолепия «Москвича» (как его — о помоях?!), и неуверенно, крадучись я лила в конце двора под доски — как вор. Но и душа же Анна Ивановна! На вопрос мой ответила с ангельской простотой, презрев человеческие понятия о приличии: «А вы лейте во двор, под ворота,— и вытечет! Володя

машину моет — тоже туда идет!» И мои мыльные ручьи, омываясь ручьями из-под «Москвича», текут под ворота в мирный закоулок, никому не мешая и не возбуждая негодования казахов.

Слова, которые она вчера горестно сказала, не покладая рук в уборке, мазанье глиной гаража и нашей избушки, в побелке, стирке, мытье полов (приходя с суточного дежурства в больнице), — полны горечи. Перекладывая с ладони на ладонь комок замазки: «Тринадцатый год! Ну почему же ни разу Володя не сказал мне: «Аня, вот это надо сделать!» Почему я сама знаю и делаю? А ведь он — придет, меня нет, сказать некому, и он ходит по двору и не видит, какой же хаос! Неужели же прибрать нечего? Прибить, починить? А скажешь ему: «Да почему же ты, Володя, ничего не сделал?» А он мне: «А что делать?» Так аж зло возьмет!» Но она любит и жалеет Володю.

У Андрэ Моруа, в книжке французского адаптированного текста, я прочла рассказ о французском банковском служащем, очень скромном, годы и годы (было пятеро детей) в тот же час уходившем на службу и со службы приходившем. Тут сходства с Андреем нет, но вот за душу меня взяло продолжение: дочь, однажды пойдя в банк по делу к отцу, там его не застала. Оказалось, что уже семь лет назад отец ее перестал в банке работать. У него была вторая жизнь — запертый дом на окраине Парижа. Там он проводил дни. Бросил службу, выиграв капитал, никому не сказав, в банк его не положив, а держал его в тайнике в этом доме. Тот француз, по словам жены его, ненавидел шум — а дети его были очень шумны, и мать унимала их еще более шумно. И он нашел себе тихий дом, населил его канарейками, чье пение было не драматично и подчеркивало тишину; у окна стояло кресло, шкаф с книгами: романтика и фантастика. Обстановки не было — почти пуста. Но на несколько вещей обихода, ему милых, довлевших, он истратил большие суммы — свое право на эту роскошь он себе подарил. Так он жил в одиночестве две трети своих дней, а одну треть молча в семье, ее не разрушая, кормя, но душу свою питал в ином месте.

...Был ровно месяц нашего пребывания в Кокчетаве, когда мы с Ритой кончили учебник 5-го класса немецкого. За десять дней! Мы открыли 6-й класс.

Сердце падало: скоро начало учения в институте, скоро Рита перейдет в общежитие — и я уеду в Москву? Как я буду там жить, оставив ее впервые одну, без семьи, с чужими? В болезни косолапую и наивную в медицине, никогда не жившую без матери и меня, беспечную и небрежную?

Три дня спустя конца экзаменов Риты пришла телеграмма о смерти моей 83-летней сестры Лёры — в одиночестве, в нашей родной Тарусе... Мой Андрей в детстве знал ее, в детстве и в юности. Вот из его мне письма в Кокчетав: «Нет слов выразить Вам сочувствие о смерти Вашей сестры. Вы, мама, герой» (далее шли слова благодарности и уважения за то, что я осталась с Ритой — с молодым ростком, только еще начинающим жить, — выбрала этот долг, пожертвовав долгом тем).

Последнее лето Лёры совпало с моим напряженным летом с Ритой и Олей — в Павлограде, Москве и на Балтике и с приездом из-за экзаменов в Кокчетав. Тут я девочкам была нужна полноценно. Бросить их я не могла. Я старалась устроить Лёре женщину, друга — не удалось. Я писала ей, что в конце августа, освободясь от Риты, тотчас к ней приеду. Она скончалась 17-го, в день последнего Ритиногo экзамена. В предпоследней открытке мне (как я счастлива этими добрыми словами, прощальными!) она писала: «Милая Ася, я очень благодарна тебе за посылку, за хлопоты». И «желаю твоим девочкам всего самого хорошего. Вы там делаете все возможное, делаете дело, молодцы. Твоя...» — подписи имени не было. И в последней открытке: «Лежу. Слабовата пока. Что будет — не знаю. Не думаю (еле видно, карандашом). Розы, флоксы украшают оба входа кружевной листвой...» Верна себе — еле держала карандаш, но писала о любовании: оно (цветы, зимой — вышивки, выдумки рукоделия) составляло нерв ее жизни... кошек любила, как все мы, — без нее они осиротели... Место Лёры пусто на свете, эту пустоту я все время чувствую. Рита, юная, иная, здесь не может мне облегчить. Она облегчает — собою: входит — молодая, моя — это греет. Но пугает

ее резкость. Часто кричит, грубит, и я вспыхиваю, кричу. И близится мое второе горе — уход первой по близости после Марины и Лёры — Маруси моей, Марии Ивановны Гриневой, второй жены Андреева отца, — 52 года дружбы... Она — при смерти. И я их года три назад подружила... и обе они...

Я жду скорбной вести каждый день, она уж давно мне не пишет (писала все эти 50 лет, если не вместе жили...). Эти два ухода (второй, без меня свершившийся) отняли какой-то еще год назад бывший свет...

...И все нет времени сойти на два «квартала» ниже лавки (где покупаю продукты) — к озеру! За два месяца всего — три раза: с рыбной ловлей сына во второй день, один раз с Ритой — постояли у левого гористого края, поговорили с молодым художником (видно, Рита понравилась, не переставал говорить, и было жалко — расстаться), и в третий раз — вечером, с Добрым Духом и его женой, будущей преподавательницей Риты (английский), — но был послезакатный сумрак, трехлетнюю Леночку, вылитый портрет Доброго Духа, облепили комары, и мы тотчас же ушли, ничего не увидев. Озеро нам — в нашем по горло занятом дне — панорама изда- лека, смена цвета его далекой, манящей — и не дойдешь! — полосы.

И пока я пишу, там, может быть, умирает мой самый преданный друг, 76-летняя (знала ее с 24-х!) Мария Ивановна, Маруся... Она бы, может быть, прорвалась ко мне, если б я... Полтора года назад она мне: «Ты не бойся ослепнуть! Я тогда тебя заберу и все буду тебе делать...»

Самый бессребренный человек. Кому-то нужны деньги? У нее (последние) 5 рублей. Вынимает, не задумывается... Я бы дала два, ну, три, себе бы что-то оставила... она — нет. И она — умирает...

До устройства в общежитие оставалось четыре дня. Кончив 5-й класс немецкого, мы пошли искать слесаря — ключ к замкам Ритиногo чемодана. Безнадежно: «бытовые» конторы неведомо где, переехали, неуловимы. Истомясь по жаре, встречаем белобрысого — думали, еврей — нет, татарин. Думали, ловкача — а «ловкач», согласившись помочь, дав свой адрес, починив все, велел брату «отдать — придут», не сказав цену,

и брат отдал и чемодан и ключи, и, когда мы на другой день зашли уплатить, мать-татарка чинно повела к столу, угостила, а сын заводил татарскую музыку, узнав, что я ее очень чту и люблю с дружбы моей (1919 год) с Ягьей Эфенди (феодосийский скрипач), и насилу взял рубль, а когда сделал дверные ключи к комнате общежития, переделав (от вора) замок, среди ключей трем девочкам был один, где он выколол «Рита»... Мать звала заходить, счастливая мать троих сыновей... Чистота в доме их — нереальна!

Всех ли так, как меня, вела жизнь через смену богатства и бедности? (И если понятие первого в моей жизни было умеренно, скромно, то воплощение второго — наоборот, коснулось уже нищеты.) Но я не о материальной стороне вопроса, а лишь о психологии того и другого. О том, с какой легкостью я переходила от (всегда недолгой) возможности щедро тратить — к крайней экономности трат. О том, как дома я всю жизнь была и в том и в другом. Как безудержна в покупках, подарках, весела в процессе тающего содержания кошелек — и как скрупулезно, осторожно умела в необходимости прожить на такой минимум, на какой немногие бы сумели.

Переход этот биографически имел место немало раз. Имеет и ныне.

Пока я пишу, на мой лист влез пружинными движениями сегментов светло-зеленый — как хризолит на солнце! — с темно-зеленой головкой червячок (ела яблоко). Таинственность появления и тишина, с которой он двигается, бесстрашие (он так мал, что не видит меня, не соразмеряет нас!) вмиг наполняют меня неким трепетом уважения, осиливающим отвращение. Любование, касанье к неведомому, к священным разновидностям жизни. Спеша, чтоб он не уполз (заползает в рукав — неприятно), чтоб не увидела Рита (закричит и раздавит...), встаю, быстро и бережно выношу листок в сени (замок уже висит, во двор доступа нет) и сбрасываю его в уголок, где сор, ящики, бачки, — он найдет себе некий «дом». Содроганье всю жизнь от, должно быть, человеческого безумия? Большинство,

бездумно взяв право уничтожить, только и делают, что давят, хлопают, убивают — то, что могло, не будь их, жить... Чудовищно! Продолжаю. Что же из двух мне ближе? И даже не договорив,— конечно, второе, бедность...

Рассуждение сие — не случайно, не праздно (хоть и в праздности оно имеет право на), ибо непраздную! жизнь: первый месяц прожив «широко», то есть не считая трат, пришла к моменту, когда деньги мои иссякают и надо все точно записывать и рассчитывать, чтобы дать родителям Риты итог суммы, ей необходимой на жизнь. И сразу я — о себе — à quatre pattes!¹ — знакомый чертеж бедности (может быть, и нищеты). Сразу становится ценным и дорогим каждый кусочек. Рите в суп — картошку, капусту, морковь; луковку для поджарки в масле. Себе — крошечка лука (на дешевом растительном — лишь бы капельку пахло приправой,— и то весело, хорошо!). В ход идут в мой суп все очистки от огурцов (роль картошки, ибо она пока — роскошь, за ней надо ехать на рынок и ее оттуда тащить, да и недешево). С дна кастрюли бережно — начавшую пригорать вермишель — две столовых ложки,— ее в мою миску, где варятся огуречные шкурки. И, поджарив крохи лука, получаю вкусный и почти даровой суп!..

Покупаю себе то, что всего дешевле. Корки (зубам жестки) — в сладкий чай. Поразительно дешево можно жить с лапшой, вермишелью; ополоски бутылки из-под кефира — белое, приятное на вкус питье. Драгоценностью-радостью предстает яблоко. Целое яблоко... Стакан сладкого чая цедится (как вчера не цедилось), как веселый нектар.

Почему такое — мне так естественно, так возбуждающе — мило? (И противно — другим?) Никогда не чувствовала права на первый сорт, скажем, фруктов: он — тем, кто слабее или глупее меня, людям больным — или пустым и чванливым. Тем, у кого нет ничего за душой,— они существуют покупками, правом на первый сорт. Мне — хоть четвертый, и то спасибо! Разве сытость (чем бы то ни было) не есть уже праздник? Мы

¹ Буквально — «на четыре лапы» (франц.).

с жизнью — свои люди, сочтемся! Счет ей не предъявляю! Да и как забыть годы голода? Тогда это же была очевидность, это всё! Прошло? Нет, не прошло — вечно живо! Твердо и навсегда — мое. Оно — истина. И как мне жаль — всех!

...Соединенье во мне раздражительности и терпенья! Муки дня. Узость двери; веревка, которой (при открытых днем сенях) завязывалась дверь. Болтается под ногами и качается на ней котенок! Черный шнур — змея по полу (от электроплитки). Спотыкаюсь. Воду держу в литровых и пол-литровых банках — то и дело их наливать, и то и дело тухнет спираль. Часто еще у хозяев выпадает из розетки вилка нашего провода — тогда тухнет и свет, и плитка. Иногда это случается, когда их нет дома и заперто. Тогда у нас прекращается «все».

На кого сердиться за подагру, боль в сердце? Надо лечиться, терпеть и просить судьбу, чтоб — не хуже. На Кокчетав сердиться за неудобства? На милый мой Кокчетав? Это — как сердиться на Шарика, что своим боем с цепью, лаем — мешает спать. А кто же Шарика пожалеет? Кто Кокчетав пожалеет? И где, когда было без мýки? Мýка — закон вещей. У Шарика белые перчатки на лапах, весь элегантен, а лезет в такую сломанную, серую, старую будку. Не замечает! У него надо учиться жить...

Рита болела, и я пошла в ресторан «Север» за обедом. Я прошла, как уж не один раз, в узенькое отделение за обеденным залом. В прошлый раз милая девушка отпустила мне еду, но был уже не обеденный час, не «столовая» — час после перерыва, и столовая превратилась в ресторан: тщетно стояла я в очереди из трех человек, меня оттирали подгулявшие граждане, выйдя из зала, торопя шампанское, они шли к моему окошку. Официантки у окошка получали талоны, расплачиваясь за них деньгами из открытых карманов белых нарядных фартуков. Блеща злыми подкрашенными очами с лохматыми от краски ресницами, они горделиво кидали им назад: «Садитесь за свой столик»... и, облив пренебрежительным взглядом меня, старушонку, точно окатив кислым соусом, зло праздновали свой час красоты и власти в этом заколдованном

царстве питий, яств, денег. Тщетно молила я об одном обеде для больной — не звучало. В мире шампанского и антрекота — больных нет. Тогда, увидав что-то похожее на заведующую, я обратилась к ней. «Хорошенькие дела у вас тут! — сказала я загадочным для старушонки тоном.— Ходишь-ходишь к вам обедать, пока здоров, а если человек заболел — вы ему не отпускаете обеда! Сколько же можно ждать?»

Голос мой, как струя сифона обдав ее слух, прозвучал: такой тон котируется.

— Сейчас, мамаша, сейчас отпустят! — мирно отозвалась та (да и в самом деле, старушонки-то бывают разные, кто их знает, этих старушонок... Может, какая-нибудь подружка Мариетты Шагинян, которая везде борется за правду и, если что не по советскому закону, до самого ЦИКа дойдет!..)

И мне отпустили обед.

А я, хоть и не подружка Шагинян, потому что встретились мы с ней всего четыре года назад, но вот только потому, что поздно встретились, — не удосужились быть подружками, зато с первого же разговора — все сердце мое в ее пыл, в ее нестарухины повадки, в ее одинокое житье с внуком, у нее отобранным (впрочем, жалко отдать — но внук...). С ее ездой по всему миру — в 77 лет! — ее острыми, зоркими, мужской хватки газетными письмами из всех стран. Все сердце в ее тон, когда пишет о Петре Первом. Маринины стихи вспоминаются о Пушкине:

Прадеду — товарка:
В той же мастерской!
Каждая помарка —
Как своей рукой...

В ее девичье, верней, юношеское еще озорство, в ее огненные глаза и маленький (мал золотник, да дорог) рост. И ее чайники! В кухоньке их — зоосад, кунсткамера! — перегоревших, скореженных (ее! огнем, когда) — и это неисцелимо, ибо сие не болезнь, а здоровье! Увлеченная беседой с пришедшими к ней, она забывает о поставленном чае — и вот еще один образец огня в кунсткамеру ее огня, Шагинян Мариетты!..

В 66-м, когда наконец после моей публикации в «Новом мире» состоялась наша настоящая встреча и

она, читая продолжение моих воспоминаний, увлеченно говорила о необходимости их печатать и кормила меня тортом и чаем, случайно вскипевшим, я пожалела о том, что в 62-м году, на вечере Маринино 70-летия, я не поняла, какая она, Шагинян. Было так: внизу, где всех не впускали, хоть и были у нас пригласительные билеты на вход в зал Дома советских писателей, осажденный безбилетной толпой, сдерживаемой милицией, я стояла, с горькой иронией глядя на суету посмертного признания, Марине ненужного 21 год спустя после дней, когда из этой толпы не было с ней ни одного человека, близкие же отняты были! И тогда я услышала негодующий голос: «Нас не пускают! Старый президиум! А какие-то без прав — проходят!»

Я оглянулась: возле меня стояла маленькая, плотная — но как металась! — подвижная старая женщина — не старуха! (старухи лежат на печи и бродят с кошелками!), — и по ее взволнованному лицу, темно-глазому, восточного типа, шли глубокие складки негодования.

Мне стало тепло — жаль обиженную.

— Ну зачем вы так волнуетесь, — сказала я, — у меня такой же пригласительный билет, как у вас, я — сестра Марины Ивановны, меня же тоже не пускают — но пустят же!

Но она не слушала. Так шумели, милиция оцепила входные двери, ничего нельзя было разобрать, меня оттеснили. И когда, после прихода директора, ставшего в вестибюле и отрывавшего подходившим добавочные билетки от рулона, похожие на трамвайные, нас впустили наверх в зал, там, в фойе, ко мне, сестре Марины, подвели ту взволнованную внизу старую женщину, и она оказалась Мариеттой Сергеевной Шагинян. Но уже начиналось что-то на эстраде, и нас опять разъединили шедшие на места люди...

Я выходила из ресторана, неся обед.

Уже выводили кого-то, нашампанившегося. Другой наглец фамильярно болтал с официанткой в гофрированной наковке, со сверкающим маникюром и кольцами; другая хохотала, ловко неся четыре графина вина. Их головные уборы, как оперные кокошники, были жутки в этот пьяный и сытый час. Я вышла из ресторана в счастье ветвей.

Был конец августа. До переезда Риты в общежитие (далекий от меня и от института серый пятиэтажный дом по улице Маркса) оставалось два дня. По уговору с Равилем (тем гостеприимным татаринном-слесарем) мы на следующий день должны были получить ключи от ее с подругами будущей комнаты общежития. Рита, ложась, занималась немецким. Еле урвали мы время побывать в библиотеке на тихой безмагазинной улице Кирова и, пообедав, возвращались домой в автобусе. Но, как всегда, села там, где «инвалидные» места, спиной к водителю, Рита стояла передо мной. Был жаркий день. Внезапно и Рита, и все рядом стоявшие качнулись резким, заводным движением вперед, назад — снова поклон вперед — лицо Риты, только что бывшее много выше меня, оказалось на уровне моего лица, она и все вместе с нею стоявшие кланялись и отлетали вверх и назад. Сиденье, с которого я не вставала, затрясло, кинуло с треском и грохотом вниз, вверх, судорожно соблюдая свой тайный ритм в подневольности происходившего. Может быть, я ошибаюсь, что не кричали люди? Испуг отнял крик? Описанное десятиком строк длилось мгновенье! В мозгу что-то вроде: «Авария! Будет хуже? Набок?» Но ощущения страха не было. Нас трясло, кидало как будто в яму и снова подкидывало, что-то стряслось с летевшим автобусом, но он летел, не падал, и, должно быть, я это поняла, потому что потом оказалось, что я сказала Рите: «Не бойся, не бойся...» — в мгновенном осознании, что — пройдет! Не хуже — значит, оканчивается... И в резком толчке все вдруг с размаху остановилось. И тогда (или я до того не слыхала?) поднялся крик. Очень кричали дети. В опасении, что будет свалка от желанья всех выйти в двери, я громко сказала:

— Ну, что кричать, когда кончилось? Остановились же, давайте спокойно выходить!

Девочка лет десяти и, заглушая ее, все кричали... Рита ли вышла, я за ней? Не помню. Обе створки сломанной двери отлетели вперед, вверху еще держась, и кто-то, думала я, их придерживает. Что их отламывали — я поняла поздно, и меня левой створкой ударили по плечу. Но, должно быть, не сильно, потому что боль не перевесила того, что было кругом. Откуда появились медсестры?

— Кому нужен йод? — кричала я, вынимая из сумки

флакончик с винтовой пробкой, который всегда со мной, как и парный ему — с нашатырем, — и уж женщина подставляла раненую в кровь ногу, и еще кто-то шел — кровь на руке, и кому-то я лила на колено. Все говорили разом. Старик просил медсестру сказать по телефону жене его, что он больно ушибся, в ребра и в руку, и рука его уже была перевязана (а он только что к медсестре подошел). Это было, как бывает во сне (он шел домой с перевязки). Я совала медсестре йод, она выбежала с медпункта без всего. Потеряв из виду Риту, я вела старика к подъехавшей карете «скорой помощи», где кому-то уже перевязывали голову — ранение возле уха. И все радовались, что нет жертв. Говор был громок, разноголос, все толклись и вертелись, и стоял спор о причинах случившегося и о том, чья вина. Рита, увидав меня, подошла, возбужденная, бледная, повторяла: «Я очень испугалась. Я видела: справа из-за поворота на нас налетел грузовик. Он толкнул нас, и мы перелетели дорогу и попали в левый кювет и снова полетели назад, в нашу сторону, и — в правый кювет... Я все это видела — понимаешь, я же стояла — лицом. Меня и сейчас трясет! Мы на столб налетели — видишь? Если б не он — мы бы...»

Тут только я увидела, что под ногами — пополам сломанная, вывороченная автобусом бетонная труба, над нами косо наклонен столб и висят порванные провода, а перёд автобуса (кабина водителя — то, что было прямо за моей спиной) отошел вбок от машины, как поднятое крыло жука.

На обратном пути, то есть домой, с нами ковыляла девушка с распухшим коленом, я мазала ее йодом и, остановясь, убеждала пойти сделать укол от столбняка.

...Оттого ли я мало пережила аварию по сравнению с Ритой, что она видела происходившее, а я, сидя спиной, нет (и ее, стоявшую, резче кидало, чем сидящую меня), или в 72 года человек более вял, чем в 18?

Но Рита пролежала весь следующий день, и я одна поехала в общежитие на встречу с Равилем и с девочками (Риммой Рабинович — горбоносой брюнеточкой, приветливой и оживленной, и русоволосой тихой Ниной Герман, немочкой). Равиль приехал на велосипеде, сверил все, взял с нас мало — «чего со студенток взять», я благодарила и передавала привет его матушке, и тогда-то на столе оказался ключ с выгравированными

буквами «РИТА»... Трогательно приглянулась ему Рита! Рита завтра уйдет от меня в общежитие, впервые оторвется от дому, в первый раз ляжет спать не через стену от матери (зимой, летом — в первый раз не со мной). Рита завтра вместе со мной перевезет свои вещи в чужую комнату... До конца этого осмыслить — нельзя

И вот снова я на холме. Вчера, усталая от укладки с Ритой ее вещей, варки, мытья, раздиранья надвое нашего бедненького хозяйства (две кружки тебе, одну — мне, термос — тебе, новую плитку — тебе, мне — старую, ложки-плошки, банки, лекарства, столовый нож — тебе, мне — перочинный), от малого сна, толчеи, я, раз съездив с Ритой с сумками в ее общежитие, во второй раз, с легоньким чемоданом, пустила ее ехать одну: вечером поедем еще раз вместе, надо беречь силы, сердце немного болит. Мы стоим у нашего дома, перед пологим холмом, ей — вниз, мне — вверх (в дешевую столовую, где ей не нравилось, плохо готовят, а мне — сойдет), уговариваемся. Целуемся, она шутит (чтоб меня ободрить), а я, отупев от усталости, старости, даже не ощущаю, почти, расставанья. Умом говорю себе: вот она и уходит, вниз по горе, одна с чемоданом — и я смотрю вслед. И иду — есть (ей — кефир), и чтоб скорее лечь, хоть на полчаса. Это было вчера. Сегодня — совсем другое. Я ее проводила вчера, они рано ложились с подругой, и я в сумерках, пройдя кусок до и другой — после автобуса, вернулась на свою гору. Было 31 августа, день Марининой гибели — 25 лет! Я села хоть по несколько строчек окликнуть ее дочку, Алю, и близких друзей. Черная кошка, наш с Ритой друг четырех с половиной недель, спала на постели; потом — ушла. Я легла, стараясь радоваться, что Рита с хорошими девочками на чистой постели и спит. Потом была ночь и сны. А когда я сегодня встала — тоска, да такая, какой не ждала! Не в первый раз мы с ней расставались с детства, но такого еще не было. Больше четырех месяцев мы прожили неотрывно, и важные события ее жизни спаяли нас. Я ревела, как баба по новобранцу, и не понимала, как могла вчера с ней на этом холме расстаться, дать ей уйти, а сама повернула в столовую, убрать хорошо комнату, лечь спать?..

Обогнув холм, я сошла за кефиром Рите, но столовая была заперта. Был синий прохладный день, гряды облаков, ниже — крыши города. Мой холм лежал коктейльским родным очертанием, и впаянные в него метровые камни, крутые, побежалых тонов, были как Киммерия. И была тишина. В жесткой траве, похожей на шерсть козы, цвели меж низких полыней лиловые низкие цветики. И каждый раз рву их маленькую охапку, но прежних нельзя выбросить, они сухи и не увядают. Я иду и люблюсь камнями, их сросшестью с пейзажем, тем, какие живые они — как в сказке. И каждый — неповторим. Вокруг них — обломки таких же, они в миниатюре, розоватые, белые, рыжие, остроугольные. (На столе их у меня — уже кучка.) Никого. Как сладка тишина! Волосы с висков отмело легоньким ветром. Печаль расставанья с Ритой кто-то точно гладит рукой... Поднялась, выхожу на дорогу. Блеск осколков стекла разбитых о камни бутылок резко нарушает тишь холмов. Точно кричат голоса. Для чего было бить тут бутылки? Их же можно помыть и — продать. В какой злобе...

«Это — Каин, — думаю я, — обходя острые светлые днища, пышущие остриями. — Каин, бьющий и бутылки, и камни. Ненависть! А то, — я оглядываюсь на каждую пологость холма, на пахнущую Коктебелем полынь, невянущие цветы, скромными звездочками лезущие из сухой земли, на разноцветные горки камней, тоже из земли вышедших, — это — Авель...»

Я спускалась домой.

Жизнь так добра! Можно ли было поверить, что мою тоску одиночества что-то исцелит? Ее исцелил приход Риты. Ее смех, ее ласка, объятье...

— Баб, я по тебе скучаю! Ну, зачем же? Не плачь, не плачь...

Вкусный, заботливо (мало денег) приготовленный ужин, радость, что человек жадно ест, хвалит. Уют еды, рассказов о ее новизне, о первом дне лекций...

Рита, кончив уроки на свой второй день лекций, спешила скорей к девочкам, я пошла ее проводить до автобуса, уж темнело.

...Я не знаю, когда это началось. Еще при Рите? Или когда я вернулась? Когда я вышла из столбняка чувств, потока усталостей? Может быть, только тог-

да, когда кошка, войдя, захрустела остатком мыши?

Научила смиряться со злом? Потому, что кошка и мышь — это штамп.

Рита приходит, я кормлю ее и с ней занимаюсь, захожу в знакомый мир нашей с ней жизни, спешка помогает отвлечься, я радуюсь ей, ее жизни с подругами, ее первым шагам в институте и общежитии; пользе, какую стараюсь ей принести.

Маленькая, белая, низкая, бедненькая комнатка, где мы так дружно, в общем, прожили более месяца с Ритой, мне кажется, пробует по-своему утешить меня — тишиной, тойжесамостью, что была в пору горячки экзаменов, белизной, отдельностью от дома хозяев, черной собакой Шариком (у него белые лапы) и черной (белые волоски под шеей, не годится для колдовства) кошкой.

Печкой (поставила ее ножку, сломавшуюся, на опрокинутую жестянку — горит).

Грелкой, — холодно, положу ее в постель под ноги. Может быть, кошка придет. В доме хозяев все спят.

Все так же бьется о свою цепь Шарик, внезапно много раз в день кидается на нее, рычит, яростно-хрипло лает, грызет, отбегает на конец, натянув ее, — и оттуда внаскок — к столбу, где она вкручена, шерсть дыбом, бьет лапами — как мучается! Не сдается. Но никто не может ему помочь. Только Рита тайком (я — не решаюсь) отпускает его длинней, и он бросается по недоступным ему местам двора — более широкими кругами. И я думаю о том, что никогда до 72 лет не видела такого с собакой.

Я отодвинула белую низенькую занавеску, в комнате просветлело, жестяную терку на стенном гвозде окатило кипятком серебра. Как я во многом себе потакала, спускала петли, боясь перегруженья в моем суровом нагруженном дне.

Приходила Рита, каждый день занимаемся, я кормлю ее и тоскую, прощаясь. Я приехала в их дом перед ее рождением, рассталась затем на два года; с ее 4 до 7 лет часто виделись, с 7 до 12 жили в одной комнате,

с 12 — все лето вместе: Москва, Вологда, Малоярославец, Таруса, Ленинград, там — дома моих старых друзей, и шесть раз поездки в Палангу, на Кенигсберг, Клайпеду, Либаву, Кретингу, и всегда Москва и Таруса, английский и французский языки. Два раза, в ее 8 и 9 лет, с нами ездила Олечка, уж начала английский, играет, я им послала пианино. И Рита училась играть. До ее 9, до Павлодара, жили с ней под Вологдой, в Сибири, в Башкирии, в Салавате, ездили с ней в Уфу.

Скоро в Москву. Как будет мне без нее одиноко... Снова большой город... И асфальты всех будущих моих городов...

Мирно, как прежде, кричит петух. Я радуюсь, что тепло, добрый синий денек, я пойду по солнышку в магазин, возьму дешевых овощных консервов приправить нам суп и, может быть, Оле найду авторучку, она ей обрадуется. Спуск по горе и вправо к автобусу по безлюдной теплой улице с ветками и низенькими домами — ласков. И сегодня пойду в ту дешевую столовую через полынный холм. Она бы тоже могла радоваться сегодня солнцу, отысканию какой-то еды...

Не за то ли терпенье, с каким месяц переступала через змеиные кольца непомерной длины шнура Володиной плитки, судьба мне послала, во-первых, окончательную ее непригодность и, во-вторых, адрес хозлавки, где есть плитки — не за 11 рублей кошку в мешке, закрытую, — открытую, за 2 рубля 40 копеек! И запасные спирали... Своя! Горит розово-малиновым цветом, не гаснет, и все вмиг закипает... И не спотыкаешься через черное чудище в палец толщиной под ногами! Шнур вчетверо тоньше, и, хоть несколько короток, плитку можно ставить на табуретку, и шнур не преграждает тогда путь к двери...

А лавка, где она жила до меня! — не магазин роскошного образца фигли-мигли, а добротная тарусская лавка моего детства! Там пахнет рогожами и замазкой (и была женщина, пошутившая о комке ее, брошенном на весы, — «халва!» — это тоже подарок, я всегда

сравнивала замазку с халвой, только не записала...). И по той же отдаленной улице — другая тарусская лавка — из сна: съестная, низкая и уютная, пахнет хлебом, вареньем (не унюхала каким!), и такой компот, сухой — местных яблок и груш, мог быть только в такой лавке: один вид их, кургузо накромянных, толстых и темных, подает в рот их вкус, и навар с них — густой, коричневый, кисло-сладкий, как квас в жбанах, а не песочного цвета дорогих компотов городских, сладеньких или кисленьких, малосильных... А вход в лавку? Сени — деревенские, с окошком, и под ним — коротковато лечь, но непременно, согнувшись, ляжешь — широкая скамья — просто рухнешь в усталости (и кто-то уже спал, спит! — подушкой «под голова» — мешок с зерном; видно, чудно бы тут прошла ночь, под зипуном, и сны бы — невесть какие... Бывают же чудесные дни!

...Хоть несколько коротко я написала про новый шнур, но судьба спасла! Я ее, плитку горячую, не тронула с ее места на краю печки — шнур, вместо тех змей на полу, натянут был как струна, и, забыв о нем (тонкий, в моей близорукости он отсутствовал), я, идя через кажущуюся пустоту, сорвала — не вилку из розетки, а плитку с края — и — какая удача! — плитка повисла на шнуре, мною, в испуге, подхваченном, а глубокая (эмаль!) тарелка с макаронами (в той лавке купленными) ловко и добро, как стала вниз дном, упала на место плитки, и все цело — еда, плитка, — настоящий цирковой номер!

Шли по улице (явь), Рита и я. И лежал в колее башмак, заскорузлый, как колея, — и один.

— Опять, Баб! — сказала мне Рита.

Я давно ей сказала, в детстве еще: сколько ни ходи, не встретишь двух выброшенных вместе, а по одному всю жизнь будешь встречать — туфля, калоша, мужской ботинок, женская, домашняя... но эту тему, незаписанную, я еще, может быть, когда-нибудь подыму. Я ее с 1933 года хочу посвятить Чарльзу Лэму (очеркист XIX века). На днях в невообразимом скарбе в мелкой яме посреди Чапаевской улицы (пружины,

сломанное колесо, проволоки, жестянки) был башмак взрослый — и, к нему прижавшись, детская парусиновая туфля, рваная. Но кажется мне, что один раз, несколько лет назад, я будто увидела вместе два парных башмака! Но (если это была явь) это было так удивительно после десятилетий обратного зрелища, это вместиостоянье вне дома их было так поразительно, что я глазам не поверила, и, может быть, потом это показалось фантазией,— и, может быть, это и не была явь... Во всяком случае это бы разбило всю тему сужденного одиночества выброшенного башмака,— и, раз у меня нет уверенности в разбитости темы, я ее все-таки воплещу и подарю памяти.

Рита свалилась в гриппе — у меня, и три с половиной дня мы опять жили вместе. И хоть я очень устала (уход за больной плюс хозяйство и тасканье всего по горе) и ничего не писала, но я была счастлива тем, что нужна, тем, что уют, иллюзия семьи, единенья (вместо того одиночества, которое я ведь люблю...). Но как любят холодную воду: целительно — бодрость — активность. Мужество. Но есть ведь в душе и обратные свойства, они тоже желают — жизни... Странно, что при такой энергии, выделяемой при хозяйстве, служении другому, уходу за ним — трудному же! — это все же не актив, а пассив — блаженство согретой воды...

Внучка Олечка три последних года плакала, прощаясь со мной (шести — девяти лет).

— Ты меня больше любишь! (Рита).

Я Олю тоже очень люблю. Дикарочку, невоспитанную. И в семь лет так плакавшую над Рустемом и Зорабом. Мне: «Бабушка, какую мне мама книгу читала? Такую печальную, я хочу ее выучить наизусть» (Песнь о вещем Олеге). Золотоглазочка... В шесть с половиной лет детонировала, а в семь — через месяц после начала! — играя, точно обводила голоском каждую ноту! Вглотнула бемоли, диезы, бекары и паузы, басовый ключ — как свое, родное. Через два месяца так сыгравшая свои пьески в семье Бек, что старые упорные немки ахали удивленно над чашками кофе...

...Осень! Холодно — как только солнце — за тучу... Закат. Иду быстро, впереди — холмы, низкие. Да, холмы лучше гор. Горы — громоздкие, никуда не зовут — давят. Холмы — и в них уходящая дорога. Почему молодею при виде холмов? Потому ли, что холмы — Коктебель, мои с Мариной 1911—1917 годы, без нее 1919—1921-й, или потому, что дорога между холмов — это *Wanderjahre*¹, дали — манят, дорога зовет — идти... Хоть на палочку опираясь (пока еще не опираюсь, чеканю шаг — тростью! Но близок день — обопрусь...) — но идти — как дышать! Идти!..

Цветаевское, в крови (папа любил ходить! Задумается и идет, и мы две рядом, по Шварцвальду, по Саксонской Швейцарии, 1905-й, 1910 годы...). Маринина «Ода нашему ходу» во мне продолжается, хоть настал 78-й год!

Иду. Три дерева: одно густое, зеленое, мощное. Рядом — почти совсем облетевшее, выше. И третье — ярко-желтое, с зеленью — что-то в нем — от костра...

А позже, когда уже при луне проводила к автобусу Риту (переутомляется, мало спит или чем-то печалится — скрытная, не скажет...), иду, сама пригорюнившись о ней, с чем-то трухачевским в судьбе? в свойствах... захолодев от ее холодка, *igusquegie*², оттолковения ее (порой — а порой тянется к ласке...). Как пойдет жизнь? Господи, сохрани! То место, где два месяца назад был прудок и где так долго потом в жару было сухо до треску, пустыня (писала ли?), где утки плавали, — ходят куры, будто «с того света» глядишь — сегодня, после ночного уже, осеннего, холодного дождя — озеро! Длинное, черное, тихое, и в нем, как в зеркале, повторен, опрокинулся домик с освещенным желтым окном. Иду, жду, когда отразится луна, — и вот идет блеск, слабый, искры — столбиком. И вдруг — всплывает! Две голубых луны! Еще десять шагов — и под другим домом, отраженным одним абрисом тьмы в засветлевшей луной водной глади —

¹ Годы странствий (нем.).

² Резкости (франц.).

звезда. В небе она совсем низко над крышей. В воде — прямо под крышей, точно выпала из нее в воду. С подозрением: что-то она так ярка? Может быть... какой-нибудь — спутник?.. Мимо!

Из первой стипендии Рита мне к моему дню рождения принесла чудную трикотажную темно-голубую рубашку и коробку рахат-лукума!

— Искала тебе часы-кукушку, нет нигде... — Это после того, как я ей накануне сказала, что денег со стипендией хватит до новых от отца ровно-ровно, в обрез! Трухачевская и цветаевская широта. Но какая другая — душа? Или что? Кровь? Кровь, наверное... Несколькими днями поест то же самое — уж не надо. Если в городе есть груши — только они нужны (дорогие), сразу не надо яблок — хочет только во всем (в одежде, обуви и в еде) — первый сорт! Нет, это не «важничанье» — это «такое» природное, обратное моему... страсть к скромности, во всем этом — радость о зарплате на башмачке, с детства.

Но вчера в первый раз, может быть, так четко я почувала в Рите, в ее внезапной (мне) тоске, молчащей и неутешной, то трухачевское начало, которое пылало ледяным огнем в ее молодом деде и сквозит в его сыне, ее отце. И почудилось мне кровное сходство с Мариной юностью — неутешность.

К ней вчера не было доступа, как к Марине. Аля¹ бы засмеялась надменно: Марина — и Рита! А я — мне повезло: вздох, о коем никому не скажу... И мне захотелось исполнить ее девчонкины блажи (с ними часто борюсь). Глядя в корень на них, я, может быть, — права, но à vol d'oiseau² — пусть будет хоть этим счастлива! Вот это мое о Рите. Аля очень хорошо поймет — сама мне писала об этом.

В Рите живет — неожиданность, глухо. И в Андрее живет. Борис был — ее воплощением. *Каждый* миг; что делало жизнь с ним невыносимой. С Андреем и Ритой — трудной.

¹ Дочь Марины, Ариадна Сергеевна Эфрон, Ритина крестная

² С птичьего полета (*франц.*)

...А сегодня мне снились Кунины, все трое — брат, сестра и жена брата, и так меня к ним кинуло — весь день полна нежности к ним. Но это не тот случай, когда «за сон» — не случайность; знаю, что потому и приснились, что таковы. Будь они со мной не с 66 лет, а с 16 лет — о, как было бы мне — легче. И я верю, что судьба не отнимет их как помощников в «Воспоминаниях», которые и буду писать.

А Але — на несказанное — ответчу: отъединенность от всех Маринина — не лично ее. Всех, кто в гордыне романтизма. Лично ее — конец «Искусства при свете совести» — преодоление гордыни. Живи она... выживи — она была бы седой хрусталь. Мудрей всех.

Я несу Шарику консервную банку, едой полную — мутную. Он, исполнив балетный танец ее встречи, возвращает мне ее — золотой, пустой. Перед тем как начать ее — всегда помедлит, затем залает на кур — «не подходи», затем ест. Есть и у собак своя традиция.

А кошка все глубже входит в Arg Amandi — научилась ласкаться. Бодается, как настоящий кот. Так 15 лет назад бодалась серая (сизая с голубизной) кошечка Фея в Сибири, соседская, и звалась она у меня Фея Бодалочкина: «Фея» — за то, что всегда появлялась внезапно (ко мне прийти ей значило обойти край хозяйского владения, пройти все владение моего соседа и тогда только войти ко мне.) «Бодалочкина» — за то, как, появясь феино, как призрак, тотчас воплощалась в упругом боданье меня сизой своей (узенькой) головой.

Так и эта безымянная кошечка (стареть стала я, что не назвала ее целых два месяца) — стала настоящей кошкой, женского пола — от ласки. До того она воображала, что она просто кот — для ловли мышей. Был деловой дикарь.

А веревка все так же висит на ручке двери, длинная (скоро ею завязывать чемодан). На ней тигровый котенок качался, его уже нет на свете, а веревка все

на двери, и я ею, вместо крючка, все завязываюсь, когда днем ложусь или когда спит у меня Рита. Такой же дверью до смерти пришибли его «в людях».

...Как-то у меня ночью или боля, Рита сказала:

— Баб, мне сейчас показалось, что я у тебя в Сибири, в Пихтовке, на улице Куйбышева, в детстве... Такая же маленькая избушка, печь...

Каждый день, идя за обедом (часть варю дома), я всегда шла по холму — тропинкой. Однажды у нее увидела мертвую белую курицу. Собака? Коршун? Но — нетронутая; в пышном теле ее, бессильном, играл в перьях ветер, и охапка перышек по другой бок тропинки запуталась в низкой полыни. У ближнего под холмом дома играли мальчишки. Я сказала одному про курицу: «Может, ваша? Поди посмотри!» Он выслушал, но игру не бросил, не пошел. Так курица продолжала лежать много дней.

Раз как-то, задумавшись, я пошла не тропинкой, а по дороге, на другой день, по инерции — тоже, может быть, и на третий. Как-то идя по холму — бодрей, встревожилась: почему так хожу? Оглянулась, пошла назад, чтоб — как всегда. Нет тропинки. Я всегда спешу к Ритиному приходу, некогда было начать искать как следует, но каждый раз, хоть немножко, вбок шла, ища ее. Наконец стало ясно: как ни ищи, как ни иди — нет тропинки! Исчезла. Так же твердо, как возражение, что тропинка не может исчезнуть, — твердо установился факт: ее нет. И нигде по холму не видно белой курицы. Пропала вместе с тропинкой.

...Иду и ищу глазами цветные камни: нагибаюсь, подымаю; близко взглянув — бросаю. Или в карман плаща. На столе (в Москве будет жив Кокчетав) уж около трех десятков; больше чем вершка в два — не беру. Как-то, меж травок, земли, неровно и мелко усеянной каменными обломками, — загорелось зрению — золотисто-розовый камень. Восхищенно нагнулась — а это бумажка конфетная, насквозь дешевая своей легкостью, выдуманностью рядом с той драгоценной тяжестью цветной каменности, которою ее сочла.

...Когда Шарика гладишь и треплешь, он от застенчивости зевает. Заговорив с Анной Ивановной о Шариковом мучении с цепью, как он ее грызет, рвет, рычит,— услышала неожиданный ответ:

— Я и говорю Володе, попробуй-ка потаскай такую длинную цепь на себе день-деньской, да здоровую... Не может тоньше найти!

Значит, укорачивая цепь, они хотят добра Шарикуну. А Рита и я, жалея его малую площадь свободы, ее удлиняли, думая сделать ему этим добро...

...В еще лето падают лютые осенние дни. Чтоб согреться, заставляю себя облиться холодной водой.

Каждый день — миг счастья: когда появляется Рита. Жду ее сейчас, потому пишу. Это — мой труд, третье поколение — с Трухачевыми: муж, сын, она... Господи, помоги! Из-за угла кто-то идет (вижу в окно). Нет, не она. Жизнь, ее путь усеян повторением этого: не он, не она, другие... О, это томление! Юность (и детство) и — зрелость. Одна старость — избавление от — нет, не так. От того оттенка томления! Но сила — разве не так я томлюсь по Рите, как по Борису и по Андрею? По их ускользающей (а в любви ведь не ускользают) душе?..

Удивительно равнодушие кошки к бешеной скачке, с рычаньем, на цепь Шарика. Душевное равновесие. На миг дрогнет кошачье ухо, перестанет лизать себя — и опять лижется: «А, мол, это он! Его дело»...

Выйдя во двор, вдруг: куры-дуры (маленькие, чутошные, когда мы приехали) — как выросли! «Курехи-дурехи, вы же почти настоящие куры!» Стою, закрывшись от солнца рукой. Как бабушка застилась в Талицах, в селе Дроздове Володимирском.

В добрые минуты говорила бабушка Горького своему внуку Алеше: «Ангелы на небесах радуются»... И было это в Горьком: склонит голову набок, смотрит и радуется

ся... Но и дед вскипал: яростный в мелочах, в споре и ненавистный. Борол ли его — или так, как шло?

Сложнейший человек, Горький...

Демоническое начало в Марине, отчаяние было сильней, чем во мне. От него она — глохла? к миру? (отъединение). О, конечно, улыбка и тишина володимирские (в крови же) не могли ее обойти. В ней — все было! Но — сгущенней, кратче и реже, должно быть.

Я вообще в несчастной жизни моей была — счастлива! Так и Марина обо мне в 1916 году старику-эротоману Эрдту (о «Дыме» моем) на его «Ваша сестра очень несчастна?» — «Моя сестра очень счастлива...» (с непередаваемой — но она мне ее передала — интонацией надменности и фамильной гордости за меня).

Марина, тогда, в своей более счастливой жизни (меньше разрывов, смертей, утрат, с сохраненным до ее 46 лет ее основным другом Сережей (мой такой был Маврикий, и как она любила его! Но он был со мной всего два с небольшим года!). Марина хлебала несчастность ковшом. Я — глотками... и вот живу... одно провидение знает эти глотки и как взываю о помощи.

Удивительно! Почерк Ритин похож на отцовский (он ее не учил писать, как это?). Но еще страннее, как таинственна кровь!.. — на Борисов, ее деда. Резче — на отца 54-х, но и сходство с почерком деда ее в его 25 лет — явно.

Сегодня, проводив Риту (вынеся с ней бурю за это), шла назад мимо того дождевого пруда. Та же луна голубая, то же окно, желтое, опрокинуты в воде — только над всем этим — большой, узкий и мутный круг. Астроном мне говорил на ДВК — к снегу (к морозу — маленький, радужный). И выходила с ним смотреть в сочельник на небо, он показывал мне рождественскую звезду. И пока я подымалась сейчас по горе, было уже 11 ночи, круг и луна в нем шли впереди и стояли над нашей улицей тяжело и воздушно, как театральные занавес. А на нашем высоком крыльце девушки с молодыми людьми, и пыльное золото звука

гитарных струн было равно их цвету. Это мамину гитару они трогают пальцами, все ту же, московских и нервийских лет, без малого 70 лет назад.

Вчера вечером Анна Ивановна пришла к нам со своей озорной (умна!) плаксой Людой и принесли мне букет астр — к рождению, как трогательно! Когда я шла вниз по горе, Люда мне крикнула: «Касеты купить, да?» (конфеты). Иной необходимости уйти из дома она не подозревает...

В моей так любимой комнате — люто сыро: соль мокрая, по сырым стеклам — мокрицы.

Шарик перед едой непременно полает на кур: мое, мол,— тогда ест. От радости — чихает. От благодарности у Молли (собаки Цветковых) чиханье было предвкушением прогулки (при слове «гулять»). Какой-то собачий ритуал. Род восхищенного выхода из себя. И сколько застенчивости в собаках, сколько стыдливости в выражении их чувств!

Когда я вышла из столовой, еще погруженная в прелестную новеллу Андрэ Моруа, небо заново перекроилось: спустились совсем низко тучи и облака темной и светлой путаницей, и то, что мы смешивали обычно в одно — небо и облака,— стало двумя планами: тучи — крышей, а над ней — отступившая глубь, и она была видна только просветами, как обетование.

Я шла навстречу темной туче, круглой, как холм, на который она легла боком, и под косо приподнятым ее краем — египетской лазури просвет. Длинным треугольником меж холмом и дорогой и там, где дорога сходилась вдали с холмами,— было освещенное солнцем серебро облаков крупными «барашками», какими в детстве приходит весна.

Этот бой света и тьмы на землю сходил — ветром, он толкал меня с дороги, пытался снести. Упираясь, я шла, держа на отлете посуду с картошкой, с влитой

в нее сбоку сметаной, думая о землетрясениях Ташкента, об ураганах, кидających людей о стены домов.

Задохнувшись, встала: вправо — город, и под острым лучом меж нахлобученных туч — крыши лежали оловянными пластинками блеска далеко внизу

Отдышавшись, я вышла на поворот, где наверху холма дорога идет несколько шагов ровно — перед тем как начинать рушиться медленным рушением — вниз. Как подвинулась стройка соседнего с нашим дома — взнеслись пологие стропила, и там, где был конец, оказался второй ряд комнат, намечен редкой обвязкой и глиняным месивом, уже принявшим форму до половины намеченных окон Спешат — к зиме.

И в открывшемся — мимо стройки, внизу — пейзаже — «настежь», как у Бориса Пастернака о выходе в открытое море, озеро! Черным морем — свинцом, в час nord-оста.

...После такой жары (блаженство тепла, окунувшись в медленный перегиб муки от солнца) — такой холод! Летнее пальто (с ним одним приехала), только что бывшее мне тяжелым, стало ничего не значащим лепестком. Надеваю на себя все что можно. Ночью кутаюсь и дрожу — и беспрестанно жгу электроплитку, круглую, как розовая луна. Это — отъезд летит, не званный еще мною, и еще не могу: не прописана, недоустроенная Рита. Как с ней расстанусь?

Анна Ивановна была на работе (сутки), мне не хватило воды. Пошла к ним. У дверей, перед двумя табуретками на скамеечках сидели Володя и дочка: он возился с патронами для охоты, она (лютая крикса и озорница!) чинно играла на своей табуретке куклой. Покой стца передан Люде. Даже нельзя и представить Володю в волнении. И так эта идиллия вошла в сердце — мир двух покинутых, без женщины на ночь и день, мужчины, ребенка... Я брала воду, и мы говорили с Володей об их сломанных часах-кукушке, мною желанных по воспоминаниям детства — у мамы такие были...

Я не написала о том, как в день перед отъездом Доброго Духа я пошла к ним проститься и как оттуда, поехав домой в темноте, заблудилась: шла вверх по улице, долженствовавшей быть нашей, Чапаевской, но в начавшемся сердцебиении не узнавала домов и рельефа дороги, фонари не горят, кое-где в доме — рыжее окошко, кое-где во дворе — лай. Ни души. Я все еще шла, все надеясь, что вот дом, когда вдруг, ступив шаг какой-то, в слишком открывшемся «не так», «не по-нашему» повороте пути хлынула мне навстречу вся тоска и весь страх «заблудившести», и тогда, гоня себя и боясь спешить, я пошла вниз, моля судьбу вывести меня на дорогу, довести до дому. Начинал моросить дождь... Сжав что-то во лбу, я решала, куда идти, где должна быть та, наша улица. «Сакко и Ванцетти» лежала внизу асфальтной чертой. Я спустилась — прошла! повернула — что-то во все той же темноте, безлюдной и жуткой (а иди человек навстречу или сзади меня — еще хуже...), вспыхнуло снова «вдруг» покоем и радостью: «Наше. Дойду».

Улицы были параллельны, не в ту зашла. Сестры? Да, те сестры из сказки, злая и добрая. Добрая, Чапаева, — наша!

На почте, где нас встречают с Ритой всегда ласково (наше маленькое отделение), два окошка — почта, сберкасса. В сберкассе — Нина, веселая, черноволосая, молодая. На почте — средних лет, белокурая, розовая, спокойная. Так к ним привыкли — и они к нам. Внезапно Нину перевели в Центральную сберкассу, далеко, вместо нее села блондинка, точеное личико — Тамара; улыбается, говорит мало. А однажды, когда я, только усвоив имя и отчество почтовой, розовой, приняла от нее, как часто, пачку писем (получали и переводы, и телеграммы, и бандероли), я увидела, как во сне, что у нее другое лицо; странно изменилась, поблекла, — почему казалась мне розовой? вовсе нет, — и тогда, доканчивая метаморфозу, ее назвали — не так: Варвара Степановна... (и мне — я только что договорила имя и отчество исчезнувшей — шло разъяснение: «Она заменяла меня, временно»). И вот вместо первой пары теперь нас встречает вторая, все будто так же хорошо и приветливо, а в душе — оттенок тоски и какой-то сдвинутой, подмены, бывающей в дурном сне.

...Еду на рынок, по магазинам. Универмаг. На второй этаж. Спускаюсь — голова чуть не закружилась: как во сне схожу по лестнице литовского универмага в Паланге, сейчас за дверями будет площадь, цветник и собор (готика...). Выхожу: улица Ленина в Кокчетаве, канава, прокладка труб. Стандарт плана универмагов — та же лестница, то же расположение этажей.

На пустую уже после Ритинового перехода в общежитие кровать кладу ей, больной, свой матрац; под ним у меня — две старые хозяйские телогрейки, пиджак, плащ. Мощусь на них... До сих пор касалась их с отвращением (все живет в памяти завшивленность шинелей и телогреек гражданской войны). Но теперь надо лечь на них — стелю тощую бязевую простыню и ложусь. (Лишь бы не замерзнуть на них! Кладу их уютно, плотнее.)

И снова все — заново! Пока жив — жизнь ключом! Было так: солнце светило в окно не в тот час (с западной стороны, утром!) и неописуемо ярко. Поняла не сразу: отсвет с востока, с озера — в окна хозяйского входа, и они отражали солнце не слабее его самого. (За это чту московскую комнату.) С форсом говорю: «Лучи солнца мне не мешают, по комнате не горят, мешая столу, писанью! Но стена во дворе, желтая — рефлектор. И у меня в комнате солнечно (а — на север) в светлые часы».

Тени Шарика мечутся по лучам солнца — через мой тюль на окне (не мой, тюль — ненавижу, но тут кротко приемлю: я ведь перекасти-поле здесь)... Крик петуха. Восемь часов сна, протертые стекла сознания, снова хочется все: писать — готовить — стирать — и идти по синей улице за едой. Судьба послала после лютого холода, уныния, замерзания — потепление! И разве я здесь? Я — в Montreux, Territet, Vevey, Neufchâtel... в том детстве жизни, где утра просыпаются, как в нашем с Мариной Трехпрудном, с песенки — (как передать мотив?):

Дети, в шко-лу са-би-рай-тесь,
Пе-ту-шок пра-пел да-вно...
Па-пра-во-ор-ней а-де-вай-тесь,
Смо-трит сол-ныш-кавакно...

И после счастливого дня, долгого, непомерно, вечера — ласковость тьмы уютом пала на крутые крыши; сторож с медной доской, ударяя в нее, проходит швейцарскими улицами, зовя ко сну неповторимо добрым напевом:

Qué, bon qué,
On a sonné dix heures...

И гаснут в окнах огни. Если же где-то горит огонь, сторож идет узнать, не болен ли кто, не послать ли за доктором.

И совсем в этом духе мое здешнее бедненькое чистенькое хозяйство с через силу варкой и стиркой и протираaniem пола, с учетом грошей и веселой радостью одоленного, к вечеру, быта... Нынче воду из-под мытья кочанной капусты — вскипятив — себе в чай. Потому что воды не ношу, а платить — нечем.

Считая гроши, терпеливо живу, не покупая нужных вещей по хозяйству (обходясь тем, что дала Анна Ивановна), поэтому суп, второе, компот, вареную и жареную картошку, винегрет, яйца, кофе — умечаю все процессы с изобретательностью эквилибриста в маленькой кастрюле, двух мисочках, двух эмалированных и одной алюминиевой тарелке, служащей сковородой; воду из сенейнося в банках, наклоняя голову в низкой двери каждый раз, порой стукаясь. Будь большая кастрюля, бидон — жизнь куда была б легче! Но их — нет. Купить — дорого. Привычка в годы голода, разрухи к тому, что нет многого, так что никакого протеста нет. Наоборот, странно было бы все иметь, даже и неуютно как-то. Не о чем бы мечтать! А зато какой праздник — нести домой свою дешевую мисочку, ложку и терку (Рите, уезжая, оставляю). А вчера, из-за тяжкого холода в первый раз затопив печь, обнаружила неоцененный клад — большую эмалированную крышку, из-за отвращения к чужим вещам, вместе с хозяйским старьем задвинутою за печь: освободилась тарелка, два ме-

сяца служившая крышкой своей сестре, хранившей остатки пищи. (А все покрывать потому неизбежно, что с потолка сыплется от сырости штукатурка.)

А веники! Счастье,— вырвав минуту, идти на холм, рвать на ветру по одной поредевшие полынные травы и нести их бережную охапку, решая — один, два? — перевязывая бечевкой...

Нет, без сокрушения, богатой быть — непристойно. И во всяком случае — смешно.

«Никто kota не замечает, никто kota не ласкает, черного...» И в смутной тревоге — что говорю? Это же кто-то уже говорил... когда, кто? Догоняю, как сон, быть: мне, в Сибири, восьмилетняя Рита, в избе: «Никто kota не жалеет, никто kota не ласкает... кот спит на тряпках, одет — в тряпки... Знаешь, про какого kota я говорю?» И вот десять лет спустя, прожив отроческие и девические годы, она каждый год, расставаясь,— а я все старше и старше, слабей и слабей — и, все больше для нее делая и все сильнее привязываясь, встречаю — нередко — холод, оттолкновение. Может быть, месть за то, что я с ней в детстве, очень трудным ребенком, часто бывала жестка, раздражена, срывала на ней усталость? Если так — я готова терпеть. И перестая спрашивать. Только одно понять не могу: шесть лет подряд она летами со мной паслась в кустах ягод у Лёры в саду в Тарусе, в саду у Марии Ивановны в Семхозе. Она видела меня в их жизнях, их и мою старость. Лёра — ушла, Мария Ивановна уходит. Как может она не дрожать за меня, ее воспитавшую, связанную с ней столько лет? И она не переживает разлуку. А я уже томлюсь! И так каждый год, и, может быть, уже не увидимся? На ее ладони это «может быть» — так легко! Как можно не трепетать от разлуки, как только падает на твой путь ее тень? Другой век, все другое...

Перенесли ворота — назад, уменьшая двор, будут крыть его — от заносов. Так хозяйственно, степенно... И вдруг — бурная радость:

— Шар, вам строят дом! Вы уж не будете под сугробом! В холодной, но комнате! Шар, ты же не понимаешь: из-бу!

Нет чернил в Кокчетаве! Ни в «Мелодии», ни в киосках. ...Столько потратила сил! Хоть бы был пустой пузырек, я бы из химического карандаша... Только подумала — набредаю на пустой пузырек, чернильный... Подняла восхищенно! Жизнь по Гримму, по Андерсену, по Густаву Мерингу (Мариам, нужда, золотой в мусоре...).

Рита болела недавно, а меня (я варила, от духоты, в сенях, сквозняки) начал скручивать радикулит. А — стирка, как бросишь? И вот заводным движением, осторожным, прося спину, чтоб не сделалось хуже,— ни вправо, ни влево, бережно, как с сумасшедшим, несущим таз, приседаю перед цистерной, кручу колесико... И — назад, наклоняясь вперед в изобретенно-вынужденной позе, на согнутых руках — драгоценную тяжесть воды, плещущую золотом ржавчины.

И сполоснуто, выкручено, вывешено! И еще радость — да какая! В магазинах появилась картошка! Можно не тащить с базара, издалека. И суп наварю густой, себе тоже, наемся и я — всласть! Дотащила! И сыплю в ящик желтовато-розовые комья, по Сибири привычным глазом встречая: красная — «Берлинка», белая — «Лорх», длиненькая, чуть розовая — скоро-спелка... Семь лет грудь к груди с огородом — разве его позабудешь? Огород, моя страсть, отнятая отъездом оттуда, — 22 культуры, разведенные на десяти сотках в первый же год. За ДВК я не приношу благодарности — край этот не полюбила, но за последующую Сибирь, и особенно за мои там, из семи лет, три полного одиночества в избушке, — кланяюсь судьбе низко: нигде, никогда (разве — в детстве) не была так свободна, как там!

...Ритино мне «Баб» в пять лет ею изобретенное («Баб, дорогой» — мужской род), медленно начинает переходить в (сперва) шутливое, подражая кузинам

Марише и Лене, так говорившим при ней своей бабушке, Марии Ивановне,— «бабенька». Признак моей старости, ее вырастания — в этой перестановке имен...

Больше пяти кило (разделенных на две руки) в гору нести — никак! Изнемогаю. Судьба спасает глаза — столько лет! Запрет уже нарушенной сетчатке. Но разве не с самых небес пришло вдохновенье,— надев веревочную ручку сетки на ручку палки, везти по земле палку — как тачку везут, по забытому физическому закону почти вчетверо (впятеро?) легче. Иду почти налегке.

Писала ли о том, что горы, близкие,— мешают, а дальние (а холмы и вблизи) помогают жить? Вот холмы обняли Кокчетав полукругом, утешают его: мы — тут, мы — кругом, охраняем от холода, пустоты, беспредельности...

...Это было так: листья падали с веток, и я их жале-ла, что их сжигает жара. Потом: «А как-то поредели деревья? Или — кажется?» А они все редели, а листья падали, на траве уже был ковер. Стали одни деревья — желтеть, иные — делаются пестрые. Другие, зеленые, крепко блюли зелень. Там и сям — уж совсем голые ветви. Только тогда я, до тех пор любовавшаяся бездумно, поняла: осень!..

Ночью уже нельзя было покрыться байковым одеялом и шалью. Я стащила с бывшей Ритиной постели новый, плотный, бесконечной длины половик, синий, с красной каймой, и покрылась сверх всего им. Сделалось — как в палатке. Подагра стихала под ней, как снег тает под солнцем. Когда тепло — снятся сны.

Грею грелку и ее переваливаю по постели, холодной. Ноги окоченели. Боюсь, что погаснет свет. Как усну тогда, с ледяными ногами? Неужели завтра будет болеть голова? То, что я, в 72, требую от себя почти того же, что в 27,— это гибель моя или спасение? Должно быть, и то, и другое, перемежаясь...

...Нет моей сестры Лёры! Стих тот неповторимый уголок жизни, который был ее комнатой в Москве, огромной, с портретом матери ее, первой жены папы, красавицы в голубом шелку, с локоном и полуулыбкой. Комнатой с гостеприимным чайным столом и вкусными сытными ужинами — все носил 86-летний муж ее из столовой (я заночевывала у них с 1959 года по 1966-й).

Беседы глубоко в ночь — о папе, о всех нас, о Марине, о старых годах, о всех, кого знали и помнили... И тарусский сад — плод ее рук, цветники, холмы и овраги над Окой, гущи цветущих кустов, кошки, погибший любимец Трезор, еще живущий на фотографиях... Цветные стекла террасы, куда приходили люди, чаепития — все стихло! Они оба ушли в один год — 86 лет и 83. Мария Ивановна уходит в 76. До каких доживу я?

Жизнь среди книг, рисунков, вышивок, писем, приема гостей, с неизменной страстью к изящному. (Как прекрасно, что она написала целую книгу о папиной жизни! Я, читая ее, плакала...) Летом — изыски цветочных кустов ее разведения, посадки, волшебный вид на Оку. Она посвящала кусты цветов Зое Лодий — вот этот куст роз, другим, кому — позабыла, эти посвящения значились на дощечках — как в книгах... Взгляд ее глаз, уцелевших, зеленых (от моих — половина!). Ее смех, ее шутки... И вот пришел конец. И осталась в сердце неповторимость, которая весит столько же в камне, как невесома пустота. Отсутствие! Разве можно смириться с насильным отсутствием человека? И — чувство вины!.. Андрей Болконский и жена его Лиза, Лёра и я. Мое, от усталости, нетерпенье к ней во время ее болезни, к ее трудностям, резкостям, мои, вырвавшиеся только два раза кажется, резкости ей в ответ — деготь в мед, все испортивший!.. Зачем я не удержалась? (И сегодня — зачем с Ритой? Зачем усталость свою оправдывать — в крике? Распущенность! «Удерживайтесь! — говорю я другим. — Потому что останутся вам одни слезы — как мне!»).

Как я счастлива (как она щедра!) — незадолго до смерти еле читаемые ее карандашом слова мне: «Милая Ася, я очень благодарна тебе за хлопоты, за посылку...»

Папа, мама, Лёра, Андрей, Марина — я осталась одна из всех. Не с кем перемолвиться о детстве. Сколько

мы вспоминали ночами! И то, чего не спросила ее, уже не спрошу. Никогда! И никто не скажет мне «Настаська»... «Настась»...

Кошка вчера родила котят на улице, ночью, они замерзли. Утром она принесла мне мертвого котика, черного с белыми лапочками, они вытянулись (ноготки — как резные, длинный красивый котик, готовый жить, — встретил смерть). Кошка гладила его головой, согревая, смотрела на нас вопросительно и тревожно. Анна Ивановна чуть не плакала. Потом она котика унесла: «Заброшу...» И я дала унести, а потом опомнилась, и пошла искать его, и закопала его во дворе. (Я было пошла за обедом, но вдруг поняла: закопать надо! На часах было два, обеда уж, верно, кончились — я вернулась. Он лежал там, где я, повернув по холму, вдруг вспомнила о нем, о своей оплошности. Точно его кошачья младенческая душа позвала меня...)

Тема Юди Каган: повторение, парность явлений. Шла по улице под таким густым громким щебетом, что голову подняла к ветвям: какие крупные птицы! Неужели это воробьи? На другой день, за столом у жены Доброго Духа, со степенной, громкоголосой, с удивительными, по врожденному драматизму, интонациями их трехлетней Леночкой, с большеглазым, почти без тела! с ртутными движениями двенадцатилетним братом Васей, — слышу голос их матери:

— А какой щебет громкий на деревьях! Не обратили внимания? И такие большие птицы! Неужели это воробьи?

...«Баба Яга» — и все? Нет! Сегодня, когда я шла по улице Валиханова — быстро, по асфальтовой дорожке, сбоку ко мне прыгнул мальчишка 7—8 лет, руку мне — к носу: «Бармалей!» Я прошла, но сердце забилося — от неожиданности? От обиды? Задумалась. Каюсь: сняла очки (атрибут — странности). Увы, не помогло. На обратном пути — снова. Я, останюсь:

— А ты сам читал про Бармалея? Ты умеешь читать?

Отпрыгнув, обидчик стоял в отдалении, и его рот, верно, кривился — и от смущенья, и от желания продолжать дерзить. А я шла — и грустила: неужели же до этого дошло? Что пугаю детей? Вопрос только в том, Яга или Бармалей! Воображала продолжение беседы. Как доказательно убеждаю, что совсем другой Бармалей, и читал ли он, видал ли картинки — и как после долгого тупого молчанья мне летит ответ, неожиданный по убежденности и насмешке.

— Ты — Бармалей!..

Несколько лет спустя 12-летний худенький оживленный Вася, сын Доброго Духа и его Доброй жены, смеясь моему рассказу об этом, мне ответил (на вопрос, что же так похоже во мне — ну, скажем, на Бабу Ягу):

— Нет, не очки, и не длинный нос, и не палка. Волосы! Длинные очень... (Не стриглась с Москвы, длинно торчат из-под шапки.) Нет! То есть и волосы, может быть, — но основное — тот неуют, что летит со мной, когда, всегда опаздывая и всегда в тоске, что опять день прошел, ничего не успела, я мимо них пролетаю, — нос, очки, палка, волосы — что-то, unheimlich... насильно их, советских детей, ввергающее назад, в сказку, — какой-то Летучий Голландец, Вечный Жид...)

— Вы похожи на — знаете кого? На Марфу Посадницу! — мне, в мои 50, в лагере солист оперного театра, старик Сладковский, потрясавший россиниевской «Клеветой» весь театр, встав, аплодировал и он, напряжив шею, старую; бритая голова — красный шар, все тянется мастерски, рокот и гром заключительной ноты...

Да, хорошо придумала! Изнемогая от тяжести (а всего 5—6 килограммов, не больше... где моя силушка, ворочавшая (не телом, всегда худая была) — энергией молодости и упорства — чемоданищи книг, бревна для топки в годы разрухи... одно только упорство осталось, но вот еле везет по холмам 5 кило!) — прицепила кошелку на ручку палки и, опустив ее резиновым концом на дорогу, везу, как на колесике... хорошо!

...По асфальтам Валиханова, моим частым путем, — иду, и летят мимо «инкрустации» в мягкий еще тогда

асфальт, камешками, дети свое геростратово стремление пребыть — «Валя», «Славик», «Серегга»... Искусно — «заподлицо»... А другой детский «дух» (увы, старше, должно быть) мелом выводит, как на школьной доске: «Стоп! Здесь смертельно опасно!» И дальше — выкрутасами издевательскими с завитушками: «Любовь до гроба — дураки оба»... Тристан и Изольда, Ромео и Джулия — вы?!

Радуюсь счастью — дня (и сколько такого освещало дни за жизнь!). Сообразила, что неверно сходила с автобуса № 4 у Ритиногo института и шла четыре квартала вбок и вверх. Надо всего одну остановку проехать дальше и, сойдя — и вверх — один холм, я дома, да еще полынью и тишиной вместо улиц с бабаягинными, бармалейными мальчишками... Так нас неожиданно за благогерпение дарит — жизнь...

И разве можно забыть, что не в каком городе — а в Кокчетаве! я в 72 года впервые ехала в автобусе с нежно-палевыми занавесками, и они трепетали между солнцем и ветром, как крылья мотыльков в детстве...

Сны! У меня есть повторные сны — и у каждой темы — вариации, серии: Коктебель, море у дома Максoва... Яблочные сады Тарусские, и никак во сне не поем яблoк! Дом отдыха... («Узкое», 1924—28-е годы.) И еще Музей, папин. На все лады.

И — незнакомый город, куда приехала.

И — чудные горы, Альпы, не Алтай, не Урал...

Много позднее мне приснился этот небывший, во сне так знакомый светлый дом — посреди огромных полян и мхов, и было такое счастье в нем с кем-то, отдаленно, по фантастичности похожее, как видение на видение, — на Феодосию моих 23—26 лет. Там тоже была легкая (наяву — двухколесная) коляска, высокая и упругая, и это вдвоем, посреди солнца, движенья, распахнутых комнат, пропитанных светом и воздухом, ощущение сна «на новом месте». (Наяву то, сходное, было обратно, как в негативе фотографическом: темный

сад («Бузулак», «Темный сад» по-татарски,— дом, куда еле входило солнце...). И вот мне изредка снится — реже всех тех снов: опять я иду в ощущении сходства с тем счастьем мхов и солнца, но дом тот, светлый и новый, вторично мне никогда не приснился, только память о сне — во сне снилась. Но было, что бреду по лесу, густому, и вижу крутокрышую гостиницу, темную, уютную, старые деревья с корнями наружу, поиски чего-то, и какая-то ласковость места, и чувство, что «то» близко...

...И опять — Бармалей! И опять печаль и малодушно мысленно (а очки — и фактически) снимаю с себя (по одному) Бармалеевы атрибуты: за очками — палку, стригу воображаемо волосы,— чтоб узнать, когда наступит момент, что уже не будет во мне бармалейского.

А деревья желтеют, и это всегда — Сокольники, осень 1907-го или 8-го года, Марина и я в гостях. Сырые аллеи сада, ветер, прелые листья. Почему из всех недожитых (потому и снится, и помнится, что недожито) осеней, сырых уже, мне всегда только Сокольники, тот один день, неуютный и нерадостный, к которому совсем не хочется — назад?..

Шар, благодаря, нежнейше, за подкормку (жалкую!) и за совсем почти собачью мою ласку (родную!), понимает отлично, что не в ней дело (только услада, беглая, луч солнышка по собачьей шерстке) — а что надо-то дом сторожить, лаять...

Научиться у Шарика!

Писатель идет по дню, как по берегу,— и тащит за собой сеть. Иногда он до дома донесет всего одну-две-три рыбки, остальное — скользнуло прочь, в муть забвения.

Когда тигрового котенка отдали и черная кошка ходила потерянная, спрашивала — глазами: где ж он? — Володя, деловитый шофер, сказал жене: «Ви-

дишь, как животная мучается! Как человек! Ты сходи заведи его...»

Ей было некогда и перед людьми «неловко», и котенка пришибли дверью. Я сперва не хотела Рите сказать, омрачить бесплодной констатацией ее и без того невеселый день (дни — совершенно без отдыха, одно учение!). Потом — сказала.

И как трудно другого понять: думала, вскрикнет (так легко возбуждима!). Промолчала. А когда, о другом, я выразила ей что-то вроде: «Я думала, ты обрадуешься, удивишься...» Она мне: «Я — умилилась... А почему я должна говорить?..» Другое распределение свойств. Умница Майя Кудашева (в прошлом, тогда, Кювилье, в будущем — Роллан) мне об общем знакомом: «Ну почему я должна осуждать, возмущаться? П«р»осто (ее незабвенное французское «р») он не имеет некоторых чувств, для нас — близких. Почему он обязан так чувствовать, как мы? Ну, он, может быть, — она медлила, подбирая, — ну, может быть, он — мне «р»ал?!» Ей такое — довлело. Хоть бы довлело и мне! Чтобы не осуждать других.

...Стакан киселя попал в солнечный луч (луч — в стакан), и бурость зажглась нежным аметистовым цветом — и заподозрить такое было нельзя!

...Новая боль о Рите: уже переутомление! Месяц лекций! Всю неделю недосыпает. Учит английский: фонетику, интонацию, чтение, перевод, пересказ; языкознание, психологию, казахский язык; немецкий (стараюсь с нею говорить по-французски, которому училась с 12 лет; история революции (партии); анатомия (в морге стало ей одной дурно); лекарствоведение, — и весь день переходит с одного на другое без роздыху. И пока — я кормлю тем, что любит (овощи, сладкое). А потом, в столовых... А я должна ехать: писать книгу. И спасти себя от такой нагрузки быта, меня гнушей. Долго — не выдержу. И мой максимум отдачи ей — ей только минимум. И этот минимум я должна у нее отнять!

На столе, маленьком, где я пишу, и книги, и рукописи, и лекарства, и камни, и кухарю тут — на ободке тарелки разложила половинки разрезанных помидоров для Ри-

тинового салата, сырой капусты, лука, сметаны! Что такое?! О чем я?.. А-а... (склероз не сразу ответил, то есть затор-мозил ответ).

43 года назад, день моего рождения; 11-летний Анд-рюша утром — у моего изголовья — стул, и по его обод-ку — 12 половинок яблок! 12 дней копил, съедая лишь половинку у меня на глазах, на подарок мне — незамет-но прятал... (Он тогда говорил: «Если бы вас одеть хоро-шо, вы были бы самая красивая женщина на свете! Ва-ши волосы вьющиеся, и ваши глаза зеленые, и губы (а бледная, потому что плохо едите)... вы бы...») Эта тема возвращается, как горная буря кругами, — «Баба Яга». Кричат уже хором... У их бабушек тоже длинные носы и седые патлы, но они ползают, а я — пролетаю. И их они жалеют — а меня... Я им объясняла, что я совсем на Ба-бу Ягу не похожа, что она летает в ступе — замечает след помелом, она ловит детей, я не ловлю. За ней ходит черный кот... Они, разбежавшись, став кругом, слушали. Потом, когда я, просветлев, сочла мою элоквенцию — победившей, мне след раздалось: «Я-га-а, — ужес добав-лением: — Костяная нога...»

Советских детей не проведешь красноречием! Их с их позиций не сбить! А когда я поднялась к себе на гору, мне навстречу из ворот вышла наша черная кошка, и я содрогнулась невольно и воровски оглянулась: не увидел бы кто из них черного, себя доказавшего, бабаягиного кота...

Я много дней не смогла писать, стало совсем холодно, я уже не хожу в столовую, варю дома (дешевле, денег совсем мало) — и греюсь. Уже протопила два раза после двенадцати лет нетроганья печи, с Сибири, с 1964 года, с моего домика на улице Куйбышева (вот судьба!). И его героем когда-то ввела в мой роман «Четвертый Рим» (по-гиб в военные годы), — и вот тут, в Кокчетаве, оказался их бывший дом и музей, и сестра его (прочтя мое в «Но-вом мире») захотела со мной встретиться, и у нее похожие на него глаза. Мне думается, он был один из самых благородных людей революции, а лицом — единствен-ный — красавец. И вот тут, в Кокчетаве, он жил — до 10-ти? лет. И я читаю ее книгу о брате, их приезд в Кокчетав в старые времена, лошадами, я прохожу с ней и Ритой по комнатам, где они жили детьми (будто бы —

по нашему дому в Трехпрудном), я смотрю макет их дома тех лет, и бюсты его, и статуи, и портреты. Ей 71 год, она розовая, пышно-седая.

Ночные беседы с кошкой, пытаюсь — а она делалась упругая, как пружина, — снять ее с себя: «Зачем vous recherchez comme un coq на mine???» Но кошка бодала меня твердым лбом, вила из себя гнездо и засыпала мгновенно. (Как бы это у нее перенять?) В общем, я с ней получилась Пигмалион, и она — Галатея. Но — «перегалатеилась»: до того воплотилась в настоящую кошку из дикаря-трубочиста, что с минуты каждой встречи — мурлыкает (и в заводе не было!). И нет проходу от нежностей.

— Баб, — говорит Рита, — ты «создала» эту кошку. Она до тебя не имела понятия о ласке, ее же никто не ласкал! И когда ты уедешь —

— Кот меня позабудет и будет бодать других...

А холм стал трудным: из радости — тягость. Ветер — сносит и в легком пальто через два свитера пронизывает насквозь.

Безденежье. Сжатость отовсюду: уже не хожу за обедом себе, 30 коп. на второе и ужин остаются в кармане — но все варю и варю дома; устаю. И холод не дает писать с утра — только когда к вечеру нагреется электроплиткой. Хозяйка уходит на сутки, только два раза оставила дров. Мерзну, но не прошу (раз в четыре дня, раз в три) — ведь заплатить нечем, а у сына просить не хочу, а в Москве меня ждет пенсия. В комнате сыро, надо бы усиленно топить и сушить. Обострение болезни суставов. Постель холодная и сырая; когда есть свет, грею ее грелкой. Но свет гаснет внезапно, и ничего сделать нельзя. И были дни, что ко всему этому Рита вдруг отдалялась, приходила неласковая — о чем-то своем тоскующая, забрасывала немецкий язык. А отъезд близится — как обидно недоповторить учебник! Так удачно, хорошо начали... Но ведь я в 15 лет уже в дневнике писала: «Все течет к грусти, как по наклону сбегает капля воды»...

К бедам моим добавилось то, что стало рано темнеть, а Рита, готовясь к семинару по истории, стала или сидеть допоздна в читальне — и во тьме, в городе, где только в центре фонари, возвращаться одна в общежитие; или, занимаясь у меня, засиживаться и уходить от меня в темноте. Был вечер, накрапывал дождь; крутая, вниз, немощеная, в ухабах дорога была мокрая. В этот день Рита в первый раз была в морге, и ей там стало дурно. Весь день у нее болела голова, и в 9 часов вечера вместо того, чтоб уйти или лечь и остаться, она прилегла и тяжело уснула. Как ее было будить? Я дала ей поспать час, затем разбудила, предлагая лечь по-настоящему. Она встала: «Я ухажу!» Тогда и я стала одеваться — поехать ее проводить. Она начала кричать. Я:

— Идти одной по темному городу в день, когда тебе было плохо? Пока я тут — я пойду провожать!

— Это насилие!

— Нет, это осторожность. Да, наконец, я это для себя делаю, чтоб не беспокоиться. Мне лучше идти на дождь и в темноте возвращаться, чем остаться и мучиться, что с тобой...

Рита рвала и метала. Даже сперва не поддерживала меня под руку. Я шла, душевно заледенев. У остановки она грубила и насмехалась. Я боялась, что она убежит, и ходила за ней.

— Что ты за мной ходишь хвостом?

— Я не знаю, что у тебя на уме...

Мы поехали. От остановки, где мы сошли, ей было немного идти, шли люди (в моей части города — безлюдно). Я же, чтобы не возвращаться по грязи и темноте, да и сил не было, и страшно ночью по нашей горе, и можно попасться собакам, — я решила заночевать у жены Доброго Духа, до которой было от общежития недалеко. От проводов Риты я отказалась — это вышло как периодическая дробь.

— Ну, я пойду, мне холодно! — сказала Рита, повернулась и пошла. Может быть, оттого, что за минуту сказала мне: «Pardon me»¹... а я ничего не ответила, не могла, то есть себя не заставила.

Сколько зла я принесла меж нас с самого ее детства — этим ответным холодом... Условились, что на другой день она, если будет здорова, придет в 5 часов. А за-

¹ Прости меня (англ.).

тем — спотыканье по малознакомым проходам между домов, грязь, и холод, и четыре этажа, по которым взошли в день приезда с Ритиным отцом. Звоню и стучу, никого нет дома, и — безысходность всего обратного ночного пути, без сил, одной, — нет, хуже: со страхом (плохой спутник!). Был 12-й час, долго не шел автобус, огни общежития четкой лавиной стояли невдалеке. Рита думает, я в квартире Доброго Духа, в тепле. А будет ли автобус еще? (Как я прежде в такие минуты волновалась! Поумнела или отупела теперь?) Я ждала 40 минут. Дождалась. Автобус и путь по горе между лаем собак с двух сторон, грязь, холод, ночь, страх и усталость. Но милая Чапаевская меня жалеет, я по ней ползу вверх — домой... И Шарик, и цепь Шарика, и крошки еды в миску Шарикю, и «Не уходите, мой маленький Креольчик» (коту).

А на другой день, в субботу, я, все сварив, убрав, ждала Риту до 7 часов — не идет. Значит, больна. Сваренную еду — в банки, все увязала и в темноте — поехала. «Сад завода». Я сошла — и пошла вперед и с дороги не уклонилась, но общежития не было.

Я не узнавала и улицы. А когда мне сказали, что общежитие — вон тот дом налево, а он — стоял от остановки всегда направо и близко, — это уж был бред...

Он и был! Но нас не оставляют и в бреду: добрая женщина, пожалев, взяла под руку и повела через темную улицу, закоулками, поясняя, что сегодня автобусы идут по другому маршруту — не по Маркса, а по Урицкого, и она меня довела. Разве свет без добрых людей? Когда я вползла с моей ношей пять этажей, Нина Герман, подруга Риты, открыла мне:

— А Рита уехала к вам. Сказала, я буду у бабушки ночевать .

И Нина вышла со мной, провела меня до неведомой бредовой остановки, и я с супом, винегретом, сметаной и хлебом с маслом совершила обратный путь.

— Ты ни с кем не считаешься, — сказала я Рите, — делаешь все, как тебе удобно! Уговор нарушаешь — спокойно! Я же сказала тебе, что, если в 5 не придешь, я поеду к тебе с едой. Я ждала до 7, вымыла

банки, все уложила, поехала — думаешь, это легко — на восьмом десятке?

Но Рита виновато молчала. И, однако, эти два дня, два вечера в темноте с далекой неудачной ездой, в страхе, усталости и печали, эти четыре конца по городу без фонарей, с вхождением, тщетным, на этажи — что-то доконали во мне.

Вчера не выходила весь день, мерзла, топила, варила, учила Риту немецкому, грела грелкой кровать и, кажется, не смогла бы уже повторить такое. А вечером села писать, легла в 3 с половиной, спала с 4 до 9 — 5 часов — и 6 часов стирала, полоскала, вешала — и кормила Риту.

Что заставило меня в этот раз остановиться и долго глядеть вокруг? Туманный след тропинки кончался возле взъерошенной — трактором? — земли, но был это не участок ее, а крутой поворот, вздыбленный клочок свежей коричневой земли среди безмятежной нетронутости вековых мхов и полыни. Был непонятен смысл клочка этой земли — он был всего метра два в ширину, метра три в длину, но кривая его взлета была выше его длины. Дальше взрез земли длился еще метра четыре, но это была плоскость, и в конце ее — следы некоего лагеря, придорожного привала — два-три кирпича (самоделка печь?), мятый таз, сломанная лопата и подобие искривленной не то сковороды, не то кастрюли — какое-то цыганское пепелище.

И снова утро, и голодные дурехи-курехи неприкаянно ищут корм, которого нет, и петух утешает их хриплым криком, подрагивая на упругих ногах. Его гребень трясется, как флаг, подслеповатый и острый глаз вздрагивает в такт шагу. В комнате сыро и холодно, но я спала 7 часов и заставляю себя облиться холодной водой — для бодрости. Да... ведь воды-то нет! — Есть! Из остывшей грелки!

Подсчет денег дает невеселый итог — экономишь до «пес plus ultra», а на почте денег нет, и растет страх — не случилось ли что? Сливочное — только Рите, мне —

растительное. И считаю, считаю, пересчитываю, как свести концы с концами для помощи Рите и для посылки ей к 19 годам, ко дню рождения, и Оле и ей к елке, и всем хоть по крошечному подарку... Считаю, отменяю было решенное — три рубля хозяйке, чтоб дала дров; считаю так, как петух стучает клювом землю, где я сыпнула полгорсти крошек и куры подъели их до одной. Но петух стучит, я считаю.

Где надежда, там жизнь — говорит английская половица. И я всегда надеюсь и жду помощи, и надежда никогда не обманывает меня!

Безденежье! Родные сени! Есть уют в ваших вновь раскрытых дверях...

...О, знаю я! И глад, и хлад минуют,
Пока страдает тело — крепнет дух.
И зов о помощи не пребывает всуе,
Доколь терпенья факел не потух!

Не я ли эти строки писала в лагере, 28 лет назад?

А вчера мне у Куйбышева сказали, что в общежитии, где студенты страдают от неустройства, начат срочный ремонт, добавят батареи, откроют уборные, что замминистра был у ректора, что наведут порядок!

...У жизни есть — а и не чаешь ты —
Такие колдовские повороты...

Верю, что завтра (по-старому — уже завтра покров) я и мыла смогу в Кокчетаве купить (в аптеке не продается, в продмаге тоже, а ларьки — невесть где, нет сил идти). И уехавшая на два дня хозяйка, не налившая мне воды, вернется, нальет... Из цистерны я наносила — мыть руки, стирать (да вот мыла нет!), а питьевая вода кончилась начисто, а ведром, если подстеречь заезжую бочку, ни Рита, ни я — не можем.

Был грустный час одиночества после очередного Ритино-го равнодушия — так выбиваюсь из сил, чтоб ей

помочь... вдруг усталость — кольцом, иду, ничего не вижу, не чувствую, одна — и тупая боль.

Что-то отводит взгляд — вбок — он позван: меж пыльных стеблей, низких, — два белых кудрявых перышка! Те самые, которые я искала тогда. Была странная ласка в их появлении сейчас, тень утешения. Значит, все-таки здесь была белая курица, здесь ее могила — курган, здесь следы пропавшей тропинки!

В утро первого снега, после первой зимней ночи я подошла к разваленной, с одним только боком крыши, будке Шарика. Он не вышел навстречу, даже не встал. Он сидел печально и строго, и в его горе была величавость. Он продрог тут всю долгую ночь, под снегом в будке без крыши, и никто не помог ему. Он посмотрел на меня жалобно, благостно и благодарно, но, кажется, он тихо дрожал. Мне нечем было утешить его, кроме ласковых слов. Они (тон!), может быть, усугубляли горе? Если бы еще я ему принесла миску еды! Но еды не было. А когда появилась, она стояла уж много дешевле, чем — явись она в тот час. Я несла ее, уже было немного солнца, снег таял, и, гремя цепью, Шар шел навстречу, живой и приветливый. (Тот безнадежный час так и ушел безутешным, тот Шар был и мною оставлен наедине с бедой...)

А озеро говорило: «Ты меня видела два с половиной месяца — столько раз в день! В конце твоей улицы! Ну, пусть длинной... И ни разу не удосужилась прийти ко мне, пожертвовать каким-нибудь делом...» И вторил ему край улицы Маркса, где гора и где столько недель была аллея зеленых деревьев. «Ты же столько раз собиралась меня снять на память! Не сняла! И снимаешь теперь, когда аллея пуста, а гора — вместо темной — белая? Снимешь мою смерть?»

С дровами вошли в комнату мою — грязь, мусор, кора, снег, и уж не хватает сил протопить, надышавшись паром, жары, спешки сварить картошку, суп, компот, кипяток, и — как бывало — подмыть пол. Комната уже не бедная, но порядком нарядная — бедная и в

хаосе: сушатся всюду одеяла, одежда, под кроватью щепки, бумага, задвинутый мусор (сжечь). Долго этих топок не вынести — стара...

Был день, очень холодный, когда не было сил идти мерзнуть на страшном ветру, набирать плохой воды из цистерны, наклонясь; из дыры хлещет ледяная вода на руки, никак быстро не закрутить кран. И я мыла руки в какой-то грязи, оттирала их тряпкой, чтоб не заоченели руки совсем.

Вот в какой час (и свет выключился!) забежала по крутому крыльцу к хозяевам на их свежепокрашенный, с чистыми половиками пол, на низких дверях — гардинки, накрахмаленные занавесочки окон с геранью, и над диваном (тем самым, где я в первую ночь спала) — малахитовый лес и золотые олени, парадные оба — вне мер... Ослепительные. Замерли, насторожась, олени, слыша — собаки! — лай...

Возвращаюсь в свою зачуханную избушку, и, как боль сердечная, под лопаткой — так же сосет мечта (мечтой и останется... сил нет!) — выстирать нашу (хозяйскую) дорожку — в три метра длины, плотную, по которой 12 недель ходили — и заходили ее...

Никакой наставшей, после денег ей за дрова и обещанья уплаты за электричество, хозяйской «лаской» (принесла ведро угля — «надо же вам согреться»... и сама кочергой печь мешала, и таз дала для золы...) — не вытравить тот миг «дурного сна», вдруг с нее (на лесенке в огороде, у окна стоявшей, украсившей ставни) — на меня (снизу к ней подошедшую) рухнувшей, когда после двух с половиной месяцев дружеских разговоров и моего уважения, радостного, к ее деликатности и сердечности — она на мое ей: «Дровец мне дадите?» — очень уж холодно, вдруг сломав голос, дав ему стать грубым, чужим: «В последний раз еще дам вам, а там как хотите! Володя ругается, что дрова даю, нам в дому две печи топить, да вашу — нет уж...» И на мое растерянное: «Так как же? Не топя сейчас — никак...» — ее подчеркнуто отдаленное, раз-

вязное (модулируя голос по всей шкале разрывания дружбы): «А уж это — дело ваше! Как хотите...»

Это был классический миг (по Достоевскому — «скверного анекдота», по моему ощущению — дурного сна). И когда, поняв, чего недостает в нашей беседе, я сказала, что хотела бы где-нибудь дров купить... «может быть, вы бы мне продали...», я была через полчаса позвана: «Хочу дровишек распилить, да мне не с кем...» — и я, не пилив с Сибири, весело взяла пилу, и мы стали пилить, и я слышала: «Да, вы пилить можете...» — «Приходилось... Надо только к себе тянуть, не толкать...» — «Ох, посмотрю я на вас, какие вы крепкие! И сколько вы пережили! И вам ли дрова пилить...» Напилив и как-то мало устав, пять хороших охапок, я вошла, оживленная, к нам, радуясь, что не задыхаюсь, и тотчас началась боль душевная, потому что Рита, на миг оторвавшись от учебника, равнодушно — не участвуя, отсутствуя, не сказала мне (хоть бы — то бы согрело!): «Молодец, Баб!» — продолжала твердить урок.

А затем был тот главный удар по мне — Ритино: «Тебе совсем нечего тут делать, тебе незачем тут жить, прекрасно можешь уехать! Мне надоело сюда приходить, надоела твоя опека, я хочу быть — самостоятельна!» — «Отчего же тогда не стираешь, не ходишь в столовую, не готовишь одна задания?» Я была растеряна, как перед Анной Ивановной с дровами. О, больше, конечно! Я стояла и, не веря ушам, слушала: «Чего ты не уезжаешь?»

Глотнув глубоко, как в детстве, загнав боль вглубь, я услышала свой холодный, сыгранный голос: «Я уеду, когда сочту нужным. Когда кончим шестой класс немецкий и когда выяснится с отоплением общежития».

«И нечего выяснять! Другие живут, и я буду жить!»

«Три красы Кокчетава! Без зеленой его красы сизая и желтая (озеро, горы) — полдела!» — это было записано на коробке, в кармане... С тех пор горы стали снежные, белые...

...Есть еще в России проселочные дороги. Ими, пока не застелили асфальтом, полон Кокчетав! Город Кокчетав и мою повесть о нем я люблю тою живою любовью, как Шарика и Галатею.

...Друг мой Женя К. пишет мне из Старого Крыма, что про нее один малыш сказал: «Вот Баба Яга!» Я смеялась! Но когда мы свидимся и она и брат ее Юзя прочтут мою «Бабу Ягу» (не один малыш, а бабаягины, бармалеевы хоры!) — я выберу жюри, станем рядом — пусть решают, чья Баба Яга первый сорт! (Юзю в жюри нельзя: брат, родственное пристрастие!) Но что одолеет в нем — тяготение к Красоте, за сестру, или тяготение к ее Славе.

Вот и кончилась Ритина любовь. А я так радовалась идиллии жизни с нею. Как мне жаль, что она от тех слов не удержалась! Не надо было ей мне их сказать — не дотерпела моих забот несколько дней!» «А «самостоятельность» ты хлебнешь — ковшом, годы! — сказала я ей, — и волком завоешь!» — «И вовсе это не значит, что я тебя не люблю, я люблю тебя, но... Люблю, только поскорей уезжай!»...

А Шарик и Креольчик любят меня, я не одна. «Мяу» — выйти. Я приоткрыла дверь (чуть, потому что холодно!), черная молния вылетела из двери, это Креольчик-Галатея пошла гулять.

Значит, осталось 1 рубль и сколько? Застанет в Москве Женю Цветаеву моя телеграмма? Масло, сметана — на два дня еще есть, картошка, лук, морковь и капуста. Капелька сахара. Надо — хлеба, подсолнечного масла хоть 200 граммов, еще что? И вдруг там, где должна лежать пятерка Анне Ивановне (на железнодорожный билет — отложено) — лежат — гляжу и не верю — два маленьких желтоватых рубля! Как я их позабыла? Стою и смеюсь: разве это не чудо? Как в Големе, с золотым у Мариа...

И — деньги к деньгам, перевод в 40 руб. от Жени Ц-ой, и я хожу по магазинам, переночевав у жены Доброго Духа с чинной умницей Леночкой, которая

упрямилась читать стишок к Октябрьскому празднику в детсаду — про «красный флаг», «он на палке белый», сочно выговаривая «ый» вместо «ой». С ртутным мальчиком Васей, рассказавшим мне, сколько он выжимает одной рукой и что у них в классе один мальчик читал книжки в два года... я, после уютного ужина, спала в тепле как убитая семь с половиной часов!

Купив хозяйкиной Люде черную собачку (Шарика), Рите — мыла, зубную щетку и пасту, себе — тетрадей и карандашей, себе — плотные чулки и чулки Оле, масла, сыру, Ритин джем «Алыча», хлеба, подсолнечного масла, еле ползу, дав внуку К-ой урок, к себе в гору, радуясь, что сейчас накормлю Риту. А от нее записка: «Дорогой Баб! Думала застать тебя, но ты, наверное, у К-х. Сегодня уже не приду (много заданий, иду в библиотеку). Завтра! Целую тебя крепко». Я стала топить печь, варить все на завтра. И, поздно, села писать.

...Будет у меня в поезде повесть о Кокчетаве, фотографии его гор и улиц (озеро все же постараюсь снять!). И два затвердевших куска рахат-лукума, отложенные мной почти месяц назад из купленной мне Ритой коробки.

По моей просьбе К-ва запросила ректора Ритиногo института, будут ли добавочные батареи в комнатах. Он ответил, что, может быть, зимой не удастся, уже начали топить, но что будут приняты меры, чтобы было тепло. Затем есть надежда, что, может быть, Рита сможет перейти назад, на место в уголок, — Нина плохо учится, в ней ошиблись, ее, может быть, переведут в другую комнату, и учительница Риты возмутилась тем, как она в отсутствие Риты перенесла свои вещи на ее кровать, а ее положила к окну.

Большого я не добьюсь, надо ехать. Завтра дам телеграмму Нине — невестке, чтоб она мне ответила, — и надо брать билет. Жена Доброго Духа дает мне длинное, черное, суконное, теплей моего, пальто.

В Кокчетаве — зима: выпал снег, ветер. Шарик не

выходит из дырявой конуры, печальный, дрожащий и серьезный. Я всунула внутрь миску с едой, он ел жадно, благодарно, пустив хвост — метрономом, но на оживление у него нет сил. Я попросила хозяйку завесить ему голый край конуры, там висит телогрейка, и я бросила ему под ноги кусок мешковины, которым я подтираю пол,— хоть на йоту будет тепло. И со стыдом, но жадно, как он ел,— ушла в свое бессовестное тепло. А ветер все воет.

Даю урок английского языка внуку К-шевой,— хоть бы Риту пригрела потом...

Как ее оставляю? Все время у нее постоянно болит сердце, а понять, что ей 6—7 часов спать и 17 — заниматься нельзя,— не хочет, упорна; ничье слово ей не довлеет. Боюсь, свалится.

Приходила Люда, закутанная.

— Дай кассеты!

— Нет конфет!

— А это? Дай сахару! Дай есё! Дай! Дай хлеба! Хеба!... (угрожающее начало плача).

Собрала дань, ушла.

И — ее возраста — Леночка Доброго Духа: чудно, сочно, упоенно и медленно выговаривая слова, как отвешивая на весах товары, радостно:

— А когда я вырасту, у меня будут очки! И я в них буду видеть (пауза упоения) еще больше, чем сейчас!

Вот и стройте с ними двумя коммунизм!

А в ночь Володя, проработав до двух — один! — на вкопанные им тоже столбы втащил лежки и, громыхая — дом спал, а в моем домике царствовало писанье,— взнес и укрепил и поперечные, и продольные доски длиной и шириной — в двор (значит, не так уж дружны столь лицом похожие братья, раз Славик не пришел ему помочь в лишь единожды делаемой работе!..), и наутро во дворе настал уютный полумрак с только меж досок попадающими узкими полосками солнца.

И тогда, ибо ветер во дворе напрочно стих, я удивилась: только что мною крепче поправленная на

Шариковом доме телогрейка вновь оказалась на снегу двора, и на ней лежал Шарик. Как? Ласкаясь, он встал, и я еще крепче закутала об острия остова крыши конуры рукава телогрейки, заглянула туда — уют, темнота! И удовлетворенно ушла к себе. Убрав, я печально обнаружила, что на дне водяного бидона в сенях — пусто, и, с двумя стеклянными баночками, пошла в хозяйский дом, чтоб хоть на суп хватило! Но, шагнув, я замерла от удивления: в пустой час, когда никого, кроме нас с Шаром, не было, кто-то снял только что заботливо укрепленную телогрейку, и она лежала посреди двора, и на ней спал Шарик. Он поднял морду, уши, зевнул, высунув розовый сонный язык, и, махнув хвостом, удовлетворенно, сибаритским жестом еще шире растянулся на верном ковре. И тогда только я поняла: не ветер, а кто-то — и этот «кто-то» был Шарик! — снимал с крыши (как рвал, должно быть, полы зубами, чтобы сорвать мною запутанные наверху рукава! бушевал с ними, как с цепью!..) телогрейку и ложился на нее спать: разве гений не живет в этом псе?

Как мы обнимались восхищенными лапами, счастливые сим открытием!.. И пустые стеклянные банки гре-мели, как кастаньеты.

Не удалось увезти в волшебной шкатулочке аппарата — статую бронзового Валерьяна! Так пусть же хоть озеро его волюю на прощанье — туда, через таинственное стекло объектива! Я умолила Риту сойти со мной к холодному жерлу синевы. Шла, опершись на нее, скользя по местами заледеневшей дороге, спеша — солнце садилось, и столько еще дел, и собачий холод... Но что предстало глазам нашим, когда, перейдя поперечные улицы, мы наконец спустились к озеру Копа! Ни плеска, ни запаха водорослей, как в те, давние выходы к озеру. Воды не было! Неподвижность водяного жерла, абрис замерзших волн, и от всего бывшего водяного куска — безысходное дыхание холода, иллюстрации Густава Доре к Данте... Дрожащие руки, еле ощущая затвор, щелкали им, бессильно и безутешно лоя в объектив тускло мерцающий в вечерющем быстро воздухе величавое равнодушие бледных застывших волн, слившихся с берегом и горой вблизи, вдали —

с небом в желтом сумраке вечера, — что оживет в проявителе, в бледном холоде пленки? «Баб, скорей, мы замерзнем!» — Рита топотала по льду теплыми старыми сапожками, купленными год назад в Либаве... Мимо музея Куйбышева, по Чапаева, на свой холм.

В Кокчетаве стало совсем холодно. Володя покрыл двор слоем соломы, жердями ее укрепив, и стало мрачно в Шариковом царстве — зато ему не бояться в наставшие старые собачьи годы ни сугробов, ни буранов — уж не будут откапывать его, как рассказывала Анна Ивановна, — «после двух суток заносов — и будки не видно». Заработал себе Шар на старость — относительно тепло и покой...

А по улицам ходить — тяжело: под гору скользко, а ноги (холодные с утра до ночи, кроме когда часа 2—3 топчусь возле — не каждый день — затопленной печки и когда засыпаю, оставив их в грелку) скользят, палка срывается, того гляди полетишь головой об лед! Но я ежедневно хожу вниз в дом Куйбышевой на — заранее сказала — бесплатный урок к ее внуку, тоже Валерьяну, как знаменитый красавец дед, Волику, и в маленькой мальчишечьей комнате я стараюсь переложить в 17-летнюю голову упоительные моему 72-летнему мозгу хитросплетения английской грамматики. Он слушает добро, потому что добр по природе, смотрит на меня тоже великолепно, как у деда, глазами, в которых четверть куйбышевской крови, и готовит мне четверть заданного, обещая на завтра — все. Там, в комнатах за стеной его бабушка, сердечно больная, но добрая и бодрящаяся, принимает по делам людей, если не занята в музее брата, водя экскурсии — иногда и из-за границы. А я, возвращаясь домой порой и по лунным холмам, думаю о том, какая жизнь будет у Воли, потому что он оригинальный юноша: он не ходит из дому никуда, к учению не имеет страсти, невзлюбил математику и точных ее сестер, но без конца читает. И у него нежность к бабушке и чувство юмора. Мне: «...На охоту?» — «Нет, не люблю. Раз пошел и провалился в болото. Больше не захотел...» И, провожая

меня, он упорно ждет, когда их Мотя (хозяйка баснословной красы кота Маркиза, которого она, одинокая, зовет «мой сын») кончит готовить обед или ужин и позовет к столу, вкусному и обильному, до которого Воля охотник. Что ждет этого мальчика впереди?

...А у меня, пальцы хоть и в перчатках (старею, как Шарик, угнетает и меня мороз), мерзнут все четыре лапы в мороз,— как и когда пойду снимать кокчетавские улицы? — все некогда: то тащу продукты, то варю пишу, то занимаюсь с Ритой английским, немецким, расшевеливаю ее к забываемому ею французскому разговору; а бронзовая статуя знаменитого, внезапно умершего в 35-м году века Валерьяна — стоит в рост перед домом, где он некогда жил, бегал мальчиком, не ведая, что тут будет музей его имени, что он встанет тут, может быть, до конца мира в бронзовый рост. Но я не могла его снять сегодня, потому что уже темнело, а вчера, когда бронзу великолепно залило солнце с левого боку, отточив собой его и без того точеные черты, и руки мои так бы поднялись к фотоаппарату,— аппарата не было, не захватила. Удастся ли до отъезда снять?..

Билет, чтоб мне в резиновых ботиках не ехать далеко, не переходить разрытые улицы, любезно взялась взять, по своей линии, Е. В. К-ва. Он был взят на 25 октября.

Шли последние мои дни в Кокчетаве.

Рассчитав продукты, я варила остатки всего: в котелке хозяйкином, вдруг ею данным, горсть картошки в шелухе — останется — возьму в дорогу. Кашу (гречневую — и никакую) — Рита не ест, себе. Дважды в день есть — и литровую банку в путь. Хлеба, сыру, сахару, масла немного. Радуюсь, что не буду тратить в дороге, все свое. Беречь деньги на посылку Рите, ей скоро 19 лет,— маленькую; радость попить с подругами среди трудных учебных дней. И весь остаток подсолнечного масла — на тарелку, служащую сковородкой,— лук жарить, в кашу.

...Через силу тащусь проститься в малознакомый, но Рите полезный дом, и ее с собой,— областной врач, ее мать, отец (старый преподаватель) и подросток-

дочь, учащаяся кроме школы и в музыкальной, сыграет нам. Рита отогревается у тепла чужой семьи (а я уж успела зайти на четверть часа к Доброму Духу, — он с поезда, простудился, лежит. Этим людям я оставляю Риту...). В 11-м часу я у остановки автобуса, прощаюсь. На ночь с ней, она будет еще заниматься. На завтра я приглашаю и Римму обедать — суп, два вторых, чай с вареньем. Еще надо вымыть захоженный (уголь, зола) пол...

Еще не согревшись, схожу, иду до своей горы. В последний раз поднимаюсь, иду еле, нет сил.

Ворота заперты изнутри. Калитку еще не навесил Володя, она вбита в них наглухо. Стучу в дом. Тишина. Куда идти спать? Вниз, далеко, к Куйбышевым? Одиннадцать с половиной часов... Стучаться к соседям-казахам? В отчаянии (Шарик с той стороны нюхает, «помогает») напирая плечом, стучусь — с грохотом летит внутрь выпертая мною — слава богу! не на Шарика! — калитка (широченная доска высотой в человеческий рост) — и я вхожу в свой нетопленный угол — свет есть, какое счастье! Грею воду в грелку, ложусь.

На другой день — всё сразу: собиранье посылки (шлю основное в Москву, налегке ехать), мытье посуды, макароны в соусе, жареная картошка, мыть пол, и уже опускаю в таз страшный половик, нами загубленный, в мыльную воду и тру во всю мочь, вызывая к жизни его цвет, когда раздаются свежие девические голоса и входят Римма и Рита. Дружны! Это мне радость! Серые большие глаза Риты, широкие, высокий прекрасный лоб, русая. Карие, красивые Риммины, нос с горбинкой, маленький рот, темная прическа, хороша!

Отмываю руки, подаю суп, второе, еще второе и, пока едят, — нечеловеческие усилия — кончаю два с половиной метра половика. Выжала! На мороз! Печь еще топится...

Рита шьет мешок, укладывает посылку, и, спеша (скоро закроется почта), выходим втроем на улицу. Там я снимаю их. Еще надо — хозяев с дочкой и Таю с семьей... И, нагрузив Римму оставшимися овощами и хозмелочами, Риту и меня — посылкой, — с горы.

— Это тебе, Баб! В дорогу! От меня — ты непре-

менно съешь! (Коробка мармелада и пачка печенья — «райские кушанья» в мой суровый дорожный стол.)

Мы так хорошо говорили с Риммой — она рассказывала о своих, восхищалась моими воспоминаниями в «Новом мире», сроднились за эти часы. Она целует меня на прощанье девически нежно. Милая молодая душа! Что-то ждет ее? И что — мою Риту?

С посылкой мы — еле-еле поспеваем... Но сберкасса закрыта. Тамара уже уходит. Вот так так! Как же быть? Я должна была получить, закрыв счет, 25 рублей!.. (Я должна из них отложить машинистке, моему милому другу, так бьющемуся с моим почерком — годы, Елене Александровне Водо.)

Голос из почтового окошка:

— А вам, Анастасия Ивановна, перевод есть: из Старого Крыма, 25 рублей!

— Баб, это просто чудо! — шепчет Рита. — От кого??

— От Жени Куниной, кто же, кроме нее, — я писала ей, когда билась с деньгами, не просила и вовсе не думала... О, я ей напишу, как это замечательно получилось, — еще одно Големово чудо!

А Рита уже распечатала мои два письма — последние мне, в Кокчетаве! От Марии Николаевны Изоргинной, чудной певицы и женщины, две недели знакомства и дружбы с ней в мае, этом, в Коктебеле у Маруси Волошиной; от Григория Николаевича Петникова, поэта, встреченного в молодости в Доме Герцена у писателей и в Коктебеле теперь, в доме Макса.

Второе письмо: «Пишу Вам уже на север, в столицу. Хорошо бы Вы приехали не очень усталой, хотя силы неисчерпаемы, когда делаешь добро, пусть даже его и не ценят... Не будем их упрекать! У нас стоит тихая, чистейшей лазури, осень. Кое-что написал. Жду Вашу рукопись. На яркой пока зелени сирени моей — темно-розоватые сплетенья дикого винограда, знак крымского октября. Ваш Г. Петников».

Медленно складываю письмо.

В последний раз миску еды — Шару, прощанье с Креольчиком-Галатеей (редко из-за холода стала ко мне ходить!). В последний раз топлю печь, жду Риту. Увы, она весь вечер не оторвалась от учебы и уснула без сил.

Кончили немецкий учебник!

Снять Шарика! Коркой его завлекаю к прорезанной двери его крытого двора, куда его допускает цепь, кладу корку перед ней по ту сторону — чтоб высунул на свет морду. Но он тянет лапу, гребет корку и, схватив, убегает с ней. Но и я его перехитриваю: вторая корка лежит далеко, и, пока он старается над ней лапами, я щелкаю второй кадр. Бежит черная кошка. На «кис-кис» она обертывается — щелк, и она в третьем кадре. И еще Риту — с Шаром!

Через месяц. Из Ритиногo кокчетавского мне письма: «Баб! Шарик после твоего отъезда три недели был — так скучал по тебе... И все время лежит возле бывшей нашей двери».

И вот мы идем по горе вниз с вещами, Рита ведет меня под руку — в длинном черном пальто (жены Доброго Духа), старое Ритино я оставляю ей покрывать ноги, на голове у меня шаль, она выбивается надо лбом, над длинным носом.

— Цыганка! (проходящие дети).

Рита и я смеемся. «Баб, это еще лучше Бабы Яги!»

— Рита, я еще оттого, верно, страшна сегодня, что всего 3 часа спала!

(А себе: вот и я удостоилась стать цыганкой. Страшной старухой — цыганкой! Про Марину писала по-английски внучка Леонида Андреева: «Она была худа, смугла, носила серебряные украшения, она была похожа на худую цыганку...» Марина, сама розовость в юности, золотоволосая...

Озеро лежало светлым маревом внизу.

Слава богу, мы недолго ждали автобус. Мелькают улицы Кокчетавы... Вокзал. Тот самый вокзал, с которого началось повествование о Кокчетаве. И вот, пыхтя, справа подходит поезд № 91...

СОДЕРЖАНИЕ

МОСКОВСКИЙ ЗВОНАРЬ	3
МОЯ СИБИРЬ	73
СТАРОСТЬ И МОЛОДОСТЬ	215

Цветаева А. И.

Ц 27 **Моя Сибирь: Повести.**— М.: Советский писатель, 1988.—288 с.

ISBN 5—265—01017—3

В новую книгу Анастасии Цветасвой, младшей сестры Марины Цветаевой, вошли три повести: «Московский звонарь», «Моя Сибирь», «Молодость и старость».

Эта книга является продолжением широко известной книги воспоминаний Анастасии Цветаевой, вышедшей несколькими изданиями и привлечшей к себе внимание читателей и критики

4702010201—451

Ц ————— Без объявл.

ББК 84 Р7

083(02)—88

*Анастасия Ивановна
Цветаева*

МОЯ СИБИРЬ

Редактор *М. И. Самойлова*
Художественный редактор *Н. С. Лаврентьев*
Технические редакторы *Р. Я. Соколова, Н. В. Сидорова*
Корректор *С. И. Крягина*

ИБ № 7308

Сдано в набор 06.09.88. Подписано к печати 22.11.88 А 03323 Формат 84×108¹/₃₂
Бумага кн журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл печ л 15,12.
Уч.-изд. л 15,16. Тираж 200 000 экз (2-й з-д 100 001—200 000 экз.) Заказ № 620 Цена 1 р.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфин и книжной торговли,
300600, г Тула, проспект Ленина, 109